НАТАН РЫБАК

ОШИБКА ОНОРЭ ДЕ БАЛЬЗАКА



КУРСК — 1959

НАТАН РЫБАК

ОШИБКА ОНОРЭ де БАЛЬЗАКА

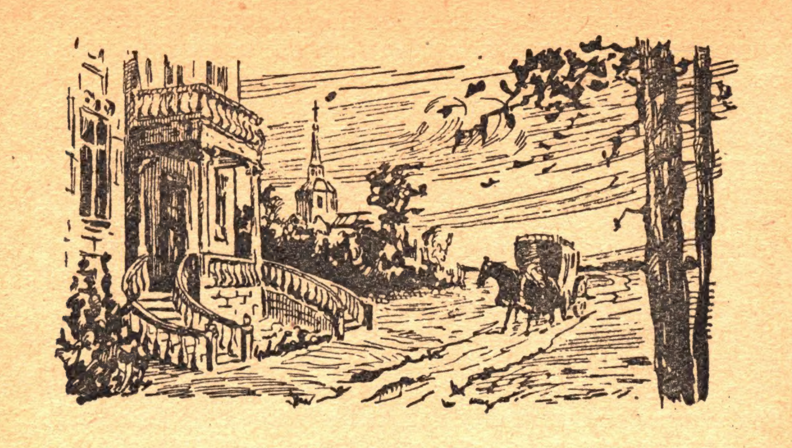
РОМАН

Авторизованный перевод с украинского
ВЛ. РОССЕЛЬСА

*

КУРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1959



КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КОРЧМА

Да, это была осень! Столетние липы пылали в неугасимом огне. Янтарная даль колыхалась за ними, и ледяной простор безлюдной степи, над которым робко и пугливо пролетали птицы, поражал взор необыкновенной безысходностью. Обсаженная липами разбитая, ухабистая дорога пересекала степь с юга на восток от горизонта до горизонта. У дороги, на потеху осенним ветрам, на радость путникам, стояла невзрачная корчма.

Вечернее солнце пламенело в узеньких окошках, скрипел на ветру покосившийся забор, и сытые кони, запряженные в темный рыдван, беспокойно прядали ушами. Куры, индюки копошились подле лошадей, поклевывая зерна. Дверь в корчму была отворена, и на пороге стоял сам хозяин, седой и почтенный старик Лейбко, известный всей Украине: и горемыкам-чумакам, и странникам, и лихим панам, и иному всех мастей люду, шнырявшему по гетманскому шляху.

Лейбко смотрел на дорогу, на сытых коней пана банкира Гальперина, на кур, бродивших вокруг возка, и

мысли его блуждали далеко, за горизонтом, в холодных пустынных краях, где, как думал старый корчмарь, лежал теперь лед и снег.

Пан Гальперин еще спит после вкусного и сытного обеда. Пусть спит. Лейбко постережет его сон. Спит и кучер пана Гальперина, шустрый и бойкий на язык Нечипор. Не так уж часто останавливается пан Гальперин в корчме Лейбка, чтобы старик позволил себе пренебречь им. Прислонясь плечом к косяку, глядит корчмарь, как осень зажигает липы, а ветер рвет шуршащие листья, кружит их по дороге, катит в степь.

Если за горизонтом не лед, то, верно, море, — Лейбко думает об этом вскользь, это его мало трогает, ему суждено прожить свой век здесь, среди степи, в корчме, которая, слава богу, дает ему кусок хлеба и кое-что сверх того для единственного утешения его старости — дочки Нехамы.

Лейбко осторожно, чтобы невзначай не наделать шума, затворяет за собой дверь и сходит со ступенек. Он проверяет, хорошо ли привязаны лошади. Потом неторопливо обходит всю усадьбу, заглядывает в хлев, где мирно делят корм конь и корова; ленивый старый пес сонно плетется за ним, припадая на передние лапы.

За корчмой и амбаром вишневый сад. Ветер клонит обнаженные ветви. Сухо и резко шелестит под ногами листва. Лейбко вслушивается в этот шелест, оживляя в памяти давние дни и годы. Ветер хлещет по телу, развевая полы длинного заношенного сюртука. Земля дурманит запахами осени. Дрожащими ноздрями вдыхает Лейбко этот терпкий аромат осеннего умирания. Он слушает, как гудит земля, всполошенная нежданно разгульными ветрами. От тех ветров клонятся к земле вишневые деревца, молодые стройные березки беспомощно качаются с боку на бок, и сухие сучья скрипят, как старые кости Лейбка.

Что осень, что старость — все равно. Пусть клонит ветер березы, пусть забавляется вишневыми ветвями. Давно собраны спелые вишни, давно ссыпаны они в бутыли и бродят в подвалах, в собственном горячем соку настаиваются до того, чтобы от напитка захватило дух, чтобы в горле щемило и мысли становились прозрачными, легкокрылыми. Как вишневая наливка, крепка, настоенная на степных ветрах, жизнь Лейбка. Он ходит по саду, вбирая взглядом каждое дерево, каждую тропку, снова заглядывает в амбар и возвращается в корчму. Нечипор проснул-

ся; опершись на возок, он набивает трубку и покрикивает на неспокойных коней.

На севере уже полнеба затянуло тяжелой свинцовой тучей. Завывает ветер. Падает ниц на целину, кружит в травах и вздымает сизую завесу пыли над гетманским шляхом. Лейбко исчезает в корчме.

Нечипор высек огонь, попыхивает трубкой и тревожно поглядывает на небо. Насторожив уши, лошади ловят степную тревогу. С севера близится черными клочьями воронье, сея испуганный клекот, бьют крыльями утки. Солнце проваливается за горизонтом, а туча растет, и небо все темнеет и темнеет, и тут внезапно ветер, точно сорвавшись с тысячи цепей, взмывает с земли, устремляется в небо, посылая туда, к облакам, в седую высь столбы едкой степной пыли. Лошади бешено рвут повода. Нечипор ловким движением выскакивает вперед и кнутом осаживает коренного.

Он заводит лошадей во двор, ставит рыдван под соломенный навес. И когда, привязав лошадей, Нечипор бежит в корчму, частые дождевые струи хлещут его.

Нечипор входит, споткнувшись о порог, и садится на лавку под окном. Прижавшись лбом к стеклу, стоит у окна Лейбко. Он видит: между липами нет уже дороги, там кипит быстрина, унося желтые жалкие листья. Корчмарь обращается мысленно к богу, и пересохшие губы нашептывают слова, какие произносил отец Лейбка подле этого же оконца много лет назад, в такой же осенний ливень.

— Нехама, — робко зовет Нечипор, — дала бы чего-нибудь погреться...

Нехама сидит за прилавком, опустив голову на скрещенные руки; она слушает, как шумит осенний дождь. Слова Нечипора долетают до нее, точно из другого мира, и ей не хочется пошевельнуться. Но старый корчмарь, не отрываясь от окна, кричит:

— Ты слышишь, Нехама! Дай пану горилки.

— Какие уж из нас паны! — усмехается Нечипор. — Ну и плут же ты, корчмарь!

Нехама зажигает на полочке свечу, мерцающие желтые блики ложатся на стены. Девушка выходит из-за стойки и, покачивая бедрами, отстукивает высокими каблучками несколько звонких шагов, неся Нечипору

кварту горилки и хлеб. Она ставит все это перед кучером, не взглянув даже на него, и отходит, а он устремляет свои запрятанные под лохматыми черными бровями глаза на ее стройную фигуру. По спине девушки змеятся длинные, до полу, смоляные косы. Нечипор одним движением опрокидывает в рот кварту горилки и, посолив кусок хлеба, с удовольствием жует.

— Ну и дочка у тебя, Лейбко, — говорит он погодя, — пропадает цветок в степи, да и только. Ты б ее, лиходей старый, в Бердичев свез.

— А что там в Бердичеве? — Лейбко беспокойно отрывается от окна и идет к Нечипору. — Чего она там не видала? Молчал бы!

— Молчу, молчу. Не сердись.

Нечипор и в самом деле замолкает, он хорошо знает натуру корчмаря: все стерпит старик, а про дочку заговоришь, — вскипит, не отвяжешься. Чтобы избежать ссоры, Нечипор снимает свитку, расстилает ее на лавке и вытягивается на ней, положив под голову серую барашковую шапку. Он тотчас же засыпает и через мгновение видит просторный двор пана Гальперина в Бердичеве, высокую каменную ограду вокруг двухэтажного дома, и себя, босого, с ведром в руке возле забрызганного грязью рыдвана.

Дождь не утихает. Нехама идет в смежную комнату и садится на постель у окна. Окно выходит в сад. За ним уже сумерки вечера. Лейбко стоит у прилавка. Он мог бы лечь отдохнуть. Видно, сегодня никто уже не забредет в корчму. А может, загонит кого-нибудь непогода. Да и реб Гальперин, бог весть с какой целью, примчался сюда на резвых конях и ждет кого-то. Приказал: «Кто приедет — тотчас же разбудить».

Лейбко снимает с гвоздя у дверей бурку, накинув на себя, выходит. В лицо бьет холодный дождь. Закутавшись в капюшон, он идет на дорогу. Откидывает капюшон и прислушивается к шуму дождя. Ничего. Только однообразный шум струй. Но его ухо не обманешь. Среди какого угодно гама и крика различит он скрип колес и чавканье лошадиных копыт по размытой дороге. Лейбко, надвинув капюшон, не торопясь, возвращается в корчму. Не снимая бурки, садится на табуретку и, покачиваясь, погружается в воспоминания, слушая, как хлещет за окнами осенний дождь.

В смежной комнате за плотно притворенной дверью мерцает свеча.

Склонясь над столиком, сидит там седобородый реб Гальперин. То и дело он трогает рукой высокую черную ермолку, без всякой надобности обматывает вокруг пальца длинные серебристые волосы с висков. Такая уж привычка у Исаака Гальперина, когда он думает. А думает он всегда, думает даже во сне, и потому волосы на висках у него вьются кольцами.

Перед ним на столике лежат бумаги и письма. Покидая хотя бы на день свою бердичевскую банкирскую контору, он не мог себе позволить оставить дела. В старенький кожаный чемодан он укладывает необходимые бумаги, чернильницу, связку новеньких гусиных перьев, баночку золотистого песку. Реб Исаак Гальперин не любит лодырей и сам не любит лодырничать. Стоит на грязной бердичевской улице двухэтажный дом с широкой вывеской вверху «Банкирский дом Гальперин и сын», где под покровом внешнего благолепия и покоя кипит жизнь. Отсюда по всей России, до самого Петербурга и дальше, в заморские края, летят письма и векселя банкирского дома «Гальперин и сын», и знают тот дом во всех странах, и верят в его достаток, силу и порядочность.

Шестьдесят пять постоялых дворов по обе стороны гетманского шляха и по нижнему Днепру, словно вестники бытия, шлют в селения и степи славу банкирского дома, и шестьдесят пять корчмарей и корчмарок знают в лицо и почитают всесильного и смиренного реб Исаака Гальперина. И гетманским шляхом из Киева в Бердичев, из Бердичева в Броды, из Брод в Радзивиллов мчат дилижансы, мальпосты, возки. Отлетают в стороны полосатые шлагбаумы, мелькают сторожевые будки, и почтовые станции возникают, как обманчивые желанные оазисы. И немало их принадлежит пану Гальперину из Бердичева, всевластному и всесильному. А с виду он кроткий и уравновешенный, и говорит тихим, тоненьким голоском, и панам-шляхтичам и чиновникам его величества государя императора кланяется низко, в ноги, и не кричит реб Гальперин даже на своего кучера Нечипора. И на людях в глазах старого банкира, словно в озерках степных, всегда плещутся золотые рыбки искренности и доброты, и куцая остренькая бородка часто содрогается от смеха, полные розовые губы насмешливо

кривятся, а высокий лоб пересекают глубокие морщины. А когда реб Гальперин остается один, он словно делается выше ростом, руки его как будто становятся более цепкими, и нет в озерах глаз золотых рыбок смеха, напротив того, прозрачные льдинки темнеют, и брови порослью терновника свисают над ними. Наглухо заперты двери, закрыты шторами, защищены ставнями окна, лежат на столе тяжелые конторские книги, пачки векселей и банкнот; снуют по счетам сухие длинные пальцы с желтыми от табака ногтями, а на подоконнике стынет кружка молока и черствеет белая булка. В такие ночи решается судьба не одного помещика, который тем временем нежится на пуховиках в своем имении, еще не зная, что через день или два увидит перед собою собственные векселя и смиренную, угодливую физиономию реб Гальперина и будет загнан в тупик, откуда нет иного выхода, иного пути, кроме дорожки через банкирский дом «Гальперин и сын».

Накинув на плечи поношенный сюртук, Гальперин пишет письма. Легко бегает перо по бумаге, ложатся прозрачные и спокойные слова. Он пишет вельможному пану банкиру Ротшильду в Вену. И думает о графе Мнишеке. У него от графа поручение, не особенно приятное, но к чему брезговать тем, что может принести деньги, помочь в делах?

Поручение графа не связано с векселями и банкнотами, оно как будто не имеет ничего общего с деньгами, оно касается другого мира, над которым не властен банкирский дом. Но почему не попробовать своей силы? В конечном счете все зависит от денег.

Исаак Гальперин подписывает письмо, вкладывает его в конверт и, нагрев сургуч, запечатывает, прижав к желтой массе свой перстень с вензелем. Он подносит пакет к глазам и мгновение любуется оттиском перстня на сургуче. Пряча конверт в чемодан, старик прислушивается. Шум дождя за окном, храп Нечипора. Ночь. Тишина. Он гасит свечу, надевает сюртук и, чуть приоткрыв дверь, заглядывает в корчму. Нечипор спит навзничь на лавке. Склонив голову на стол, клюет носом Лейбко. На цыпочках реб Гальперин проходит через корчму и бесшумно исчезает за дверью. Нехама лежит в постели, широко раскрыв глаза. Встревоженная чем-то, она не спит. Легкие шаги от двери к постели. Не отец. Она сразу опре-

деляет это. Нечипор? Нет, не он. Опершись на локоть, она глядит прямо перед собою. Неужели? Сон. Видение. Сам пан Гальперин, почтенный и мудрый, садится на ее постель и, наклоняясь к девушке, толкает ее на подушку. Он прикладывает палец к губам и таинственно шепчет:

— Тс-сс!

Нехама беспомощно перебирает руками складки одеяла, и глухое подозрение просыпается в ней. Гальперин наклоняется ниже, вот уж его бородка коснулась обнаженного плеча Нехамы, он что-то шепчет, страх сводит уста девушки, только ноги и руки дрожат, как в лихорадке, и в этот миг град ударов падает на дверь корчмы, и кто-то сердито барабанит пальцами в окно.

Как ужаленный, отскакивает Гальперин. В один миг он уже в корчме. Поднимается сонный Нечипор, Лейбко суетится у двери. С подсвечником в руке реб Гальперин стоит на пороге. Он уже забыл про Нехаму, про графа Мнишека, про желание, которое только что волновало его. Вот, должно быть, тот долгожданный гость, ради которого приехал он сюда. Кляня непогоду, корчмарей и дождь, через порог шагнул высокий человек в шинели, с ружьем через плечо, за ним вошел еще один, с ног до головы закутанный в плащ.

— Свети лучше, черт тебя побери! — крикнул солдат банкиру.

— Слушаю пана! — угодливо ответил тот и поднял выше подсвечник. Он уже пожалел, что выскочил в корчму; это, должно быть, кто-то другой, а не долгожданный гость.

Лейбко суетился, помогая вновь прибывшим раздеться. Нечипор с кучером приезжего вышли к лошадям. Завернувшись в одеяло, обхватив руками колени, крепко прижавшись к ним подбородком, сидела в постели Нехама. Точно вслушивалась в галдеж, доносившийся из корчмы, стараясь понять, что там происходит. Ее трясла лихорадка, и огонь иссушал губы, словно нечеловеческая жажда сжигала ее. Она вскочила с постели и с непокрытой головой, в одной сорочке подошла к окну, отдернула занавеску, откинула задвижку, толкнула раму и высунула голову под дождь. Он смочил ее щеки холодными струями, ночь кинула пригоршни ветра в черные девичьи косы, и Нехама заплакала. Отец окликнул ее; так звал он ее всегда, будил среди ночи, если при-

езжал какой-нибудь важный пан, и она вскакивала на отцовский голос, выбегала, одеваясь на ходу. Но теперь она не ответила, не шевельнулась, стояла у окна, изливая в слезах свою обиду. Она не отошла от окна, даже когда скрипнула дверь и вошел отец. Он тихо подошел к ней и тронул за плечо.

— Нехама!

Она обернулась к нему и, склонив голову, покорно спросила:

— Что?

— Выйди к ясновельможному пану.

— Иду.

Отец не уходил, стоял неподвижно, потом взял дочь шершавыми пальцами за подбородок, поднял ее голову. И Нехама поняла, что он видел, как Гальперин вошел к ней в комнату.

— Ты слышал, видел... — скороговоркой прошептала она.

Отец отдернул пальцы от подбородка, точно обжегся, и быстро вышел из комнаты, уже у дверей уронив:

— Что ты плетешь?.. — Но в голосе его Нехаме послышалась ложь, и сердце ее болезненно защемило.

Гальперин вьюном извивался перед вновь прибывшим. Тот еще и слова не вымолвил. Сбросил с помощью банкира плащ, снял сюртук и остался в бархатной красной жилетке. Он был низкого роста, дородный, широкоплечий; высокое жабо, подобно морской пене, обрамляло его шею; на бритом лице резко выделялись небольшие, свисающие по бокам усы, и каштановые волосы спадали на плечи. Высокий лоб пересекали поперек две морщины, глубоко залегшие в переносье.

Лейбко зажег все свечи в канделябрах. Приезжий ходил по корчме, потирая руки, поблескивая перстнями на пальцах, легко неся на коротких тонких ногах большой живот, едва стянутый корсажем панталон. Зоркими, быстрыми глазами осматривал он все вокруг, словно пронзая насквозь вещи, стены, двери, лица; улыбнулся, взглянув на Гальперина, и прищурил глаза, смотря на старого корчмаря. Он еще не произнес ни слова, а Гальперин уже был убежден, уже знал и верил. Весь покорность и почтение, низко склонив голову, он уже решился произнести давно заученную фразу — отрекомендоваться, но в этот момент скрипнула дверь и на пороге с

подсвечником в руке явилась Нехама. Приезжий остановился и, не скрывая интереса, впился глазами в девушку. Она спокойно погасила свечу и прошла за стойку. А путешественник, стоя на месте, поворачивал голову вслед ей, любуясь стройным девичьим станом, охваченный непобедимым желанием погладить длинные косы. Девушка подняла на него темные глубокие глаза и что-то сказала корчмарю; воспользовавшись этим, между нею и новоприбывшим стал Гальперин и, поклонившись почти в пояс гостю, обратился к нему со словами привета, изъявляя готовность быть полезным в любое время дня и ночи.

— Пане вельможный, пан Ротшильд из Вены уведомил меня, и я рад служить вам днем и ночью; я и весь банкирский дом мой к услугам вашей ясновельможности.

Гость сел на скамью у стола, и пока ему жарили яичницу, разложил перед собою бумаги, придвинул приготовленную Гальпериным чернильницу, погрыз несколько секунд новенькое гусиное перо и принялся писать, с молниеносной быстротой набрасывая на бумаге слова.. Вошел солдат со двора, увидал, отступил в сени и примостился там возле Нечипора. Вышел туда на цыпочках и камердинер приезжего. Замер в уголке Гальперин, за стойкой затих корчмарь. Дождевые капли вызванивали по стеклам однообразную нескончаемую песню осени, носился за окнами ветер, шумели столетние липы на гетманском шляху.

Летела ночь на невидимых черных крыльях, а он все писал, то улыбаясь, то насупя густые брови, и лоб его, высокий, мудрый лоб, склонялся над столом и бумагами. Страницы, исписанные широким размашистым почерком, он отбрасывал в сторону, даже не глядя на них, и когда Нехама поставила перед ним яичницу и молоко, он не поднял головы, хотя запах жареного защекотал ему ноздри; рука все так же сжимала перо, и буквы ложились на бумагу в неудержимом полете, испещряя ее странным, непостижимым узором.

Корчмарь Лейбко смотрел на него с откровенным любопытством. Скольких путешественников видели уже на своем веку его старые глаза, кого только ни встречали они! Но Лейбко мог побожиться, что такого гостя он видит впервые. Чудак! Он не кричал на старого корчмаря,

хотя на дворе дождь и непогода, он не ущипнул за щеку красавицу Нехаму, не потребовал вина и не стал бросать посуду на пол. Может быть, он фальшивомонетчик, международный плут. Но нет! Не такой у него вид и не такое поведение.

Прислонясь к стенке, корчмарь, разглаживая бороду, искоса ловит одним глазом лицо реб Гальперина. И когда оно, сморщенное, остробородое, с беспокойными глазами, встает перед ним, он вспоминает тихие, крадущиеся шаги, скрип двери, шепот в комнате Нехамы, и если б не этот иноземец... И что было на уме у реб Гальперина? Чего хотел он?..

Неверные блики света дрожат на стенах, в их скупом сиянии темнеют старые черные бочки с горилкой, тускло поблескивают миски и тарелки, а на полке теснятся ока, полуока, кварты и куманки — немудреные мерки буйного хмеля, способного навеять какие угодно мысли.

Нехама сидит в своей комнате. Мертвая тишина в корчме гнетет ее. Она жалеет, зачем не крикнула, не позвала на помощь. Но надо ли было кричать? Разве почтенный старый реб Гальперин хотел сделать ей что-нибудь худое? Слыханное ли дело? И кому может она доверить свои мысли? Кто посоветует, кто утешит? И в прошлом, переменчивом, как цвет неба, с детства и по сей день не знала она утешения.

В одиночестве и молчании росла она, и единственными подругами ее были березы в саду, чудесные степные цветы; ветры баюкали ее в детстве, ветры навевали мечты о счастье. Она любила слушать весною кукование кукушки, она спрашивала у кукушки, долго ли будет жить на свете, и та куковала бессчетно, до изнеможения. Нехама не раз видела реб Гальперина и знала, что от него зависит благосостояние отца, что корчма давно уже принадлежит пану Гальперину, а отец в ней только покорный слуга, и держится он тут лишь ради нее. Иногда она думала о далеких селениях и городах. Единственный раз побывала она в Бердичеве, это было еще в детстве. Провожали в последний путь мать в гробу, и город не понравился Нехаме. Здесь, в степи, она чувствовала себя независимой и свободной и не могла понять, как это люди томятся в одном городе. Здесь, в степи, у дороги познавала Нехама жизнь. Какие только люди ни заглядывали в корчму! Злые, молчаливые, гневные, добрые,

А больше всего любила она чумацкие песни, те, что напевал верховненский крепостной Василь. Скоро потянутся чумаки с юга, остановятся перед корчмой, и увидит она Василя.

Нехама прислушивается. Тихо в корчме. Странный путешественник. И как ухаживает за ним пан Гальперин! Богач, верно. Она тихо выходит в корчму и садится у стойки. Ее интересует коренастый иноземец, который все что-то пишет. Давно остыла яичница, и устал стоять в углу пан Гальперин, а ночь злилась, и хлестал дождь, и носился бешеный ветер под окнами. Приезжий на миг бросил перо, аккуратно сложил исписанные листы, облегченно вздохнул и, развернув чистый лист бумаги, снова взялся за перо. Рассвет взмахнул светозарным крылом на горизонте. Засерели стекла, и было видно, как таяла за ними осенняя ночь, а дождь стал утихать и скоро вовсе прекратился. Где-то за стеной, под потолком в сенях, трижды пропел петух.

Пропадала ночь за окнами, и хмурый рассвет встречал в придорожной корчме Онорэ де Бальзака.

Он дописал последнее письмо сестре Лауре, бросил на стол перо. Молча, осторожно взял исписанные листы и понес в угол, где стоял на табуретке небольшой баул. Увидел яичницу. Ощутив голод, он жадно придвинул сковородку к себе и стал есть холодное кушанье; ломая черствый хлеб, широко раскрывал рот и бросал туда куски, запивая молоком. Он успокоился только, когда сковородка стала чистой и в кринке не осталось молока.

Пальцем он поманил пана Гальперина. Он интересовался всем: дождем, корчмой, Бердичевом. Пришлось позвать на помощь Леона, или, как звали его в Верховне, Левка, и вскоре Бальзак и Гальперин уже прекрасно понимали друг друга.

— Да, да, — кивает головой банкир Гальперин, — пан может доверить мне письма, и не только письма... — Он намекает на что-то большее, но осторожно, тонко. Бальзак, щурясь, улыбается.

В худенькой фигуре бердичевского банкира улавливает он какое-то сходство с парижскими биржевыми воротилами. Хорошо, он доверит ему свои дела. Господин Ротшильд из Вены рекомендовал его. Этого достаточно. Ротшильд связан с его издателями, в деньгах, пока что... Бальзак смеется весело и раскатисто, так, что

грива каштановых волос содрогается на плечах, — пока что, в деньгах недостатка нет. Он поднимается и выходит из корчмы. Позади шагают Гальперин и корчмарь Лейбко.

Над степью встает рассвет. Тяжелые, темные тучи обложили небо, но на востоке дрожит и сверкает узкая полоска далекого солнца. Гетманский шлях вьется вдаль, политый осенним дождем. Печальные и безутешные стоят липы.

Он дышит полной грудью, точно измученный жаждой пьет душистый степной воздух. Что-то знакомое ощущает он в этом воздухе. И где-то за бесконечными шеренгами лип, за пасмурной степью и дождем возникает перед его глазами желанный дом и желанная женщина, и он забывает в этот миг об утомлении, о бессонной ночи, и о далеком Париже, о красивой юной корчмарке, попавшейся ему на глаза, он требует лошадей, хрипло выговаривая заученное слово «кибитка», а через несколько минут забрызганная карета качается на выбоинах гетманского шляха, а за нею трясется черный рыдван банкира Гальперина. Лошади дружно месят разъезженный путь, тяжело храпят, и клубы пара вылетают из их ноздрей. В глубине кареты, кутаясь в плащ, углубленный в свои мечты, сидит Онорэ Бальзак.

У ворот корчмы замерла Нехама, грустным взглядом провожая карету. Струилась в канавах вода. Журавлиная стая серебряным треугольником летела на юг. Ветер покачивал кроны лип, рассеивал дым над трубой корчмы. Вдаль уходил гетманский шлях, таинственный и неразгаданный.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ШЛАГБАУМЫ И ВЕРСТЫ

*В*скоре после прибытия Бальзака в Верховню, в фельдъегерском возке трясся, по разъезженным дорогам, уложенный в полотняный мешок, под пятью печатями императорский указ киевскому генерал-губернатору Бибикову. А три дня спустя генерал Бибиков уже принимал меры к наиточнейшему исполнению императорского приказа. Он отправил чиновника особых поруче-

ний Киселева в Бердичев, чтобы установить неослабный надзор за верховненским гостем.

В канцелярии бердичевского полицмейстера первым посетителем по этому случаю был Исаак Гальперин. В грязной комнате с окном, засиженным мухами и немытым нивесть сколько времени, Гальперин дал ревностному бибиковскому чиновнику ответы на десятки вопросов. Он еще не совсем понимал, в чем значительность приезжего иноземца, но был убежден в том, что это важная персона. Банкир хитро прищурил глаза и низко склонил голову перед чиновником Киселевым. Он ничего не скрывал от жандармского офицера. В таких случаях Исаак Гальперин считал откровенность обязательной. Он старательно изложил все, что знал об иноземце.

— Письма? Хорошо, я принесу копию писем. Откуда идут деньги? Через банкирский дом Ротшильдов. Не пересылает ли иноземец денег из Верховни, пускаясь в запутанные банковские операции? Что вы? Что вы? Сохрани бог! Разве я не верный слуга его величества, государя императора.

Банкир Гальперин, не скрывая волнения, потирал худые жилистые руки. Он стоял в меру своего умения навытяжку перед Киселевым и старался также по возможности смотреть в его бесцветные, холодные глаза.

Что он может сказать о верховненских панах? Как и все вельможные паны. Хорошие паны. Правда, в платежах не всегда аккуратны, но он не жалуется. Рады ли они приезду иноземца? Вероятно, да. Особенно графиня Эвелина. Очевидно, да.

Это все. Как будто все. Исаак Гальперин заколебался. Киселев, откинувшись в кресле, старательно изучает его лицо. Он ждет. Он заметил колебания.

— Возможно, это не мое дело. — Исаак Гальперин развел руками. Но он скажет: — В Верховню часто ездит настоятель монастыря босых кармелитов. Может быть, это пустяки, но настоятель интересуется иноземцем. — Пан Гальперин замолк. Искоса взглянув на Киселева, он, впервые за всю долгую и далеко не приятную, хотя и привычную, беседу, заметил, как заблестели глаза жандармского офицера. Тот опустил веки, глаз не стало видно, и Гальперин понял, что аудиенция окончена. Поже-

лав доброго здоровья его высокоблагородию, банкир оставил чиновника в одиночестве.

Киселеву казалось, что он напал на верный след. У него есть точные и недвусмысленные указания генерал-губернатора, он ознакомлен с содержанием письма самого государя, есть все основания действовать безошибочно, целить точно.

Каждые три дня из шумного, неспокойного Бердичева в Киев в канцелярию генерал-губернатора фельдъегери привозили письма от чиновника особых поручений Киселева. Генерал Бибиков за своей подписью сообщал все важнейшее шефу жандармов графу Орлову.

Фельдъегерские возки чертили колесами дороги империи, мимо пролетали степи и села, мелькали версты, поднимались вверх полосатые шлагбаумы, давая дорогу запыленным путникам.

Путь в Верховню лежал через Бердичев. В Бердичеве задержались недолго. Он даже не успел как следует осмотреть город. Первое впечатление было странное, комическое. Узкие, извилистые улицы, низкие строения, толпы грязных запыленных смуглых детей, точно стаи галчат. На сбитых деревянных порогах извечно черные, как земля, пожилые женщины и мужчины. А над всем хаосом царило синее небо и горячее высокое солнце, в господствовал погожий день осени 1847 года.

Он торопился в Верховню, и его мало интересовал Бердичев, хотя за много дней до того он поставил себе целью осмотреть город, изучить — это могло пригодиться для будущей книги. Но теперь в мыслях была только Верховня. Из окна банкирского дома Гальперина виднелись темные купола монастыря босых кармелитов. В воображении на миг возникли святые отцы в черных рясах, сосредоточенные и хищные. В другое время это могло бы увлечь и взволновать. Но теперь в мыслях была только Верховня, и он, уже забыв о босых кармелитах, потирая от нетерпения руки и покусывая свои короткие, обвисшие усы, подгонял Гальперина.

Наконец долгожданные лошади явились. В одну минуту он был на крыльце. Представительный и не в меру полный, он передвигался с ловкостью юноши. Исаак Гальперин почтительно склонился и помог сесть в карету; закрывая дверцу, снова напомнил: «В случае надоб-

ности, пане Бальзак, немедля посылайте за мной: я весь к вашим услугам».

Бальзак кивнул головой. Кучер дернул вожжи. Солдат, сидевший рядом на козлах, качнулся в сторону. Застоявшиеся кони взяли с места. Густой столб пыли поднялся на улице.

Тракт тянулся с юга на восток, и на восток помчалась карета. Ежедневно, просыпаясь, Исаак Гальперин из окна своей спальни видел эту дорогу. Узкая, запыленная улица, дальше, за нею, степь, там, в степи, несколько сел, и потом Верховня. Банкир Гальперин хорошо знал эту дорогу. Усмехаясь про себя, он вернулся в дом. Клиенты ждали его в конторе, внизу. Он туда и не заглянул, поднялся к себе на второй этаж. Сел в глубокое кожаное кресло. Снял черную потертую ермолку, вытер пестрым платком вспотевшую лысину. Смежил веки и так сидел несколько минут. Окна кабинета выходили в сад. День стоял жаркий, и окна были открыты. Из сада долетал бас кучера Нечипора. Но банкир Гальперин ничего не слышал и не видел. Он думал о Верховне. Толстый и нетребовательный иностранец взволновал его. Молчаливость француза можно было истолковать двояко. Хозяева Верховни ожидали его. Пан Мнишек, зять графини Ганской, осторожно, однако довольно настойчиво интересовался состоянием Бальзака. Гальперин ничего не мог сказать. В письмах Ротшильда не было ни одного намека на это. Пан Мнишек не поверил. Здесь, в этой самой комнате, он пожелал прочитать письма от Ротшильда. Он прочел их и равнодушно бросил на стол. Одергивая на себе мундир, пан Мнишек вспомнил о другом. Его интересовала также корчма. Молодая красивая корчмарка. Реб Исаак не имел права удивляться. Он — банкир и должен принимать в свои хранилища не одни только деньги. Пан Мнишек доверил ему заветную мечту. Молодая корчмарка могла бы совершить путешествие в Бердичев, а оттуда, может быть, и в имение Вишневец. Разве это так уже трудно? Если дело в деньгах, и корчмарь Лейбко не такой уж скряга и плут, все будет хорошо. Все совершится, как и принято между друзьями.

Худое с синеватыми прожилками на щеках лицо пана Мнишека подергивалось. Наследственный недуг досаждал ему на каждом шагу. При посторонних он всякий раз, чтобы скрыть это подергивание, заслонял лицо ру-

кою, словно смахивая что-то со лба, с губ, с подбородка; но перед Гальпериным нечего было стыдиться... Если все произойдет, как он хочет... да что там говорить, он не скупец... Верховненские леса не такой уж пустяк, они могли бы пригодиться и банкиру Гальперину. Что же до старой графини, он подчеркнуто произнес «старой», мечты ее обращены к Парижу...

Гальперин выслушал, пообещал. Он должен был это сделать. Леса... да и не одни леса. Оказать услугу пану Мнишеку, владельцу девяноста тысяч крестьян, королю сказочного Вишневца, да еще интимную услугу, это коечто стоило бы! А тут еще заботы об иноземце, письма Ротшильда. Право, 1847 год был трудным годом для банкирского дома «Гальперин и сын».

Сумерки спускаются над Бердичевом. Суббота наступает. В окнах покосившихся лачуг мерцают свечи. Невдалеке от кабинета Гальперина его старуха, закрыв ладонями глаза, покачивается над свечами, вставленными в высокие серебряные подсвечники. Реб Исаак Гальперин сидит в задумчивости. Он слышит шаги сына за дверью. Значит, контора уже закрыта. Пора бы помолиться, но можно немного подождать. Француз приедет в Верховню только завтра под вечер. Теперь он сидит в карете, спит или грезит. Да что в нем! Лучше не вспоминать. Корчмарь на гетманском шляху волнует больше, значительнее. Чувства реб Гальперина раздваиваются. До позавчерашней ночи, пока он не прикоснулся к Нехаме, не существовало никаких колебаний... Но пусть эти колебания пока остаются, как-нибудь развяжутся потом и отпадут сами. Нехаму надо привезти в Бердичев. Она должна быть здесь. У нее теплые плечи, большие, как ночные озера, темные глаза, неслышный шаг, полные бедра. Реб Исаак Гальперин ощущает в теле сладкий трепет.

И, пугаясь этого чувства, зовет другие мысли, начинает думать о верховненских лесах, о Вишневце, но подо всеми этими размышлениями, как непокорный ручеек под лежачим камнем, трепещет и живет дума о Нехаме.

Зажегши свечи, Исаак Гальперин произносит слова молитвы. Он встречает святую субботу, ее встречают в эти минуты его единоверцы в шестидесяти пяти корчмах и десяти конторах, его служащие и подчиненные. И он молится, в глубине души считая это излишним, о своем благосостоянии.

В эту субботнюю ночь верховненский дворец не спал. Над темной громадой парка сияли большие, высокие окна. Графиня Эвелина приказала дворецкому Станиславу Жегмонту убрать во дворце так, чтобы он сиял, как зеркало, чтобы на всем лежал отпечаток довольства, покоя и благородства. Марина, горничная, с ног сбилась, то и дело бегая к дворецкому и передавая все новые и новые приказания графини. Над подъездом резчик Устин, примостясь в деревянной люльке, при свете фонаря чистил родовой герб Ганских. Он старательно натирал специальным раствором щит и мечи, и корону, и звезды над нею, чтобы весь сложный и замысловатый герб рода Ганских сверкал, как солнце. Дворецкий Жегмонт, переходя из зала в зал, подгонял челядь. Верховня готовилась к прибытию именитого гостя. И самому гостю в правом крыле дворца, на втором этаже, приготовили три комнаты: кабинет, спальню и зал, прибрали, расставили повсюду свежие цветы, повесили над постелью портрет Николая I и чуть пониже, слева, миниатюрное изображение императора Наполеона.

Графиня Эвелина, покончив со всеми дневными хлопотами, снова поднялась наверх, чтобы в последний раз осмотреть комнаты гостя. Марина светила ей. Горничная поставила подсвечник в кабинете на столе, и графиня кивком головы отослала ее. Марина вышла и остановилась в коридоре, облокотясь на подоконник. Эвелина Ганская села за стол. Да, это был такой же стол, как в Париже, на улице Пасси. Копия с того же Гольбейна в простенке между окнами, такое же скромное кресло с розовой сафьяновой обивкой. Он будет доволен. А кровать в спальне низкая, просторная, с белыми амурами в головах, такая же была у него в Вене... Вена... Эвелина подавила невольный вздох, как будто в комнате был кто-то посторонний, перед кем она не желала высказывать свои чувства. Все это было прошлое, а ныне стлалось, точно пыльный тракт, настоящее. Она не волновалась. Еще при жизни мужа, который был старше ее на двадцать три года, она научилась сдерживать свои чувства. Не потому ли ей удалось так хорошо сохранить себя и свое здоровье? А по смерти графа отпала всякая необходимость волноваться о незапятнанности своего имени. И Эвелина не любила воспоминаний. Она хотела жить будущим. И, может быть, только за тем и пришла она

сюда, чтобы помечтать здесь за этим столом, по которому скоро заснуют его беспокойные мужественные руки. Она вспомнила эти руки и задрожала всем телом, словно ощутила их пламенные прикосновения, жадную ласку, требовательную и властную. Так было в швейцарском городке Невшателе. Так было в Петербурге, в Вене, в Париже; будет ли так теперь?.. Оба они прожили век, достаточный для того, чтобы поутихло желание, чтобы огонь страсти стал слабым, а не столь жгучим. И почему-то ей пришли на мысль письма, те, что писала она давно, скрываясь под вымышленным именем, письма, полные преклонения перед его гением, полные обожания. Она подумала, что надо будет их уничтожить. Так будет лучше.

Близость встречи по-новому волновала Эвелину. Намерения Бальзака были ей известны. Они были прямолинейны и слишком резки, чтобы сразу принять их и осуществить. Надо было еще им обоим преодолеть головоломные препятствия, «обоим». Эвелина покачала головой, и тогда, возможно... Только тогда придет исполнение его желаний.

Он любит славу, богатство и пышность. У него будет всего этого вдосталь. Он увидит ее такою же очаровательной, как и в час первого свидания, в невшательской гостинице. Но она напомнит обо всем, о странных прихотях, о любовницах, именитых и всяких иных, обо всех его увлечениях, досконально известных ей. И если он хочет получить ее руку, пусть оставит все это навсегда... Чтобы впереди была жизнь, были годы...

Эвелина вздохнула. Она увлеклась. Какие же годы впереди? Старость. Она не страшилась этого пугающего слова. Ведь он сам в своих книгах так красочно и глубоко показал эту пору жизни женщины, время разрушения красоты, время любовных неудач. И если бы не это, разве ждала бы его Эвелина в эти осенние ночи в верховненском дворце?

Марина дремлет в коридоре, опершись на подоконник. Колени ломит усталость. Глаза полны едкого песка. Веки стали словно свинцовые. Марина настороженно ловит каждый шорох. Напрасно ждет она, что графиня скоро выйдет. Эвелина прошла из кабинета в спальню. Села на низенький пуфик возле кровати. Подсвечник стоял на столе. Желтоватые блики света дрожали на стенах. Ня-

колай I из золотой рамы щурил глаз на постель. Наполеон смотрел куда-то в сторону, словно сквозь стену. Только белые амуры в головах улыбались. И Эвелине захотелось, чтобы эта сентябрьская ночь длилась как можно дольше, чтобы плыли неторопливо, как вечность, часы, ибо только в ожидании рождается любовь, о которой в эту минуту думал и Бальзак, покачиваясь на мягких подушках кареты.

Это был единственный путь в жизни, не пересеченный шлагбаумами и не расчисленный на версты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОСЕНЬ

Бальзак встретил утро, как всегда, с чувством большой неудовлетворенности и сожаления о минувшей ночи. Он любил ночь, приносившую с собой уединение, дорогое и давно желанное; но в желаниях и мечтах не было спокойствия, осталась только тревога, похожая на невыразимую тоску и запоздалую, ничем не укротимую боль. Лежал навзничь в просторной постели, широко раскрытыми глазами ловил улыбку белых амуров в головах, ждал, когда внизу прозвучат шаги, когда во дворце проснутся.

Ему показалось, что вокруг него пустота, и эта мысль напугала и обескуражила его. Он посмотрел на стол и увидел высокую стеклянную чернильницу на широкой деревянной подставке, связку гусиных перьев в серебряном стакане. Поодаль лежала стопа бумаги. Все здесь, на столе, ждало его. Он перевел взгляд на свои руки, словно хотел увидеть в них что-то новое, незнакомое, но перед глазами были те же руки, которые так уверенно и крепко держали перо и в Париже, и в Италии, и на Корсике. Он вздохнул и сел в постели, облокотившись на подушки.

А немного погодя, когда утро завладело парком и окропило солнечными лучами кроны деревьев, Бальзак сидел за столом, сжимая в руке перо, углубленный в тяжелые думы.

Стук в дверь заставил его очнуться.

— Войдите! — Уже произнеся это, он вспомнил, что на нем только белый легкий халат, раскрытый на груди, но было поздно. Дверь скрипнула. Графиня Эвелина переступила порог.

— Друг мой, вы не спали?

Легкий всплеск мягких ладоней, блеск перстней на пальцах, низкий вибрирующий голос — все это сразу наполнило комнату радостью и светом. Бальзак бросился навстречу, опрокинул по дороге пуф, зацепился туфлей за ковер и преклонил колени. Он протянул к ней руки и так стоял, откинув голову, широко открыв глаза, ожидая и зовя губами. И оглядывая ее с ног до головы, любовался величественной прелестью, суровыми и ясными чертами лица, длинными ресницами, бросавшими едва уловимую тень на бледные щеки.

— Встаньте, Онорэ! Сейчас же встаньте. Какой злой безумец! Поднимитесь!

Он покорился. Поднял пуф, поставил, отошел к камину и, скрестив на груди руки, застыл в молчании. Щуря глаза на свет, Эвелина прошла к столу, повернула кресло спинкой к окну и села. Она смотрела на Бальзака с откровенным восхищением и не спешила начинать разговор. А он тоже молчал, угадывая причину, вынудившую добродетельную Эву подняться к нему так рано утром. Это ее первое посещение за неделю его жизни в Верховне и первая их встреча наедине. Где-то в глубине улеглась волна страсти, утихла, и восстановившееся внезапно равновесие слегка удивляло и тревожило. А она, точно почувствовав эту внезапную перемену, поманила его рукой, позвала безмолвно, одним движением губ, и он тихо прошел к креслу, подвинул пуф и сел смирно у ног.

— Как ваши дела, Онорэ? — спросила она, мягко, но решительно отведя руки, жадно потянувшиеся к ее плечам.

— Как видите, Эва, плохи. Вы мучаете меня, Эва. Зачем? — Он поднялся, снова отступил на шаг, и снова уронил пуф. Раздраженный, отбросил его прочь ногой и, приблизившись к креслу, склонился над Эвелиной.

— Вы молчите, Эва! Так дальше не может продолжаться. Неужели для этого я, как безумец, мчался из Парижа в эту пустыню, неужели, кроме холодных фраз, ничего нет для меня в вашем сердце?

Он старался найти ответ в спокойных карих глазах, искал дрожащих желтых искорок, не находил, и тогда, уже не владея собой, закричал:

— Эва, берегитесь, Эва!

И она отшатнулась; протянула, защищаясь, вперед руку, а он схватил и обрушил на нее ливень поцелуев. Она опускала руку ниже, и ниже склонялась его голова, разметались на ее коленях его длинные каштановые волосы, сквозь шелк платья она чувствовала прикосновения горячих и беспокойных уст.

— Онорэ, я не для этого пришла. Не для этого.

В голосе Эвы он уловил какую-то странную и неизвестную доселе холодность. Но сдержать своего возбуждения уже не сумел и, обхватив руками ее голову, прижал ее к себе и припал ртом к ее полным красивым губам, словно гонимый извечной жаждой достиг спасительного родника и не мог от него оторваться.

...И когда утихла страсть и ласка, он лежал на ковре, отуманенный и немного растерянный, а Эвелина сидела рядом, обхватив руками колени, устремив глаза в дальний угол комнаты. На черном шелковом платье белела пудра, косы разметались по плечам. На ее лице, растревоженном лаской, он увидел при ярком дневном свете темные круги под глазами, сеть мелких и неприятных морщинок под подбородком, в уголках губ, красные прожилки на дрожащих ноздрях. И все же, сквозь эти явные признаки близкого разрушения красоты, она снова была желанной и неприступной. Он хотел сказать об этом и потянулся к ней, но Эвелина мгновенно поднялась и вышла в смежную комнату. Он тоже встал, пошел к двери, но остановился, услышав плеск воды в ванной. Эва скоро вернулась в кабинет, спокойная и свежая. Села в кресло и погрозила пальцем. Это было знакомое всепрощающее движение руки, и Бальзак улыбнулся. Все шло хорошо. Уселся поудобнее на столе. Нетерпеливо покачивал ногами в ожидании. Красные сафьяновые туфли хлопали по пяткам.

— Онорэ! — Эва провела кончиком языка по пересохшим губам, поправила сапфир на пальце, — нам надо поговорить о серьезных делах, Онорэ. Сегодня приедет из Киева Ганна. Раздел моего состояния — решен. После этого я свободна.

— Эва! О, Эва! Наконец!

Он едва усидел на месте от радости. Пожилой, степенный и мудрый человек, он казался в эту минуту шаловливым подростком.

— Успокойся. Успокойтесь, Онорэ, — поправилась Эва, — на этом дело еще не кончается. Осталось самое главное — достать разрешение на наш брак.

Он хотел что-то сказать, но она резким движением остановила его.

— Подождите. Это не так легко, как вам кажется. Даже после того, как мы получим разрешение, пойдет еще разговор о моих землях, о деньгах, — ведь я теряю русское подданство. Кроме того, вы не должны забывать о моем управителе. Кароль Ганский — брат покойного мужа. Это кое-чего стоит. И мысли у него... — она не докончила.

Бальзаку хорошо известны были мысли Кароля Ганского, который с первого дня пребывания француза в Верховне относился к нему холодно, с подчеркнутым равнодушием. Да и ему самому краснощекое, самодовольное лицо управителя пришлось не по душе. Так они жили, не замечая друг друга, тем более что Ганский только изредка появлялся во дворце, больше сидя в конторе либо у себя во флигеле.

Туфли слетели с ног, Бальзак спрыгнул на пол. Путаясь, всунул, наконец, снова ноги в туфли и заходил по комнате. Он мог бы сказать несколько красивых слов о ничтожности денег по сравнению с любовью, но не нашел в себе достаточного мужества для этого.

— Я напишу царю, — промолвил он, останавливаясь у стола, устремляя взгляд за окно, туда, где в березовой рощице ветер забавлялся шуршащей золотой листвой.

— Я тоже так думаю, — согласилась Эвелина, но ее слова не долетели до него.

Бальзак вспомнил 1843 год. Зимний Петербург. Письмо Николаю, исполненное глубочайшего уважения, с явным намеком, что доброжелательность будет возмещена сторицею. В изысканном и добротном стиле, фразами, сверкавшими точно яркие звезды на бархатном небосклоне, вкладывая в них всю свою почтительность и смирение, он тогда написал: «Господин де Бальзак-писатель и господин де Бальзак-дворянин покорно просит его величество не отказать в личной аудиенции».

В доме Титова на Большой Миллионной всю ночь го-

рели свечи. Кутаясь в теплую шубу — подарок графини Эвелины, в тревоге ждал Бальзак ответа.

А потом в холодной хмурой комнате лихорадочно дрожали руки, раскрывая толстый пакет; на большом листе бумаги — несколько безжалостных слов. Он запомнил эти слова. «Господин де Бальзак-дворянин и господин де Бальзак-писатель могут взять почтовую карету, когда им будет угодно».

И случайно или, быть может, умышленно поставил первым после фамилии «дворянин», как будто хотел подчеркнуть свое сомнение в этом, подчеркнуть солидарность своего взгляда на происхождение Бальзака со взглядом парижского высшего общества. Его, который пером своим создавал и уничтожал миры, возвеличивал и низвергал в пропасть королевства и королей, северный медведь бесцеремонно оттолкнул, недвусмысленно показав на дверь. Тогда Бальзак дал себе слово отомстить, и, пожалуй, он мог бы сдержать его — написать книгу, еще более резкую, чем Кюстин, написавший «Россию 1839 года». Он мог бы написать «Россию 1847 года», но тогда надо было поставить крест на Верховне, на Эве, на всем, что способно было дать ему радость и утешение.

Точно угадав мысли возлюбленного, Эвелина тронула его за руку.

— Надо забыть обо всем, Онорэ, когда речь идет о нашем будущем.

— Ты говоришь правду, Эва!

Он очнулся. Тряхнул головой. Рассыпались во все стороны каштановые волосы, прояснилось чело, только глаза были задумчивы, суровы.

— Я напишу царю. Сегодня же напишу. Я буду просить министра Уварова. Ради тебя я сделаю это, Эва.

Не только ради нее. Может быть, она догадалась. На замкнутом лице ничего нельзя было уловить. Длинные ресницы дрогнули, как от порыва ветра. Выпрямилась, оправила платье.

— Я знала, что вы это сделаете, вы успокоили меня, Онорэ. После этого Кюстина, который так обманул императора, он имеет право не доверять больше иностранцам. Согласитесь. Ах, этот Кюстин! Воспользоваться гостеприимством, получить несколько личных аудиенций! Вы меня успокоили, Онорэ.

Поцеловала в лоб и вышла. Он не двинулся с места. Слышал, как скрипели привычно ступеньки, пока не затихли шаги. Потом сложил бумаги в ящик, закрыл пробкой чернильницу, тронул рукой связку перьев и прошел в ванную. Сбросил одежду и, фыркая, содрогаясь всем телом, лил и лил на себя холодную воду. Вода сжимала тисками, тупо и безжалостно хлестала по мрамору, бриллиантовыми каплями искрилась в волосах.

Завтракали, сидя vis-à-vis, как добрые знакомые. Текла непринужденная, обычная беседа. Лакей Леон стоял в дверях, молча следил за каждым движением. В нужную минуту появлялся за спиной, ловко клал на тарелку новое блюдо, подсовывая салфетку, и, выполнив свою обязанность, снова вырастал в дверях, молчаливый и внимательный.

Бальзак слушал Эву и быстро, большими глотками пил кофе.

Мысли текли сами собой. Остается только закончить «Мачеху», выправить корректуру «Кузена Понса», письмо Госселену, прочитать статьи в «Эко де Пари». Интересно, что говорят о нем эти ловкие писаки; он раскатисто захохотал, затрясся всем телом, раскинул широко руки, оперся ими о стол, и в унисон его смеху зазвенела посуда. Эвелина насупила брови, Леон у дверей только повел носом. Иностранец, должно быть, чудак. Чего он вдруг захохотал? А впрочем, разве догадаешься?

— Что с вами, Онорэ?

— Вспомнил! Вспомнил! Дорогая Эва!

Захлебнулся, взглянул испуганно на Леона. Посторонние не должны были слушать интимные слова. Эвелина кивнула головой. Леон исчез за дверями.

— Вы не можете без ваших фантазий, Онорэ! — бросила Эва с неудовольствием.

— Простите, но я вспомнил... — смех все еще не давал ему говорить, — я вспомнил прытких журналистов из «Эко де Пари». В прошлом году они писали, что я фальшивомонетчик и мошенник, это после книги «Невзгоды супружеской жизни». Что они пишут теперь? Интересно. У меня есть эти газеты, но я не успел их прочитать...

— Не знаю, что они там писали, Онорэ, но я тоже недовольна этой книгой. Там столько цинизма, кощунства, преступлений против морали и религии, я прочитала, и ты упал в моих глазах. Брак для тебя торговля. Купля и продажа. Разве продают сердца, чувства? А измена? Измену ты оправдываешь! Нельзя по-торгашески смотреть на эти вещи.

Улыбка исчезла с его губ. Сжал пальцами тугую накрахмаленную салфетку. Дергалась верхняя губа, и резкое слово могло каждый миг сорваться с языка. «По-торгашески... на что она намекает?» Бальзак ощутил странную горечь и ту же пустоту вокруг, какая мерещилась ему еще на рассвете. Разве ее жизнь, ее поведение?.. Он хотел это сказать, но не отважился. Проглотил горечь, обмякли пальцы, отпустил салфетку.

Точно ничего не случилось, Эвелина предложила:

— А теперь, Онорэ, я хочу показать вам свое имение. До приезда Ганны в нашем распоряжении несколько часов. Мы успеем многое осмотреть. Идите на террасу, я тотчас выйду.

Он вежливо пропустил ее в дверях. Задержался на несколько минут, разглядывая гравюру на стене. На пожелтевшей от времени бумаге мчался через мост император Наполеон I, слева от императора сдерживал резвого коня маршал, а позади белоснежный скакун нес мамелюка. Мост на противоположной стороне уже рушился. Столбы густого черного дыма поднимались в небо, лес штыков русской армии сверкал, как молния. Наполеон смотрел на тот берег, где блистали русские штыки.

«Переправа через Березину», — прочитал Бальзак. «Вернее — бегство», — подумал он и переступил порог. У террасы уже ждал чудесный экипаж. Черное лакированное ландо, запряженное парой породистых вороных лошадей. Бальзак оперся рукой о колонну. Холодный мрамор привел мысли в равновесие. Где-то еще блуждала тревога, в глубине души метался гнев, но глаза уже ловили иное и зорко отмечали, оставляя в памяти четкие, выразительные штрихи. Таков он был всегда.

Не успел оглянуться, как вышла Эва. Безмолвный Леон вырос за спиной. Подал шляпу и палку. Поддерживая Эвелину под локоть, Бальзак провел ее к экипа-

жу. Помог сесть и сел сам, едва умещаясь на мягком глубоком сиденье.

Леон махнул рукой, и кучер потянул вожжи. Мягко покачиваясь, покатилось ландо. Тень от экипажа, длинная и расплывчатая, передвигалась между деревьями по желтеющей траве. Сухой листок упал на колени Эвелины. Бальзак взял его, осторожно подержал на ладони. Растер в руке и бросил. Порывистый ветер подхватил и понес клочки. Эвелина улыбнулась. Бальзак пожал ей руку.

Недавняя ссора была забыта.

Светил им в пути Волосожар[1], слали свое холодное сияние полная луна и далекие мерцающие звезды, а Чумацкий шлях[2] показывал дорогу на запад; осень дышала глубоко и тяжко над безлюдным простором степи. И так каждый год ходили они по этой степи на запад от берегов Крыма к Верховне. Их было немного — двадцать чумаков, и среди них самый младший, Василь Манжура, весельчак парень, стройный, высокий, овеянный всеми ветрами бескрайной степи. Словно воронье крыло спадала чуприна на высокий лоб, взор светился отвагой и силой.

Вот уже третий раз едет Василь с чумаками. Неторопливо шагают по пыльной дороге волы. Поскрипывают ярма, визжат давно не мазанные колеса, под камышовыми плетенками драгоценный груз — соль из далекого Крыма. Соль можно было бы покупать в Бердичеве либо в Фастове, но по приказу графини ее привозили из Крыма. «К чему даром тратить деньги, — сказала она управителю Каролю, — когда волов у нас вдосталь, а в крепостных нет недостатка», — и каждый год управитель гнал обозы за солью. В далекий путь с чумацким обозом Василь попросился сам. Как-никак — все-таки воля. Идешь по безлюдной степи возле спокойных, равнодушных волов, и если бы не чумаки впереди и позади, если б не песни призывные и печальные, пожалуй, считай свободным, ни от кого не зависишь, один на всем свете.

---

[1] Волосожар — созвездие Плеяд.

[2] Чумацкий шлях — Млечный путь.

В этом году возвращались из Крыма с полными возами соли, впереди обоза шел дед Мусий. По его словам, он под чумацким возом родился и под ним собирался душу богу отдать. Знали чумаки, что одного обоза хватило бы верховненским панам на всю жизнь, но посылали их ежегодно вновь и вновь, — сметливый управитель Кароль продавал соль на ярмарках в Бердичеве и в Киеве, продавал от собственного имени, чтобы не путать в коммерческих делах ее светлость Эвелину Ганскую, хотя весь барыш поступал в распоряжение графини.

Василь печально шагал за своим возом. Давно уже миновали жилище Лейбы на гетманском шляху, а из головы все не выходит картина опустевшей корчмы. Вышел к чумакам один только старик корчмарь, подал горилку, хлеб, лук, стоял поодаль, присматриваясь к ним, а Василь все ждал, что вот откроется низкая дверь и войдет в корчму Нехама. Но чумаки поели, поговорили, выслушали несколько сказок деда Мусия, а Нехама все не появлялась. Не стерпел Василь, незаметно от товарищей спросил старого корчмаря про Нехаму. Лейбко смерил его болезненным молчаливым взглядом, пожал плечами и ответил непонятно:

— Нет Нехамы.

Затомило сердце у Василя от такого ответа. Не владея собой, крикнул корчмарю, так что чумаки услыхали:

— Куда ж она девалась? Кто ее загубил? — сжал крепкими пальцами руку Лейбка, посмотрел на него вопросительно, с надеждой.

— Пусти, — попросил корчмарь, — пусти, Василь. В Бердичеве Нехама, взял ее к себе реб Гальперин, нет у меня больше Нехамы, Василь.

Пальцы сами разжались. Лейбко вышел из корчмы и даже не показался, когда чумаки трогались в путь.

Василь взволнованный шагал за возом. Не увидит он, верно, больше кареглазой Нехамы. Может, другого полюбила? Другой приворожил девичье сердце? Слыхал Василь про этого ростовщика, богача Гальперина, и даже видел его в Верховне, да разве впору ему приворожить девичье сердце? Старый леший. Василь насупил брови, глубокие морщины залегли на переносье. Щемит сердце. Грустная чумацкая песня еще больше гнетет. Скоро уже и Верховня. Возвращался из Крыма полный надежд. А где они теперь? Кураем-травой пока-

тились по ветру, прибило их к земле буреломом, захлестало дождями. В вышине над чумацким обозом кружит ястреб. Могучим взмахом крыл рассекает синеву, а над волами чирикают воробьи. Дорога уходит вперед. Дед Мусий слез со своего воза. Старые кости поразмять пора, — подумал, поискал глазами Василя, направился к нему. Догнал, положил на плечо морщинистую черную руку.

— Не грусти, хлопец! — Дед пошел рядом с Василем, шаркая лаптями по пыли. — Не грусти. Оно, может, и к лучшему. Веры вы не одной, бог у вас не один. Умом пораскинь.

— Я давно уже пораскинул, — тихо отозвался Василь. — Давно порешил... — он не кончил; задрожал голос. Откинул голову,— ястреб стремглав упал вниз, схватил над самой землей какую-то птичку и тотчас взмыл в лазурь. И Василь не сказал, знал, что не к чему, — не поймет его старик.

— Бабье лето, — промолвил дед Мусий, отбрасывая рукою липкую паутину, — а у меня и бабы нет, давненько твоя бабка померла, ой давно...

Нахмурился дед. Подождал своих волов. Взобрался на воз. Понурив головы, волы неторопливо перебирали ногами. На ярме бесновался воробей, подпрыгивал, заливался радостным щебетом. Дед Мусий разгневался:

— Киш ты, проказник проклятый!

Воробей не испугался. Дед махнул рукой, достал из-под свитки бандуру, тронул пальцами струны, и душа в ответ им всколыхнулась. Глянул на обоз, казалось, возов не счесть, по обе стороны чумаки, кто в картузе, кто в шапке, чернеют свитки, белеют рубахи, легкая прозрачная дымка пыли вьется над обозом. Точно в вечность плывут чумацкие возы. Сколько таких дорог? Сколько? Дед Мусий горестно улыбнулся. Тронул еще раз струны. Степь ожила. Затихли воробьи на ярмах. Только ветер не покорился, кружил над возами, надувал, как паруса, рубахи, шаровары, поднимал песню в синь, нес по свету.

Есть на свете доля,
Да кто ее знает?
Есть на свете воля,
Да где пропадает?

Пели чумаки, один Василь не подтягивал. Свет широкий, а куда денешься? Подумал, и еще больнее стало. С

кем бы тоской своей поделиться? Вспомнил еще Марину, горничную графини. Живое слово утешило бы. Да лучше уж так, молча. «Поют,— подумал он,— в песне душу выливают. Вот если б сейчас, как песня или орел, улететь отсюда, и конец мукам». А может, нет? Разве в иных местах лучше? Сколько за свои двадцать лет перевидал он мест, людей сколько? Будет с него уж тяжких забот и горя людского. Везде одно и то же. От самой Верховни до далекого Крыма одна судьба у народа. Девушка была утехой.

Три месяца — вечность. Привык Василь к степному ветру и воле, а завтра снова панщина, или нет — может, погонят с солью в Бердичев. Вот если бы погнали!

Ветер уносит мысли в дальние неведомые края. В мыслях — горечь полыни, и если б могли они отдать ветру свой первоцвет, чтобы потом лечь зерном в другую землю, а весною взойти буйным цветом на той, другой, желанной земле.

Чумаки уже кончили песню про чумацкую долю, и дед Мусий затянул другую. Пел он один, а все его слушали, каждое слово вбирая всей душой. Песня была про Максима Кривоноса, славного казацкого полковника, про силу его бессмертную, храбрость невиданную, про то, как от одного меча его ляхов панов тысяч со сто погибло, конь был у него точно змей, а душа орлиная, и крылья, верно, были орлиные, летал он всюду и появлялся везде, где только бедствовал люд горемычный. И был Максим Кривонос правою рукой гетмана Хмеля, когда бы не Кривонос, то не одержать бы Хмелю стольких побед.

Как вывел то войско,
Войско запорожское,
Максим орел под Бердичев,
А паны ляхи напугалися —
Долго гады кровь
Казацкую пили,
А теперь в костеле
Кармелитов все попрятались,
Да только тучей черной
На костел войско
Кривоноса надвинулось,
Облегло оно валы
И крепкие ворота.
Солнце в небе сокрылося,
Потемнело оно от солнца
Кривоносовой славы.
Поднималася по всей Украине

Казацкая бессмертная слава,
Пламенела славная Украина,
Победами похвалялась.
По всем селам
Мужики повставали —
Горели поместья
Панов-лиходеев.
Прогнали Потоцких
Да Вишневецких,
Избавилась от панов
Наша Украина.
А в городе Бердичеве
Кривонос наш славный
Столько ляхов перебил,
Что и счесть неможно.
Помстился Максим
За все наши муки,
Не трогал он только
Женщин с детьми.
А все панское племя
Повбивал в землю...

Дума оборвалась, словно у старика внезапно отнялся язык. Дед Мусий прижал бандуру к груди, оглянулся. Замолкли встревоженно чумаки. Навстречу обозу мчался блестящий экипаж. Ветер развевал пышные гривы лошадей. Переливалась серебром на солнце богатая сбруя. Экипаж поравнялся с чумаками. Кучер натянул вожжи. Норовистые кони не хотели сразу остановиться, рвали с места и тянули в сторону, взбивая ногами пыль. За экипажем ложилась на степь серая пелена. Откинувшись на спинку, в экипаже сидела графиня Эвелина. Ветер забросил за плечи серую накидку, выпушил и разметал по лбу прядь черных волос. Она пыталась заправить их под шляпу. Рядом сидел Бальзак. Щурясь, смотрел на чумаков, дышал открытым ртом, причмокивал губами. Дед Мусий узнал графиню, соскочил с воза, снял шапку, поклонился, седая борода коснулась земли. Эвелина ласково улыбнулась, кивнула головой, и тут из десятков глоток сразу вырвалось:

— Доброго здоровья, пани!

— Чьи вы? — спросила Эвелина и прошептала что-то на ухо Бальзаку. Он выслушал внимательно и приподнялся в экипаже, разглядывая чумаков.

— Вашего сиятельства, графини Ганской крепостные, — ответил дед Мусий, и седая борода еще раз коснулась пыльной дороги.

Эвелина удовлетворенно кивнула головой и перевела Бальзаку ответ деда Мусия.

— Из Крыма, дед?

— Из Крыма, ваше сиятельство.

Неожиданно Бальзак выскочил из ландо и подошел к возам. Эвелина недовольно поморщилась. Кучер растерянно перебирал вожжи. Бальзак приподнял циновку на одном из возов, провел рукой по соляному насту. Дед Мусий подошел ближе. Обступили чумаки. Василь с интересом разглядывал приземистого, полного барина. Эвелина в ландо нервничала, теребила перчатки, бросала на Бальзака недвусмысленные взгляды. Наконец не выдержала и позвала:

— Оноре, вы невозможны, садитесь, и едем дальше. Что вы нашли интересного?

А он со свойственным ему волнением, скороговоркой прокричал:

— Одну минуту, Эва, право, это чудесно.

Он заговорил с чумаками, а они застыли вокруг, не понимая его быстрой картавой речи.

— Верно, тот француз, — признал, наконец, дед Мусий, вспомнив, что среди дворовых слышал, будто графиня выходит замуж за француза.

И чумаки, и Бальзак рассматривали друг друга с откровенным любопытством, только первые осторожно и робко, а он открыто и смело, улыбался, хлопал по плечам, вот какие они, эти люди, для которых домом служит голая земля и открытое небо. Лица их, бронзовые и суровые, надолго останутся в памяти. Озираясь, он выходит из толпы чумаков и вдруг встречается взглядом с Василем. Что-то знакомое улавливает он в лице молодого чумака. Где-то, кажется на Корсике, он видел такого же парня. Что общего между корсиканским земледельцем, водившим его за десять су показывать дом, где родился Наполеон Бонапарт, и этим чумаком? Ах, да! Общий у них, несомненно, взгляд, не глаза, нет, он запомнил глаза корсиканца, — у того светло-синие, а у этого черные, как угли, проницательные. Зато взгляд одинаковый, исподлобья, почтительный, но слегка подозрительный, недоверчивый. Обоих кормит земля. Бальзак приветливо улыбнулся Василю, дотронулся рукою до его плеча и быстро прошел к ландо. Кучер дернул вожжи, и экипаж скрылся из глаз, окутанный облаком пыли.

— Тронулись, хлопцы, — промолвил дед Мусий.

А вскоре показались вдали хатки Верховни, пожелтевшие сады, темный крест над голубым куполом церкви и на горе, на опушке, белостенный господский дворец.

Василь вздохнул с болью и тревогой.

Старое начиналось сызнова.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОЧЬ В ВЕРХОВНЕ

Ветер рвал ставни, слышно было, как шумел дождь. Бальзак положил перо, порывисто встал из-за стола и подошел к камину. На жаровне, покрытые седою золой, дотлевали дрова. Обдавало горячим воздухом и пахло смолой. Бальзак сел на низенький пуфик и протянул ноги к теплу. Железной кочергой стал загребать пепел. Его забавляли взлетавшие вверх искры.

Днем пришли из Парижа письма. Они лежали на столе в надорванных серых конвертах. Он думал о курьерах, о старых скрипучих почтовых каретах, о крутых, нелепых почтовых трактах. Он вспомнил чумаков, встреченных утром, обед в большой столовой, пенное вино в высоких бокалах, смех Ганны и шутки графа Юрия Мнишека. Эвелина была с ним сдержанна и холодна и отрекомендовала его дочери как своего любимого писателя, который хочет писать о России и для этого гостит в Верховне, — и только. Юрий Мнишек, салфеткой прикрывая нервный тик, улыбнулся; но этого Бальзак не мог заметить.

К кофе пришел управитель, пан Кароль. Держался он гордо и на Бальзака смотрел свысока. Мнишек, наоборот, был любезен и щедр на комплименты, так же как и Ганна; последняя все время говорила о книгах Бальзака, пересказывала ему их содержание, словно была уверена, что он узнает об этом впервые.

Полутьма, царившая в комнате, отвечала настроению. Но проклятый дождь, нескончаемый скрип ставен раздражал и тревожил. Все это вместе, — и день прошедший, и все другое, — мешало спокойно думать о важ-

ных, серьезных делах, про которые говорилось в письмах из Парижа. В одном из конвертов лежало письмо сестры Лауры и несколько счетов от кредиторов. От Бальзака требовали одного — денег. А их не было. Их не было, и неизвестно, какие перспективы сулило будущее. Правда, можно будет продать «Мачеху» за двадцать тысяч франков, но это не спасет дела. Поездка в Верховню перепутала все. Есть надежда на издателя Суверена. Может быть, он спасет положение. Но для этого надо самому быть в Париже. Надо сесть за четвертый том «Куртизанок», написать пьесу «Король нищих» — она дала бы тоже не менее двадцати тысяч франков. Мелькнула еще одна мысль, может быть, случайная, а может быть, и нет, может быть, это — своеобразный и последовательный вывод из всех его наблюдений в этой стране: Кюстин написал «Россию 1839 года», он мог бы написать «Россию 1847 года», все парижские газеты печатали бы эту книгу, ее перевели бы на все языки. Перед его глазами проплыли почтовые станции, кареты, корчмы, суровые в своей униженности люди, красивая корчмарка, радзивилловская таможня, перевернутые вверх дном вещи в чемоданах (он только сделал вид, что не заметил), явственные следы чужих пальцев на его письмах, надзор, шпионаж, — обо всем этом можно было бы неплохо рассказать. А все, что творилось вокруг в Верховне... Да нет! Бог с ним!

Герб рода Ржевусских, родственников Бурбонов, должен быть соединен с гербом д'Антрегов, его предков. Пусть злятся писаки Парижа, пусть обливают его помоями, берут под сомнение его принадлежность к дворянству, — женившись на урожденной Ржевусской, он докажет свое. Это имело для него теперь немалое значение. Может быть, после того как он станет мужем Эвелины и тем самым сделается шурином графа Ржевусского, старшего адъютанта российского императора, может быть, тогда ему откроется дорога в палату пэров, депутатское кресло станет не мечтой, а действительностью. Он еще верил, и, может быть, более чем когда-либо, в свои качества государственного мужа, и в эту минуту он отбросил всякую мысль о примере Кюстина, отбросил и забыл. Он был готов позабыть и обиду, нанесенную царем; была уверенность: то, чего не дала ему на родине монархия Луи-Филиппа, даст ему русский царь.

Он напишет книгу о российском самодержце, своим пером прославит его перед всем светом. Тогда откроется путь в императорский дворец. Глаза Бальзака горели в темноте. Он видел себя послом, министром, депутатом; в этот миг он смешивал все: любовь, дела, славу и деньги. Чтобы утвердиться в Петербурге, необходимо утвердиться в Верховне. Это была цель. И цель достижимая.

В камине дотлевали дрова. Свистел ветер, за окнами проклятый дождь шумел однообразно и тоскливо, а мысли снова стали, как дождь, одноцветны и безнадежны, и они растравляли сердце, наполняли тело, уже несколько постаревшее и слабеющее в непрерывных волнениях, болью и жаждой покоя. Он хотел, как всегда, найти источник подъема в спасительном кофейнике, стоявшем на столе. Вернутся ли дни, когда кофе приводило в действие все существо, мысли строились, как батальоны великой армии на поле брани, и начинался бой. Тяжелой поступью приближались воспоминания с развернутыми знаменами, артиллерия логики подъезжала со своими пушками и снарядами; остроты суетились, как стрелки; вставали образы, бумага исписывалась чернилами. Битва начиналась и заканчивалась водопадом чернил, как подлинная война — черным порохом... Кто-то из недругов сказал про него, что он живет пятьюдесятью тысячами чашек черного кофе и умрет от пятидесяти тысяч чашек черного кофе. Возможно, что это и так. Возможно...

Спала Верховня, окутанная хаосом осенней ночи, спал парк, таинственный и суровый, все кругом притаилось, замерло, и, казалось, надо всей землей властвовали только ветер и дождь. Так по крайней мере казалось Бальзаку, который в эту ночь не находил себе покоя. Сон махнул невидимыми крыльями и пропал. На столе ждала чистая бумага. Чернила и перо манили. Но куда-то исчезла неутолимая жажда слова, и сколько он ни прилагал усилий, не мог сосредоточить, как всегда, на заостренном кончике пера струю букв, проливающуюся чернилами на бумагу. Все это свидетельствовало о чрезвычайном утомлении, а может быть, и бессилии. Но о последнем страшно было и подумать. Он попытался пересилить себя. Опустив локти на стол, цепко ухватил толстыми пальцами перо, но вместо слов оно испещрило чистое поле бумаги странными рисунками. Несколько движений пера создали физиономию скряги Гранде, еще не-

сколько движений — и явился красавец Рафаэль; между ними поместилась очаровательная (так казалось Бальзаку) головка графини Ганской.

Это его захватило, и он принялся чертить одну за другой женские головки, добиваясь сходства. Головок было свыше двадцати, и когда он, откинувшись на спинку кресла, залюбовался ими издали, то убедился, что все они разные и не имеют ничего общего с образом, увековеченным в сердце. Губы невольно шевельнулись. Он назвал имя. Он сказал «Эва». Он решился произнести громко «Эва», добиваясь русского выговора. Никто не ответил. Справа на стене качнулась его уродливая тень, в канделябрах мерцали свечи, хлюпала дождевая вода в водосточных трубах. Верховненский дворец спал. И было странно и смешно. Он высказывал самому себе сочувствие и называл себя неудачником. Что это было? Злая ирония судьбы или просто прихоть мимолетного и ненужного влечения? Словом, что бы это ни было, ясно только, что чрезмерные вспышки чувств никогда не выльются на страницы книг. Чувства существуют как потусторонние, как обманчивые и желанные ароматы, которые не в состоянии родить сочный и упругий плод.

Он торопился сюда, в степную страну, множество городов и селений проплыло перед его глазами — он стоически ожидал экипажей на грязных почтовых станциях, его приземистая фигура вызывала удивление у крестьян, из окна кареты, приподняв шелковые шторки, он видел бескрайные, однообразные поля, густые леса и кое-где убогие жилища, где прозябали люди в непонятной ему слепой и загадочной покорности. Но обо всем этом думалось между прочим, все это было второстепенное, — перед глазами всегда стояла Эва, такая же неразгаданная и замкнутая, как и степи, среди которых она жила. Из Парижа в далекую Верховню, наследственное поместье графов Ганских, ехал Бальзак добывать себе ценнейший для него теперь клад — любовь. На выбоинах карету подбрасывало. Тогда в глазах прыгало поле. Земля смешивалась с небом. Мысли тоже путались. В памяти вставал давний февральский день 1832 года, когда издатель Госселен принес ему письмо от незнакомки, подписавшейся «Иностранка». Она писала из далекой и неведомой России. Она рекомендовалась большой поклонницей его таланта и высказывала свое безмерное восхищение

«Сценами частной жизни». Но «Шагреневая кожа» ее обидела. Роман показался ей слишком грубым. Письмо было умное и вдумчивое, написанное изысканным французским языком, и в его разгоряченном воображении возник образ неизвестной женщины, склонившейся над его книгой в роскошном дворце в далеком снежном краю. А иностранка просила подтвердить получение письма в газете «Котидьен» — единственной французской газете, попадавшей в Россию. И вскоре, 9 ноября 1832 года, в «Котидьен» появилось странное сообщение:

«Господин де Б. получил посланное ему письмо; он только сегодня может уведомить об этом через газету «Котидьен» и очень сожалеет, что не знает, кому ему адресовать ответ».

Так началась переписка. А затем открылось инкогнито.

...И вот была дорога. Второе свидание в России. Свидание, которое должно стать решающим. Как-то, миновав полосатую будку почтовой станции и кривой шлагбаум, карета нагнала толпу. По дороге, вслед за возком, в котором сидел военный с лихо закрученными усами, шагало несколько десятков людей. Громкий лязг нарушал первозданную тишину степи.

Бальзак выглянул из кареты. Люди шагали, волоча на ногах тяжелые цепи. Руки у них тоже были закованы. Низко склонив головы, потупя взоры в пыль, плывущую над трактом, они еле передвигали ноги. Позади толпы ехал верхом солдат. Он посмотрел на карету и, подтянувшись, почтительно отдал честь. Карета проехала. Бальзак прижался лбом к заднему окну и долго еще вглядывался в толпу, пока она не исчезла за поворотом дороги. Неожиданная встреча взволновала. Неожиданным был самый контраст — простор сказочной степи, освещенной заходящим южным солнцем, далекие контуры лесов, голубое небо — и тридцать пять человек (он успел их пересчитать), закованных в железо. Он чувствовал себя совершенно обескураженным. Но лошади мчали карету дальше, и мимо летела желтая осенняя степь, одинокие липы, а над степью, над тихими липами и незнакомыми путями — светлое небо.

Необычайно тихи были осенние дни. Особенно прекрасны были вечера. Запах степных трав, прелого сена, молодой месяц в синеве навевали покой.

В один из таких вечеров Бальзак появился в Верховне.

Над многолетними деревьями парка осень ткала серебристую паутину, полыхала в последнем содрогании зеленоватая листва березовых рощ, черные вороны кружили над дворцом. Карета прокатилась по густой аллее, и кучер резким, умелым движением осадил коней у подъезда. Бальзак, волнуясь, откинул дверцу, и тоненькие ступеньки прогнулись под его тяжестью. На террасе стояла Эвелина Ганская.

...Ветер рванул ставню. Отскочила одна половинка. Бальзак вздрогнул. Поднял голову. В глаза ему заглянула непроглядная мгла. Слышнее стал шум дождя. Опираясь руками на стол, погасил свечи. Вышел в соседнюю комнату. Ощупью нашел постель, не раздеваясь, завернулся в одеяло и, пряча голову в мягкую подушку, искал забытья.

За несколькими стенами от его спальни, скрестив под головой руки, беззаботно спала Эвелина. Спокойно светил под потолком ночник. За дверью, на полу, подобрав под грудь руки, дремала горничная. В смежной комнате мелодично вызванивали каждые тридцать минут швейцарские часы. А на востоке, за парком, а может быть, еще дальше, там, где начиналась степь, тусклыми серыми пятнами занимался уже на небе осенний рассвет.

Днем был гость. Приезжал банкир Гальперин. Бальзак узнал об этом после обеда. Вспомнил о госте Мнишек, нечаянно обмолвился. Эвелина не поддержала разговора. Бальзак похвалил Гальперина. В гостиной сидели он, графиня Эва, Ганна и Юрий. День был пасмурный. Моросил мелкий дождь. Развлекал общество граф Мнишек. Рассказывал о своем вишневецком дворце. Бальзак слушал с увлечением. Бессонной, трудной ночи словно и не было, он, как всегда, нашел в себе силы победить усталость. Эвелина молчаливо наблюдала. Ганна тоже больше молчала, искоса, украдкой рассматривала писателя. С первого знакомства он несколько разочаровал ее. Автор «Тридцатилетней женщины» представлялся иным. Мать не поверяла ей своих намерений. Но Ганна догадывалась. Перед нею сидел ее будущий отчим. Она почему-то вспомнила, как несколько лет назад в этом зале, за этим же столом покойный отец ссорился с матерью.

Причиной столкновения были случайно прочитанные письма Бальзака к графине. Эвелина, немного грустная, думала о другом. Появление банкира Гальперина принесло новые заботы. Коротко, без обвиняков рассказал банкир о разговоре с жандармским офицером Киселевым. Он ничего не посоветовал и ничего не прибавил, упомянув об этом так, между прочим, среди денежных и всяких иных дел. Чрезмерное внимание властей к ее гостю было не совсем приятно графине. Это говорило о каком-то недоверии к нему. Эвелина решила написать письмо генерал-губернатору Бибикову.

Юрий Мнишек взял листок бумаги и карандаш. Внимательно всматриваясь в Бальзака, набросал его портрет. Он добился некоторого сходства и смеялся, обрадованный удачей. Бальзак посмотрел на рисунок, тронул пальцем:

— Граф, вы чудесно рисуете мой лоб.

Поощренный похвалой, Мнишек набросал новый рисунок. Медаль — на одной стороне Бальзак, на другой — барельеф Эвелины, его самого и Ганнуси. Написал в кругу «Бильбоке», вспомнив прозвище, которым окрестила гостя Ганская, а подумавши, добавил: «от поклонников-скоморохов». Показал. Все смеялись, улыбнулась даже Эвелина.

— Графиня, вы чем-то опечалены, — заметил Бальзак озабоченно.

— А все потому, что в голове у нашей Эвелины дела, дела, дела... — недовольно ответил за Эву Мнишек. — Есть у вас управитель, — обратился он к Эвелине, — есть незаменимый Жегмонт — возложите все на них.

Бальзак вмешался в разговор.

— О, нет! На чужих положиться нельзя. Хозяйский глаз всюду нужен. — Прижал ладонь к груди, глаза заблестели, и он с увлечением, словно вкладывая в слова всю свою душу, произнес:

— Ваше сиятельство, сделайте меня своим управителем, и вы увидите, что автор «Евгении Гранде» и «Отца Горио» кое-что смыслит в хозяйстве.

Он говорил о вещах обычных, но все поняли его намек и выслушали внимательно, только Эвелина засмеялась:

— Представляю себе, что писали бы в Париже.

— Чудесно! — Бальзак увлекся. — Совершенная сказка: господин Онорэ де Бальзак, автор «Человеческой комедии», — управляющий имением графини Ганской.

— Онорэ, Онорэ, вы всегда шутите, — Эвелина укоризненно махнула рукой, — в вашем «владении» — все человечество, пусть все ваши мысли будут о нем.

Бальзак, выражая благодарность, поднялся и торжественно поцеловал ей руку. Ганна села за фортепиано. Взяла аккорд.

— Шопена, — попросила мать.

— Полонез, — добавил Мнишек.

Но Ганна почему-то смотрела на Бальзака, ждала, что скажет он, а он и не глядел на нее, стоял за креслом Эвелины, ухватившись руками за спинку, весь устремленный вперед, думая о своем.

И Ганна заиграла Листа, и все сразу узнали стремительную рапсодию. Синеватые струйки стекали по окнам.

Осень билась в стекла дождем и ветром. Осень была где-то близко и в крови, и Эвелина не выдержала, жестом предложила всем остаться на местах, а сама вышла быстрыми шагами. Запершись в спальне, она склонила колени перед образом богоматери и, протянув к ней руки, горячо, со всей свойственной ей страстью, молилась. Слова молитвы слетали с уст, как пожелтевшие листья с осеннего дерева, а мысли неслись другие, беспокойные и тяжелые.

— О, матка боска, — молила Эвелина, — помоги мне, научи жить не ошибаясь. Научи! — И в этот миг она чувствовала странное равнодушие к Бальзаку, даже что-то похожее на вражду.

Если бы не Бальзак, разве позволила бы она плуту Гальперину, этому грязному израильтянину, рассказывать ей какую-то историю с жандармами, разве посмел бы он? Но дела складывались так, что она должна была выслушать, даже больше, — кивнуть головой в знак благодарности. В чем-то она запуталась, зашла слишком далеко. А он все еще не писал императору. Конечно, дело не в письме, дело в том нелепом фельетоне, который он осмелился написать о царе. Ведь еще несколько лет назад в Петербурге Бенкендорф намекнул, что император знает об этом пасквиле. И все же он дозволил ее

поклоннику приехать в Россию. Какое-то сомнение шевельнулось в ней, порожденное новой мыслью. Что, если он напишет такую же книгу, как Кюстин? Маркиза Кюстина она знала, он привез для нее в Петербург подарок от Бальзака — корректуру романа «Шуаны» в кожаном переплете. Не могло, вероятно, остаться тайной и то, что Бальзак когда-то посвятил Кюстину свой рассказ «Красный отель». Она должна прочесть записки Бальзака о путешествии. Это ее обязанность.

После ухода Эвелины Ганна сыграла еще полонез и опустила крышку рояля.

— Скучно! — воскликнула она. — Вы замечаете, господин Оноре, что мы живем однообразно? Неинтересно?

Бальзак молчал. Он думал о причине неожиданного бегства Ганской.

— Дождь! Противный дождь, — жаловалась Ганна. — Юрий, как бы остановить этот дождь? Я не хочу, чтобы был дождь, и не хочу осени, я хочу солнца, и чтоб были цветы, и я хочу в Париж.

Бальзак попросил извинения. Ему еще надо было поработать. Парижские издатели требовательны.

— Ну, вот тебе и прославленный Бальзак. Знаток любви и женщин! — Ганна сделала презрительную гримаску, взяла со стола томик Вольтера и примостилась на низенькой кушетке.

Он хотел было сразу же пойти к Эве, спросить, выслушать. Передумал. Поднялся в свой кабинет. Ходил быстрыми шагами из угла в угол, задерживался на миг у окна, вглядывался в серый, тоскливый пейзаж и снова ходил, безмолвно шевеля губами, потирая руки. В комнате было непривычно холодно, и его знобило. Он понимал: Эвелина колеблется. Взгляд случайно остановился на бумагах, разбросанных по столу.

Роман не выходил. Сюжет «Посвященного» был еще вялым и далеким от завершенности. Мысли походили на изморось за окном. Подбежал к столу, втиснул свое тело в узкое кресло, схватил перо. Оставалось одно — письма. Он стал писать торопливо, подгоняя себя, будто это было подлинное творчество.

Через несколько дней чиновник особых поручений в Бердичеве, задержав силою своих высоких полномочий оказию на Радзивиллов, перечитывал большие путаные

письма Бальзака, читал внимательно, искал что-то между строк, записывал в свою заветную книжку наиболее важное, а письмо к сестре Лауре переписал целиком и принялся составлять доклад генералу Бибикову. «Одновременно, — писал Киселев, причмокивая языком от удовольствия, — посылаю вашему превосходительству копию письма французского писателя Бальзака к своей сестре Лауре в Париж. Поднадзорный Бальзак ведет себя благопристойно, — Киселев подумал, эти слова показались ему щедрыми, — ездил в Бердичев — неизвестно с какой целью. Из-за границы получает письма, копии которых пересылаю при сем в канцелярию вашего превосходительства».

Киселев подписался размашисто, но четко, помятуя, что и в подписи должно проявляться почтение к высшему начальству. Письмо к Лауре Бибиков читал внимательно, даже слишком внимательно, на белом поле листа делал свои, понятные только ему, пометки. «Страна эта интересна только тем, — писал Бальзак, — что наряду с подлинной роскошью здесь не хватает самых обычных вещей. Это имение единственное, где есть карсельская лампа и больница. Зеркала в десять футов — и нет шпалер на стенах. А Верховня считается богатейшим поместьем на Украине, которая по величине равна Франции». Бибиков прикусил губу, култышка левой руки (рука была потеряна в кампании 1812 года) дрогнула, читал дальше.

«Несмотря на плодородие земель, обратить продукты в деньги трудно, потому что управители крадут и не хватает рабочих рук для машинной молотьбы хлеба. Это могущество и эти богатства заключены в самой земле, и потому Россия рано или поздно станет хозяином европейского рынка по сырью», — Бибиков подчеркнул последнюю фразу. — «Литератор прав, однако, это не его дело», — подумал и еще раз подчеркнул.

«Вы не представляете себе, какие огромные богатства сосредоточены в России, и не используются они из-за отсутствия транспорта. Мы топим здесь печи соломой. За неделю здесь сжигают столько соломы, сколько можно найти на всем рынке св. Лаврентия в Париже. Как-то я пошел на ток в Верховне, где молотят хлеб машинами, и там стояло 20 скирд, каждая высотою в 30 футов, длиною в 50 шагов и шириною в 12 шагов. Но управите-

ли крадут, и потери значительно уменьшают прибыли. Мы не представляем себе дома, как здесь живут. В Верховне надо иметь все свое: здесь есть кондитер, мебельщик, портной, сапожник, есть крепостной оркестр. В Верховне есть суконная фабрика, и сукно вырабатывают очень хорошее. Мне шьют шубу на сибирских лисах из местного сукна, чтобы я мог прожить здесь зиму, и это сукно стоит французского. Фабрика выпускает десять тысяч штук сукна в год».

Все прочитанное выше показалось генерал-губернатору не столь значительным и важным по сравнению с тем, что он прочел дальше.

«Он заходит слишком далеко в своих намерениях», — подумал Бибиков, еще раз прочтя взволнованные, с увлечением написанные строки. Размашистым почерком Бальзак излагал в письме интересный экономический проект.

«У двух графов Мнишек, — писал он, — есть земля, одна из самых прекрасных в империи, расположенная, на их счастье, на русской границе, в пяти милях от города Броды. В Бродах начинается большая галицийская железная дорога, а линия от Кракова до Парижа будет закончена 15 сего месяца. Теперь Франция, где употребляется огромное количество дубового леса для железнодорожных шпал, почти не имеет дуба. Я знаю, что цена на дубовый лес выросла вдвое... Эти паны, владеющие 20 тысячами арпанов высокого строительного дубового леса, могут продать 60 футов дуба высотою в 10 метров, в среднем 15 дюймов в диаметре у корня и 10 дюймов у того места, где отрубают верхушку. Надо подсчитать, сколько можно предложить владельцам за каждое дерево, принимая во внимание: 1) перевозку из Брод в Краков 80 миль; 2) стоимость перевозки по железной дороге от Кракова до Парижа, учитывая также переправу через Рейн у Кельна и через Эльбу в Магдебурге, потому что на этих двух реках мостов-виадуков еще нет, и лес придется сплавлять, а сплав 60 000 таких колод — дело не шуточное.

Но если себестоимость, скажем, 10 франков, а фрахт — 20 франков, то колода обойдется в 30 франков; весь вопрос в том, сколько будут стоить в Париже 60 000 штук дубовых колод. Если это дает только 20 франков прибыли, то и тогда это составит 1 200 000 франков.

Итак, отвечайте как можно скорее. Пусть Сюрвиль составит точный расчет фрахтов от Кракова до Парижа, стоимость перевозки, пошлину, если она существует во Франции, и т. п. Я узнаю здесь, сколько будет стоить перевозка от Брод до Кракова... Не следует удивляться, что это дело здесь не сделано, — такова беззаботность здешних помещиков. Эта страна — какие-то ледяные Антильские острова, а помещики — креолы, эксплуатирующие свои земли с помощью мужиков».

Бибиков прочитал письмо дважды. Оно стоило того. Прежде всего это было удивительно. Литератор Бальзак рассуждал, как экономист. Затем раздражал недопустимый тон в описании России, а что касается сырья, — он, конечно, прав, только не ему вывозить арпаны дуба для французских железных дорог.

Цель приезда Бальзака в Россию как будто стала проясняться. Так по крайней мере думал Бибиков. Он считал этот год неудачным для себя. В самом деле, ему не везло. Писатели точно нечистая сила свалились на его голову. Не так давно Шевченко задал ему хлопот, еще и до сих пор жандармы шныряют по селам, вылавливая его бунтовщические стихи. Конец этому положен, нет больше Шевченка. Ан, глядь, — черти принесли этого загадочного француза. Правда, с ним легче. Это совсем другое дело, но деликатное и не совсем ясное. Конечно, здесь никакой речи о бунте, о каких-то идеях. Но этот роман польской графини и Бальзака не совсем нравился Бибикову. Сухонькое тело генерал-губернатора, в простом черном мундире, потонуло в глубоком кожаном кресле за большим письменным столом. Бибиков погрузился в воспоминания. О Ганской он думал не без приятности. Вспоминались вечера в Петербурге, в Одессе. Правда, она издавна обнаруживала склонность к литераторам. Даже Пушкин был ее добрым знакомым. Впрочем, он, кажется, уделял больше внимания ее сестре Каролине. Ведь это ей он посвятил:

Что в имени тебе моем,
Оно умрет, как шум печальный...

Пушкин — его тоже давно уже нет, и как будто спокойнее стало в Петербурге, да и в одном ли Петербурге? А Каменка Давыдовых, тот темный грот? Теперь только

одно воспоминание, а тогда реальная угроза порядку. Копия письма Бальзака лежит перед Бибиковым на столе. Она напоминает о действительности. Что же, намерения француза останутся только на бумаге. Ни один арпан леса не будет продан. Нет! Глаза Бибикова наливаются кровью. Неслыханная наглость! Этому не бывать никогда. Никогда! Он вызывает в кабинет начальника канцелярии и отдает приказ: на территории вверенных ему губерний Киевской, Подольской и Волынской запретить продажу леса на сруб, без особого разрешения генерал-губернатора. Копия письма Бальзака в запечатанном конверте путешествует дальше, в Петербург. Она попадает в папку с двуглавым орлом на переплете и с надписью: «Его императорского величества собственной канцелярии отделение III», на нем ставят номер и печать, и сбоку появляется пометка: «До сведения его императорского величества доведено».

ГЛАВА ПЯТАЯ

«ЗВЕЗДА СЕВЕРА»

У Бальзака в Париже видела Эвелина Ганская маленькую статуэтку Наполеона с обнаженной саблей в руке.

Дом писателя на улице Пасси окнами выходил на юг, и полуденное солнце слало свое тепло на просторный письменный стол, согревая свертки рукописей и согнутую фигурку Наполеона. На бронзовой подставке у ног императора Бальзак приклеил кусочек бумаги со смелой, но откровенной надписью, и Эвелина Ганская запомнила эту надпись. Она была только раз в кабинете Бальзака и только раз прочла эти слова, но надпись настолько изумила и поразила ее, что запала в память навеки. Любовь, которая начала уже сменяться уважением, воскресала по мере того, как графиня углублялась в содержание слов, написанных на лоскутке бумаги у ног Наполеона. И теперь, в Верховне, через несколько лет, всплыли в памяти эти слова, они натолкнули на мысль повесить в спальне Бальзака над постелью миниатюру с изображением Наполеона. Графиня даже отважилась написать своим прямым, несколько похожим на

мужской, почерком эту фразу; выводила спокойно каждое слово и вдумывалась:

«То, что он не завоевал мечом, я добуду пером».

Написала, приколола под миниатюрой, а потом сняла. Это походило на месть, и Эвелина, не жалея, порвала бумажку в клочки, бросила в окно, на ветер.

Заповедью ее возлюбленного была слава, и слава была ее заповедью. Тогда, в Париже, впервые задумавшись над содержанием этой фразы, она словно проникла в тайные намерения его души, увидела величие и независимость его стремлений, увлеклась, почувствовав в них всемогущую, покоряющую силу. Но поняла все посвоему, соответственно взглядам своего круга, интересы которого были ей дороже всего. И потому смотрела на его плодовитый труд, на тысячи страниц, испещренных печатными буквами, лишь как на путь к достижению цели. И она не скрывала этих мыслей. И потому «Человеческую комедию» — это гигантское здание, вмещавшее в себе эпоху, классы, запутанные страницы истории общества и скопление общественных интересов, Эвелина, со свойственным ей презрением к печатному слову, воспринимала иронически. И эта ирония также не укрылась от Бальзака.

С первого взгляда все в поведении графини было как будто ясно и понятно. А ему, все же любимому, на закате своих чувств она не могла подарить того, в чем не посчастливилось ему и на общественном поприще. А ведь это она в Невшателе предсказала ему пышные и чарующие своим блеском титулы: полномочный министр и посол, депутат палаты, королевский советник, — и все это можно было соединить с книгами, с литературной славой и, возможно, тогда эта последняя была бы даже больше, значительнее.

Листок бумаги у ног статуэтки Наполеона на тихой улице Пасси приобретал магическое значение. Особенно теперь, когда Эвелина была свободна, когда на пути к их общему счастью не было уже формальных преград, кроме мелочей, преодолеть которые у нее достанет умения и сил, особенно теперь во весь рост встала в ее сознании и не исчезала мысль о нем, как о носителе спокойствия, порядочности, благопристойности и богатства: последнее в том случае, если возникнет и будет решен негативно вопрос о наследстве в связи с принятием

французского подданства. Если бы ее спросили, может ли она, Эвелина, отказаться окончательно от увлечений другими, или может ли она утверждать, что ее сердце замкнуто для других, то, ответив «да», она бы солгала. Возвращалась молодость. Разве он, обрушивая на нее столько лет водопад писем, наполненных до краев любовью, разве он был верен ей? И не только до их знакомства, не говоря уже о первой и сильнейшей связи (Лауре Берни), но и потом, после Невшателя, после «союза тела», как называл он невшательскую ночь, разве не был он связан с герцогиней де Кастри, Зюльмой Карро, какой-то никому не известной Луизой, писательницей Клер Брюи, которую он сопровождал по Италии, графиней Висконти, и сколькими еще?! Она знала всех его любовниц, все его увлечения были известны ей. Простить она не могла и не собиралась.

Молодость уходила, надо было остановиться на каком-нибудь решении, надо сказать, наконец, последнее «да» и на этом покончить.

Ганна нашла себе друга. Юрий Мнишек богат, благородного происхождения, умен. О Ганне нечего заботиться. Муж Вацлав уже седьмой год лежит под мраморным надгробием в этой самой часовне, где она сейчас сидит на холодной гранитной скамье, закутавшись в пелерину, устремив опечаленный взор в темный угол, где под образом богоматери светится язычок лампадки. Дворовые видели, как она шла сюда, это знает Бальзак, это известно Ганне и Юрию. Так лучше. Все должны знать, что прочное и до сих пор значительное место занимает в ее мыслях память о муже, который, кроме состояния, исчисляемого в четырнадцать миллионов, ничего ей не дал. Слишком уж велика была разница возрастов, муж был старше на двадцать два года, а кроме того, Эвелина-Констанция, урожденная Ржевусская, наследница древнего воинственного рода, не могла считать себя ровней Вацлаву Ганскому, разбогатевшему на продаже крепостных душ, предводителю дворянства Волынской губернии. Впрочем, она в свои восемнадцать лет проявила достаточно рассудительности и вступила в «добровольный союз сердец и тел», как записал вицерегент житомирского поветового суда Августин Якубовский мая 13 дня 1819 года. В акте было точно обуслов-

лено, что приданое Эвелины-Констанции Ржевусской в сумме двухсот тысяч злотых и сорока тысяч на экипировку Вацлав Ганский, волынский губернский предводитель дворянства и кавалер орденов св. Анны, св. Владимира и св. Иоанна Иерусалимского, обязуется закрепить судебным порядком, с тем, что двести сорок тысяч злотых остаются за Эвелиной-Констанцией Ганской, урожденной графиней Ржевусской, а также Вацлав Ганский передает жене свои поместья, как-то: Ключ Пулинский, Волынской губернии, Ключ Верховненский, Киевской губернии, Сквирского повета, и Ключ Горностайский, той же Киевской губернии, Радомысльского повета, ничего из них не исключая, со всем инвентарем, прибылями, а также денежные суммы, где таковые имеются, и те, которые еще по воле господней собраны будут, — все это в случае смерти Вацлава Ганского переходит в вечное пользование и собственность графини Эвелины-Констанции Ржевусской-Ганской.

А в Невшателе швейцарском, еще при жизни мужа, Эвелина заключила словесный клятвенный договор с влюбленным в нее Бальзаком по смерти Вацлава Ганского соединиться с Онорэ Бальзаком навеки. В часовне, отделанной гранитом и мрамором, в родовом могильном склепе Ганских, холодно. В открытую дверь не проникает солнце, скупое уже и грустное солнце осени.

Скамья выбита в стене. Эвелина, одетая в черное, недвижимая и задумчивая, словно высечена из мрамора. Только глаза блуждают по суровому ряду надгробий, да легко, едва заметно дрожат ресницы.

У самих ног ее, на мраморной плите, орнамент дворянского герба и даты жизни мужа. Что ж, она может даже погрустить над ним. Она жила с ним, как без него, и, кроме единственной ссоры из-за писем Бальзака, ничто никогда не омрачало их совместной жизни. Он знал ее любовников и даже был в дружеских отношениях с ними. И он не мешал ей жить, как ей хотелось, не вмешиваясь в ее мир, проявляя полное равнодушие. А на людях, на банкетах, в гостях, во время поездок в Петербург, Одессу, Варшаву и за границу они были для постороннего глаза прекрасной парой, добропорядочной и безупречной. Чтобы создать такое впечатление, надо было владеть подлинным искусством обмана. Но в

этом отношении ни Эвелина, ни Вацлав не могли на себя пожаловаться.

Единственный раз стал Ганский на пути ее увлечений, это было в Одессе, когда за нею ухаживал Пушкин. Взволнованный и пылкий поэт на террасе воронцовской дачи держал ее руку, и она запомнила перламутровый блеск зубов и его произнесенные шепотом смелые слова. Сердце ее таяло, как льдинка в весеннем ручье. Пушкин называл ее Аталой. И она отдала ему в ту ночь руки и уста, обещав в дальнейшем большее. А по дороге с дачи в город как будто между прочим, Ганский бросил предостерегающую фразу, и она сделала вывод, — больше с поэтом не виделась.

— Его вышлют по императорскому приказу. Есть известия, что он связан с тайным противоправительственным союзом, с ним надо держаться осторожно. Воронцов мне сказал.

Ганский замолчал. Больше не сказал ни слова, но она поверила сразу, поняв, что такое предостережение не могло быть вызвано только ревностью.

Чистоту своей совести перед царем Ганский хранил строже, чем супружескую верность своей жены. Больше Эвелина не видела Пушкина, хотя желание встретиться с ним не ослабевало; рассудительность подсказывала, что абсурдно только по этой причине замешивать свое имя в переписку III отделения собственной его императорского величества канцелярии. А сестра ее, Каролина Собанская, увлеклась поэтом и показывала Эвелине стихи, написанные ей на память. Эвелина не завидовала.

В долгие зимние вечера в Верховне, под аккомпанемент метели, выслушав все жалобы мужа на либералов, на неблагодарных мужиков, на пройдох экономов, Эвелина шла в свои комнаты и там углублялась в книги. В такой зимний вечер она прочла новую книгу Бальзака «Шагреневая кожа». Автор этот был Эвелине уже знаком. Друзья в Санкт-Петербурге увлекались им, они присылали ей в Верховню все его новые книги. Эвелина читала их старательно, не пропуская ни одной страницы, но особенного увлечения не испытывала. Читал кое-что и Ганский, не большой любитель книг, читал и мыслей своих о прочитанном не высказывал. Эвелина прочитала «Шагреневую кожу» дважды. Впечатление было на-

столько велико, что она решила написать Бальзаку. Графиня не хвалила этого произведения. Она осуждала гневно и страстно, и этот гнев и страсть, излитые на бумагу под ее диктовку чужой рукой, привлекли внимание Бальзака.

Эвелина не оправдывала смелости автора, считая ее бесстыдной, не понимала и назвала преступлением против бога любви то, что Бальзак осмелился подчеркнуть зависимость современной жизни только от денег, а герой его Рафаэль занят не только сердцем чудесной женщины, но и мыслью о том, хватит ли у него денег, чтобы заплатить за карету. Письмо с подписью «Иностранка» дошло до адресата. Так началась переписка, перешедшая в знакомство, затем в любовь. И в ответном письме пришли в Верховню два слова, польстившие Эвелине, возвеличившие ее в собственных глазах, поднявшие ее над степными заснеженными просторами: «Звезда Севера» — назвал он ее. Да, она верила, что с далекой Украины в Париж, на улицу Пасси, она шлет ему голубой луч. Это была романтика, это была любовь.

У гробницы мужа легко Эвелине вспоминать прошлое. Мысли возникают сами, потому что настоящее переплетается с прошлым, потому что здесь, среди мрамора и холода, в полутьме, под тяжелым черным потолком, обретено истинное одиночество, потому, наконец, что скоро, вечером или утром, за ужином или за завтраком Ганна скажет: «Мама, вы снова ходили в часовню? Зачем вы себя мучаете?!» И этот вопрос, в котором будет подчеркнутое сочувствие, вызовет внимание Бальзака. А нужно ли ей это?

Широко раскрываются глаза, она оглядывает часовню. Сколько еще места в склепе! Покойный муж и его предки позаботились и о других. Молчаливая суровость склепа порождала неприятные мысли. Надежды найти здесь, в одиночестве, ответ на то, что мучило уже столько дней, — оказались тщетны.

Эвелина поднялась. Набожно перекрестилась и вышла из часовни, замкнув за собою дверь на ключ. После могильного холода и сырости воздух поразил необычайной теплотой. Осенний парк застыл в какой-то дреме. После дождя настала тишина. Неподалеку, на прудах, звонко раздался утиный кряк и плеск. С фольварка долетала веселая стукотня молотилки. Вековые дубы

скрестили могучие ветви над дорожкой. Под ногами сухо и неприятно хрустел песок. Эвелина в задумчивости прошла еще несколько шагов и опустилась на скамью под широким ветвистым дубом.

Вдали, в конце дорожки, виднелся южный фасад дворца. Сквозь строй обнаженных осенью деревьев колонны белели непривычно и странно. И едва только Эвелина села, сбросив с плеч пелерину, как перед нею вырос краснощекий управитель Кароль, точно он давно уже стоял здесь, на аллее, и подстерегал. Он почтительно поцеловал протянутую руку и сел рядом без приглашения, разрешив себе по-родственному эту фамильярность.

Эвелина выжидательно молчала, раздраженная неожиданным и ненужным появлением управителя. Он рассматривал ее искоса, сбоку, словно впервые видел, и не спешил начинать разговор, уверенный, что графиня не встанет со скамьи, не уйдет, а так и будет сидеть, ожидая, пока он не заговорит.

— Я давно хочу с вами поговорить, пани Эвелина, — наконец начал Ганский, переводя колючий взгляд на свои высокие охотничьи сапоги, — но вы так заняты последнее время, что я не решаюсь...

— Нет, отчего же, пане Кароль...

Говорила ласково, чтобы смягчить разговор, который, она чувствовала это, грозил быть неприятным.

— Нет, пани Эвелина, вы в самом деле заняты. — Он настаивал, и Эвелина не возражала более. — Но мне хотелось бы... я считал бы крайне необходимым, — управитель заметно волновался; он встал, внимательно посмотрел на аллею, впереди высокие колонны сиротливо белели, успокоился и снова сел рядом.

— Я хотел бы, пани Эвелина, чтобы вы знали все, что происходит в наших поместьях, среди наших крестьян.

— В моих поместьях, среди моих крестьян?

— Простите. Не так сказал. Видит бог, верой и правдой служу вам и привык, как к своему, как своим живу, днем и ночью...

Что-то было уже утрачено, управитель понял это и, испугавшись, что Эвелина может вообще подняться и уйти, поспешил продолжить. Все приготовленные заранее слова точно ветром сдуло. Кароль беспощадно вертел пуговицу на своем куцом сюртучке.

— Я слушаю, пане Кароль.

Она торопила его. Недвусмысленно намекала.

— Графиня, вы могли бы уделить мне несколько минут, ведь находится же у вас целый час для плута Гальперина из Бердичева, не говоря уже о других...

— Предоставьте мне распоряжаться собой, пане управитель.

Он покорно кивнул головой.

— Так вот, пани, горностайские мужики не платят податей, в Ключе Пулинском большие убытки, неурожай, а у нас, в Верховне, тоже не все благополучно с податью, — Ганский наклонился к самому уху графини, — есть беглые.

— А чего же смотрит пан управитель?

Эвелина перешла в наступление. Он ошибся, этот подлый мошенник, распутник и пьяница, жалкий последыш Ганских. В это мгновение он был ей ненавистен и отвратителен до исступления. Она повысила голос, сжала кулаки и повторила уже не спрашивая, а укоряя его:

— Чего смотрит пан управитель?

Кароль Ганский молчал. Эвелина отвечала за него:

— Пан управитель занят охотой, волокитством, пьянством. — Он хотел что-то возразить, но она требовательным движением руки остановила его. — Пан управитель проматывает мои деньги в шинках Бердичева и Сквиры, и ему безразлично, что разрушается хозяйство. О, боже! Боже! За что ты меня так караешь? За что?

— Прекратите эту комедию! Бросьте!

Он стоял возле нее, кусая длинные рыжие усы, едва сдерживая ярость.

— Довольно! Я вижу, с вами по-хорошему не договоришься. Какое вам дело до того, что я делаю, куда трачу деньги? Чьи деньги, спрашиваю я вас? Ваши? Молчите! — Он расхохотался. — Не ваши. Деньги Вацлава Ганского, моего брата. Я его наследник. Слышите? Я. Единственный и полноправный. Да. Не пугайтесь. Помолчите. Дайте мне досказать.

Эвелина окаменела на скамье. Побледневшее лицо она склонила на руки. Это дурной сон.

— Я не могу больше молчать. Не могу! — Кароль Ганский кричал и топал ногами. — К чему это лицемерие? Плакать в часовне и в то же время держать у себя любовника француза, заигрывать с зятем, а сколько их

было раньше, этих любовников... Вы думаете, я не знаю? Вы думаете, свет не знает? Берегитесь, Эвелина!

Он умолк на минуту. Ожидал возражений. Одно слово из ее уст, и он бесновался бы вновь, громил и кричал. Но Эвелина молчала. Она подождала немного.

— Что вам надо? — спросила она, наконец, когда Ганский, излив всю свою злобу, сел поодаль. — Чего вы хотите?

Он шел напрямик, поняв, что хитрить уже поздно.

— Отправьте ко всем дьяволам этого француза, заведите себе хоть десять, сто, тысячу любовников, но оставьте мысль о замужестве. Этого не будет никогда, слышите? Никогда!

— Все?

Что это? Она откровенно издевалась над ним.

— Нет, еще не все, — он вскочил, ужаленный ее уничтожающим взглядом. — Нет, погодите. Знайте, за ним следят жандармы, я хорошо знаю, мне говорил бердичевский полицмейстер, сам император приказал, знайте, он опасный человек...

Последний козырь был брошен.

— Вы говорите глупости, — произнесла Эвелина спокойно, потирая пальцами высокий лоб, точно отгоняя какую-то навязчивую мысль. — Повторяю — глупости. И вы не имели права так говорить со мной. Вы забыли, что перед вами хозяйка, владелица всего этого, — Эвелина встала и обвела кругом себя рукою, — перед вами, шляхтич Ганский, урожденная Ржевусская, наследница славного и великого рода, в котором не было кормчих, стряпчих и писцов, в нашем роду — министры, короли, гетманы, славные воеводы, и моя тетка Розалия Любомирская, подруга королевы Марии-Антуанетты, погибла на эшафоте. Вы забыли об этом. А следовало помнить. Это хорошо и всегда помнил ваш родственник и мой муж Вацлав Ганский.

Эвелина говорила спокойно, и лишь едва заметная дрожь в голосе выдавала волнение.

— Как же вы осмелились? Я вас спрашиваю! Мне стоит только пошевельнуть пальцем, и вас не будет в Верховне. Я могу обречь вас на нищенство, знаете ли вы это? Вы бесстыдно обкрадываете меня, пользуетесь моим добросердечием...

— Ваш Жегмонт ползает за мной по пятам, шпио-

нит, — только и нашел, что сказать управитель в свое оправдание.

Она не обратила внимания на его слова.

— Помните, последний раз слушала я от вас эти безумные речи. Последний раз! — Она даже не взглянула в его сторону. Пошла по аллее, величественная и неприступная; а он остался, униженный, растерзанный; только забытая на скамье белая перчатка напомнила о ней. Схватил дрожащей рукой перчатку, обрадовался, точно она могла его спасти, догнал Эвелину.

— Пани Эвелина, ваша перчатка.

Взяла и не поблагодарила.

— Пся крев, с вашим Ржевусским, — и добавил еще несколько слов, но осторожно, удостоверясь, что она их не услышит.

Разъяренный, вскочил на коня, который ожидал его у ворот. Змеиным изгибом арапника ожег круп жеребца. Грузно подпрыгивал в седле. Скрипела кожа седла, конь бешено бил копытами, на шенкелях взбилась густая пена. Влетел на двор фермы, наскочил на стоявшего там деда Мусия, опрокинул, конь рванулся в сторону, натянул уздечку, но Кароль заставил его ступить деду на грудь и на руку. Дед затих на земле, разметав руки. По седой бороде, по усам тоненькими красными ручейками потекла кровь. Управитель сдержал коня перед самой дверью конюшни. Прошел мимо толпы притихших крепостных.

На весь ток, словно нарочито, оглушительно тарахтела молотилка.

Деда Мусия подняли и положили на солому. Прибежал Василь. В глазах вспыхнул гнев. Упал на колени. Вытирал грязной, запыленной рукой кровь на бороде.

— Дед, дед,— звал, но старик молчал, смежив веки...

Ганский стоял спиной к толпе. Пронизывал глазами баб, стоявших подле молотилки. Под скирдами сена, среди всевозможного скарба, кричали ребятишки. Кароль резко повернулся к мужикам, стоявшим подле деда. Зашагал к ним, сжимая нагайку.

— Разойдись, сукины дети, лодыри, бродяги, за работу! Запорю всех! Слышите, быдло несчастное!

Кричал, покрывая грязными словами стук машины, топал ногами, арапником свистел в воздухе. Мужики стояли полукругом. Смотрели куда-то в степь, поверх его головы. В их молчании была какая-то властная

угроза, и Ганский опустил арапник. Повернулся круто на каблуках и пошел в контору.

Деда Мусия внесли в конюшню. Положили на холстину. Стянули сорочку. Грудь обрызгали водой. И все это делали молча, не произнося ни слова. Покачали головами и разошлись. Василь подбежал к приказчику Евмену. Тот стоял у молотилки, словно ничего не замечая. Василь попросился побыть возле деда. Приказчик не захотел впутываться:

— Бес с ним. Иди!

А Василь через огороды, через степь, вдоль яра бежал к панскому дворцу, повторяя про себя слова жалобы на Ганского. Запыхавшись, вбежал в кухню. Навстречу вышел дворецкий Жегмонт. Зашикал, замахал руками:

— Какой черт принес? Чего надо?

Василь стоял перед дворецким, едва переводя дух, прижимал руки к груди, словно хотел сдержать бешеные перебои сердца. Жегмонт выслушал. Покачал головой.

— Нет, к пани сейчас нельзя. Что ты плетешь? Ну побил, выживет дед Мусий, он живуч, его покойный пан Вацлав, царство ему небесное, не так когда-то... а выжил, еще и на бандуре играет. Не убивайся. Иди! — Вытолкнул за дверь, и Василь слышал, как звякнула задвижка.

Что делать? Руки опустились. Стоял обессиленный, измученный. К Марине пойти — может, она пособит? И словно сам бог смилостивился. По ту сторону железной ограды шла графиня с каким-то человеком. Уже подойдя к самой ограде, узнал Василь того пана, с которым встретились в степи. Боязливо приоткрыл калитку и, точно ступая босиком по стеклу, несмело, приблизился к графине. Эвелина недовольно прищурилась. Что еще за новости? Бальзак сразу узнал юношу. Простоволосый, в сорочке с расстегнутым воротом, в широких полотняных штанах, глядя прямо в глаза, стоял перед Ганской Василь.

Трижды поклонился, подумав: так лучше будет.

Дрожащим голосом произнес:

— Заступитесь! — и уж тут не удержался, упал на колени, поднял голову умоляюще и рассказал все. — Может, теперь уж и нет деда Мусия, — вы же знаете деда, он так славно на бандуре играет. — «Да и откуда пани всех знать, — подумал, — у ней людей много, может, хоть по этой примете догадается, кто такой дед Мусий».

Бальзак стоял в стороне удивленный.

— Эва, о чем он просит?

Эвелина объяснила не сразу. А Василь, услышав голос пана, подполз на коленях к нему, дотронулся руками до серебряных застежек на туфлях. Бальзак растерялся. Быстро наклонился над ним, потянул за плечи вверх. Развел руками, не зная, что предпринять.

— О чем он просит, Эва?

— Мой управитель Кароль обидел его деда, — подумала, стоит ли рассказывать все, и не продолжала, — ну вот и все. — И уже Василю: — Иди, я скажу ему. А дед Мусий, как выздоровеет, пусть придет ко мне.

Повернулась к Василю спиной, подала руку Бальзаку. Василь пошел к калитке, как ослепший, ловя руками воздух.

Бальзак через плечо смотрел ему вслед. Эвелина глядела вперед, в глубину аллеи, и перед глазами ее все не исчезало смуглое и привлекательное лицо крестьянина.

Василь прошел через черный двор, очутился снова в яру и сел под кустами терновника. Положив голову на колени, думал нескончаемую, горькую думу, кусал горькую, как эта дума, травинку, слушал, как тоскливо журчит под поросшими мхом камнями ручеек. Понимал, что просил он защиты тщетно. Даже если и скажет графиня управителю, они сговорятся — родные,— а тот еще больше разозлится, не миновать теперь горя Василю. А дед Мусий?.. Что с ним? Долгий и горький век выпал деду.

«А мне какой?» — подумал и отвечать не захотел.

В яру было тихо. Даже ветер, залетев сюда, затихал и стлался понизу, припадая к пожелтевшей траве, кустам, забавлялся ручьем, а тот по-голубиному ворковал и резвился. Василь долго сидел в яру. Только когда солнце совсем уже опустилось и зашло за низкую тучу, он встал и пошел на ферму.

В конюшне деда Мусия уже не было. Старик лежал у себя в хате на лавке, укрытый свиткой, и тихо стонал. Василь сел в ногах, позвал: «Дед!» За окнами сгущались сумерки. По хатам, от тына к тыну, не по улице, а огородами, жалкими полосками земли, проросшей бурьянами, — где уж там полоть, коли все шесть дней на панщине? — ползла молва про деда Мусия и лиходея Ганского, чтоб его на том свете в казане черти варили, будь он проклят во веки веков, аминь. Крестились землистыми,

похожими на колышки, пальцами, вытирали краем платка пересохшие от голода и страданий губы и горячо, исступленно молились бабы.

Кароль Ганский про Мусия забыл. Заперся во флигеле. На столе перед ним стоял графинчик водки. Совсем пьяный, он тянул рюмку за рюмкой. Снял со стены пистолет, — в окне увидел какое-то лицо. Призрак? Сон? Нет. Из темноты за ним следили страшные глаза, и хищные зубы скалились на него. Он дрожащей рукой навел пистолет и выпустил заряд в окно. Но смеющаяся страшная рожа не исчезла. Ночь смеялась над Каролем Ганским. И он в бешенстве опрокинул графинчик себе в рот. Водка булькала в горле, текла по подбородку. Напрасно ждал в эту ночь управитель горничную Марину, она не пришла, несмотря на угрозы; лежа за дверью графининой спальни, девушка, — чтобы не слышно было всхлипываний, — рыдала в подушку, глотала слезы, а они бежали и бежали, точно где-то в душе открылся источник их, и конца им не было. Очень уж зла была сегодня графиня. Без вины ущипнула, а потом бросила в лицо туфлю и долго била по щекам.

Спит верховненский дворец, покрытый шатром осенней ночи. Темнеют и поблескивают под лунным светом просторные высокие окна, только в одном, на втором этаже, в правом крыле, светится огонь, отбрасывая на клумбы, на темный парк длинную полосу света, — Бальзак не спит в эту ночь. Под острым и беспокойным пером рождается сюжет пьесы «Король нищих». Письма от кредиторов неприятным воспоминанием лежат рядом. Старая мысль тревожит его, и он не замечает, как повторяет громко:

— Что же делать, в Париже не верят литератору, если он мало зарабатывает.

И после этих слов работа идет не лучше, точно день еще не прошел, и у ног стоит на коленях этот чудесный юноша. Убийственная картина! Он отбрасывает перо. Выбегает в спальню. Прижавшись лбом к окну, смотрит в ночь, сначала ничего не видно, но постепенно глаз привыкает к темноте. Впрочем, он все равно не видит, лишь угадывает: там, за парком, за степью, сотни две домиков, темные островерхие могилы, сколько людей, душ, — здесь их считают на души, — так, поштучно. Пальцы нервно теребят шелковую сорочку. Отлетают пуговицы. Резкий стук по мраморному подоконнику.

Вспоминается и другое. Шел к графине. Крик, донесшийся из ее комнаты, остановил. В раскрытые двери увидел Эвелину, перекошенные злостью черты; она била кулаками по лицу, по голове горничную Марину. Убежал сюда, к себе, и теперь ночь, осенняя, длинная. В чужой стране и, главное, наедине со своими мыслями; это самое страшное. Бежать! Куда глаза глядят, на улицу Пасси, к своим книгам, к письменному столу, может быть, там еще кипит желанный и необходимый источник вдохновения. И он увидел перед собою на бронзовой подставке мрачную фигуру императора Наполеона и лоскуток бумаги с надписью: «То, что он не завоевал себе мечом, я добуду пером», — и это было в Париже, и там не верили литераторам, которые мало зарабатывают. В бессилии и злобе, в отчаянии, беспокойными, негнущимися пальцами рвал шелк сорочки, царапал широкую грудь.

А с неба слала ему свой свет далекая и чуждая Северная звезда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НЕВОЛЯ

Последние дни золотой осени взмахнули серым крылом печального аиста и пропали за далекими очертаниями горизонта. Из степи повеяли колючие, крепкие ветры. Тучи закрывали полнеба, и где-то за ними блуждало солнце. Деревья парка, точно сироты, жалобным взмахом ветвей встречали рассвет. Утра были серые, хмурые и неприветливые.

Легкая пленка льда затягивала лужи в лесных чащах. Снегу еще и в помине не было, а зима уже шла с севера, неумолимая и суровая, и стаи черных воронов вещали ее приход.

И первый заморозок, первую благородную седину на пашнях Бальзак увидел из окна, накануне отъезда в Киев. Он имел представление о знаменитой северной зиме, она дала ему себя знать еще в тот месяц, который он провел когда-то в Петербурге. После пришлось отлеживаться в грязной дрезденской гостинице и лечить бронхи, он чуть не умер тогда от беспрерывного кашля.

В то время, в Дрездене, он не думал, что придется еще раз поехать в эту страну. Впрочем, зима была ему не страшна. В шкафу висела большая шуба на лисьем меху, высокая бобровая шапка и удобные сапоги. Он мог спокойно выйти навстречу лютой российской зиме.

Днем небо было ясное, и от первых заморозков не осталось и следа, но солнце уже не грело, и деревья грустно покачивались. Во дворце было тихо, спокойно. Ганна и Мнишек выехали в Киев на рассвете. Эвелина собиралась трогаться через несколько дней. Она предупредила:

— Онорэ, в Киеве надо поехать к губернатору, от этого многое зависит.

Он понял. Но этих слов было все же недостаточно, чтобы уяснить себе до конца мысли Эвелины. Впрочем, он не возражал. Киев так Киев. Пусть. Северный Рим откроется его взору, может быть, вынырнут на поверхность давно ожидаемые в Париже «Письма из Киева». Но того неудержимого стремления, которое волновало его в Париже, уже не было.

Нехотя он должен был признать, что легкое разочарование нарастало в нем. Он прохаживался по аллеям парка, задумчиво устремив глаза в серую даль осеннего дня. Ко дворцу подъезжал всадник. Бальзак узнал представительную фигуру Кароля Ганского. Словно из-под земли появился дворецкий Жегмонт, побежал к калитке и отпер. Управитель осадил коня, тяжело спрыгнул на землю и бросил дворецкому повод. Поднимая над лысиной высокую фуражку, он приближался к Бальзаку. Разговор был неизбежен. Бальзак снял шляпу, но, рассердясь на себя, надел снова. Остановился и ждал. Управитель был уже около него. Потная рука оставила на сухой ладони Бальзака неприятную сырость. Он, не стесняясь, отер ладонь о полу сюртука. Кароль взял его за локоть и почти силой повернул на аллею, уходящую в глубь парка. Несколько секунд они шли молча. Вверху над ними трепетала сухая листва. Старый ворон, засунув голову под крыло, дремал в траве.

— Чудесная у вас осень, — сказал Бальзак, находя, что пора уже начать разговор.

— О, — живо подхватил Ганский, — подобной осени нигде на свете нет, господин Бальзак.

И Бальзак не ответил. Разговор угас, как слабый огонек от дуновения ветра. Ганский забеспокоился, как бы

иностранец не выскользнул у него из рук. Сама судьба свела их в этот полуденный час. Наконец он получил возможность сказать ему наедине то, от чего зависело многое.

— Я позволю себе пригласить вас... Буду безмерно рад, если мою скромную хижину одинокого охотника посетите вы.

Он остановился на аллее и показал рукою на дорожку, обсаженную по бокам густыми кустами крыжовника. В конце дорожки над прудом стоял одноэтажный флигель Кароля Ганского.

— Вон моя тихая гавань, господин Бальзак, мое пристанище, и я верю, что вы не откажете мне.

Бальзак принудил себя улыбнуться. Он кивнул головой, не очень уверенно, подтверждая слова управителя, и первый ступил на дорожку. Ганский шел позади, сбивая арапником листья с кустов крыжовника. Он с ненавистью поглядывал на толстый затылок Бальзака. Покусывая губы, Бальзак, не торопясь, шел впереди, стараясь отгадать, о чем пойдет речь с управителем. У пруда они задержались. От воды потянуло гнилью. Несколько охотничьих собак бросились с крыльца навстречу спутникам. Лай нарушил торжественную тишину. Собаки радостно приветствовали своего хозяина. Ганский затопал на них ногами, они испуганно отскочили, и только одна, длинноухая, белая, в желтых пятнах, виновато ластилась к нему и длинным языком облизывала запыленные сапоги. Ганский, разозлясь, ожег ее нагайкой, и собака с воем отползла от него. Бальзак вздрогнул.

— К чему это? — пожал он плечами и склонился над собакой. Словно лихорадка трясла ее. Бархатная шерсть послушно ложилась под пальцами.

— Не терплю церемоний, — как бы оправдываясь, сказал управитель, — их надо приучать к строгости. Охота — хитрое и сложное искусство. Мне кажется, писатели также охотники?

— Вы правы, — подтвердил Бальзак, — впрочем, не совсем.

— Я не отваживаюсь возражать вам, — продолжал управитель, — но мне кажется...

Больше слов он не нашел, им овладело косноязычие. Спасаясь от продолжения неприятного разговора, он свистнул, и собаки снова сбежались к нему. Показав им нагайку, он поплевал на нее и забросил далеко в

кусты. Собак точно ветром сорвало с места. Ганский науськивал и подгонял их властным и суровым окриком:

— Пиль! Пиль!

И вот та самая белая собака, которую он перед тем побил, принесла ему в зубах нагайку, смотря на него умоляющими, навеки преданными глазами, точно она провинилась и просила теперь прощения.

— В комнату, — приказал Ганский, и собака послушалась.

Неся нагайку в зубах, она побежала к дому, поднялась по ступенькам и исчезла за дверью.

— Она у меня самая умная, — похвалился Ганский.

— Зачем же вы ее бьете?

— Умных надо бить, господин Бальзак, — убежденно ответил управитель, — если их не бить, они скоро забывают свое место и слишком много думают о себе...

Это уже не могло относиться к псу. Управитель осмелился на неприличные намеки. Бальзак отер платком лоб, сбил с рукава паучка. Промолчал. Разговор не тек по желанному руслу.

— Мне казалось, что вы хотели мне что-то сказать?

Управитель удивился, Бальзак переходил в наступление. Этого он не ожидал.

— Вы не ошиблись, — со всей учтивостью, на какую он был способен, ответил Ганский. — Но я думаю, что нам удобнее будет беседовать в моей гостиной.

— Лучше на воздухе.

— Ваша воля. Сядемте. — Управитель шагнул к скамье над прудом.

— Благодарю вас. Я спешу и выслушаю вас стоя.

Последнее уже взбесило Ганского. Выходило, что этот заплывший салом француз оказывает ему милость. Это было нетерпимо. Впрочем, он тотчас собьет с него спесь. Тотчас.

— Хорошо. Я понимаю. Вас ждут неотложные дела. Вы готовитесь ехать с моей свояченицей в Киев.

Бальзак едва заметно кивнул головой. Управитель вызывал у него страшное отвращение. Кароль Ганский подошел совсем близко. Дыша собеседнику прямо в лицо, он сказал то, что думал, сразу, отбросив все лишние слова и всякую корректность.

Тихий пруд отражал высь голубого неба, тучи, погруженные в его глубокие воды, затемняли ее. На лодке,

привязанной к берегу, гоготали утки, с верб на воду вертикально падали пожелтевшие листья. Ветра не было. Скрестив руки на груди, прижимая локтем трость, Бальзак склонил набок голову и слушал. Глаза его как будто были заняты сверхъестественной неподвижностью воды, но ни одно слово не прошло мимо его ушей.

— Я предупреждаю вас по-дружески, — продолжал, понизив голос, Ганский, — и совершенно конфиденциально, что к вам относятся с определенным недоверием, за вами следят, вы находитесь под надзором жандармерии, и для вас лучше как можно скорее выехать отсюда. Я ничего не хочу предсказывать, но для вас будет лучше... если вы уедете немедленно.

Ганский умолк. Вечно налитыми кровью глазами внимательно вглядывался в лицо Бальзака. Ни один мускул не шевельнулся на этом лице. Бальзак развел руки и крепко сжал палку. Потом посмотрел Ганскому прямо в глаза и занес палку. Ганский поспешил шагнуть в сторону. Бальзак недвусмысленно улыбнулся. Левой рукой он снял шляпу и пошел прочь от растерянного управителя, не произнеся ни слова и ни разу не обернувшись. Легкий ветерок трепал его длинные волосы. Осенняя земля посылала в лицо терпкие и незнакомые запахи. То, о чем он догадывался, подтверждалось.

Управитель громко выругался, махнул рукой и пошел к себе во флигель.

Эвелина об этом разговоре не узнала. Бальзак зашел к ней тотчас же после странного свидания с управителем. В передней сидела грустная Марина. Она поднялась навстречу Бальзаку, как бы собираясь что-то рассказать ему. Но тот, погруженный в свои мысли, не заметил девушки, и она отступила на свое место, в темный простенок между двумя колоннами. Она стояла там молча и неподвижно, не решаясь ступить и шага, и мысли ее были сосредоточены на том, что разговор с паном, на который она возлагала большие надежды, не вышел. А сердце подсказывало, что гость помог бы, замолвил бы слово перед управителем или сказал бы самой пани. И от одного слова сразу изменилась бы судьба деда Мусия и Василя... Марина напряженно прислушивалась к тому, что делалось за дверью. Из комнаты доносился легкий смех, потом дверь резко открылась, и Эвелина с Бальзаком прошли мимо нее. Она еще несколько ми-

нут постояла, ожидая, чтобы отзвучали шаги в конце длинного коридора, а затем побежала в людскую. Дворовые обступили горничную. Ничего не было сказано, но в глазах она читала сочувствие своему горю. Только старая повариха Мотовилиха тронула заскорузлыми пальцами желтый подбородок и безнадежно покачала седой головой:

— Он, проклятый, уж как пообещал, то слово свое сдержит.

Все в кухне знали, что речь идет об управителе Кароле, но никто не решался и подумать о нем.

— Бабуся, спросит меня дворецкий, скажи, что послала меня... — умоляюще заглянула Марина в глаза поварихе.

— Иди, дочка, иди...

Марина быстро выбежала из кухни, на секунду задержалась на крыльце. Быстрым взглядом окинула двор. Пусто. Тихо сбежала со ступенек и, прошумев юбкой, исчезла за службами в кустах.

Василь сидел в овраге за панским парком. Ждал, как условились, под вербою у ручья. Марина где-то задержалась. Может, совсем не придет. Но вот захрустели засохшие ветки, словно ожил овраг, заговорил своей речью. Марина ловила раскрытыми губами воздух и, отодвигая руками ветви кустарника, цеплявшиеся за юбку, шла к нему. Она села на камень рядом и положила голову на сложенные руки, смотрела ему в глаза и молчала. А он, словно первый раз видел ее, откинулся и, забыв обо всем, любовался ее красотой, омраченной его же горем.

А горе было близко, и он не мог избавиться от его острых уколов. И само сердце, а не губы, спросило:

— Говорила?

Она медленно покачала головой, и он ответил за нее:

— Нет, — и тоскливо прибавил: — Не нужно. Все равно для них наше горе что ветер, мелькнет и исчезнет. Не нужно. Не проси.

Марина молчала. Сколько дней промелькнуло перед нею в это мгновение. Сердце было словно колокол. Скорбь и отчаяние бились в нем неустанно и тревожно, словно звали на сполох всю природу, все чувства и силы. Он сидел перед ней, поджав ноги, вороша пальцами

опавшие листья, искал глазами что-то поверх ее головы над низеньким кустарником, а злая доля окружала, сходилась кольцом над его курчавой головой, и Марина не выдержала, протянула вперед руки, взяла ими голову любимого.

Он не сопротивлялся, подождал, а потом продолжал свое:

— И не проси. Их не умолишь. Паны глухи, Марина. Деду печенки отбил, а меня в солдаты забреет. Сказал это, и сделает. Э... — безнадежно махнул он рукой и не кончил. Тяжкое слово не шло с языка, а воображение уже рисовало страшную рекрутчину, муштру, розги, да еще, — как дед Мусий рассказывал, — за самую малую провинность — сквозь строй... Он зажмурил глаза, согнулся, словно уже на спину, на плечи, на затылок падали, впивались в тело сотни розог.

И Марину охватила тоска. Тревога за судьбу Василя угнетала, как никогда. В суровом молчании сидели они над ручьем под вербой неизвестно сколько времени. Слова, кажется, не успели проронить, а солнце уже спряталось за лесом, и день отплывал, как корабль, надувая ветрила широких туч, склоняясь к изменчивому багряному горизонту, уходя в обычный путь.

— Мне пора идти, — промолвила Марина, поднимаясь, — хватятся, а пани последнее время злая стала, бьет ни за что.

— Иди, Марина. — Он встал и шагнул к ней, обнял и поцеловал в губы так крепко, что на миг все горе и отчаяние полетело в пропасть забытья.

Марина легко и нежно оттолкнула его, а он, снова помрачнев, проговорил:

— Если бы не дед Мусий, ушел бы я. Куда глаза глядят ушел бы.

— А я? — спросила укоряюще.

— Все равно разлучат. Насмеется он над тобою, тогда повешусь либо его убью.

Последнее слово всколыхнуло, наполнило мысли неизвестной доселе злобой. Глухая сила мести поднималась в нем.

— Что ты говоришь? — испуганно отшатнулась Марина, — что?

— А так. Только так.

— Замолчи! — Закрыла ему рот ладонью, а преда-

тельская мысль вилась вокруг, настойчиво, неотступно: «Убить бы этого ненавистного управителя и»... дальше она не решалась, а Василь словно догадался:

— И графиня, чтоб знала, почем фунт лиха, — он тяжело вздохнул и взволнованно продолжал: — Было же когда-то... били прадеды, деды наши панское племя. Одна утеха, Марина, в песнях. Теперь бы нам Перебийноса либо Хмеля.

— Молчи! — Она не все поняла, но чутьем уловила манящую тревогу в его словах. — Молчи! Завтра в эту же пору приходи, я буду тут ждать. — И пошла от него по заросшей лебедой дорожке, а ветки кустов цеплялись за ее юбку, словно не хотели ее выпускать отсюда.

Василь смотрел ей вслед, и когда белый платочек Марины мелькнул в последний раз между деревьями, отвернулся и, медленно ступая, пошел к селу.

У самого яра, навстречу ветрам и невзгодам, в далекую степь, щуря подслеповатые ставни окошек, разбежались верховненские белостенные хатки. На фоне стройных тополей высилась над черными стрехами колокольня. На крайней островерхой хатке у дороги виднелось пустое гнездо аиста. Прозрачная, едва заметная струйка дыма поднималась над крышей. Василь направился к ней, занес ногу над перелазом и так застыл на мгновение, устремив взгляд на темный шатер леса за селом.

По траве к опушке взбитое ветром катилось облачко пыли. «В том лесу и полковник Перебийнос, верно, бывал». Шагнул через перелаз и вошел в хату. Деда Мусия не было ни на лавке, ни на печи. Никого не было и в чулане; куда это дед пропал? Василь вышел из хаты. Через тын поздоровался с ним сосед Мавродий, пожилой хворый мужик.

— Деда ищешь? Во дворец его с бандурою вызвали, потешать кого-то. В самый дворец, вот как...

Василь промолчал. Мавродий закашлялся, нагнувшись до самой земли, ловил пальцами воздух. Откашлялся, подошел поближе к тыну, оперся на него драными локтями, таинственно сказал:

— Говорят, пани наша во Францию едет. Не слыхал?

— Не слыхал, дядько, — нехотя отозвался Василь.

— А ты б поспрошал у Марины, ты ж...

— Будет вам, дядько, — Василь отошел от тына.

А Мавродий еще долго стоял, задумчиво глядя на соседскую хату. Уже и сумерки легли на село, небо посинело, где-то на другом конце улицы ревели коровы и лаяли собаки. Мавродий все стоял у тына в тяжелой задумчивости. Вздрогнул только, когда над панским парком оглушительно лопнули одна за другой несколько ракет, и в высокой синеве заискрились чудесным узором огненные росчерки. Треск не прекращался, и небо над панским дворцом играло и пенилось сияющими знаками, и долго верховненские крепостные наблюдали из своих дворов эту удивительную панскую потеху.

Во дворце было весело и шумно. Проездом в Бердичев к Ганской заехал князь Конецпольский с женой и сестрой, и графиня, в честь высоких гостей, устроила вечер.

Все сошлись в большой гостиной. Ярко освещенная высокими канделябрами и карсельскими лампами, она вся отливала золотом. Князь Конецпольский прохаживался об руку с Бальзаком по гостиной. Дамы — жена и сестра князя — окружили Эвелину. Она жаловалась:

— Только траур по покойному мужу удерживает меня здесь. Благодаря богу, господин Бальзак развлек меня, но и он все работает, пишет. Понимаете, с утра до утра, круглые сутки. Я едва смогла убедить его съездить в Киев, чтобы немного развлечься. — И, понимая значение своих слов, будто случайно добавила:

— Генерал-губернатор Бибиков прислал ему письмо, очень просит приехать.

Эвелина говорила правду. Днем было получено письмо от Бибикова. Вежливое и щедрое на изъявления гостеприимства, оно обрадовало не одного Бальзака. Красивая и своенравная княгиня Зося Конецпольская с большим интересом слушала Эвелину и кое в чем завидовала ей. Что и говорить, — Эвелине везло. Бальзак, правда, не обладал блестящей внешностью, но слава, имя, романтика... Княгиня от зависти даже топнула ножкой, одетой в маленькую, шитую золотом туфлю. Худая и некрасивая сестра князя сидела в кресле, выпятив плоскую грудь. Она чувствовала себя дурно в таком обществе. Ни Бальзак, ни Эва не интересовали ее. Она смотрела, не мигая, в дальнюю нишу, где стоял белый мраморный бюст Вацлава Ганского, которого она

знала лично, с которым была более чем просто знакома. Кто знает, если бы не эта красивая Ржевусская, может быть, княгиня не осталась бы старой девой.

Княгиня Зося, незаметно склонившись к Эвелине, шепотом спросила:

— Говорят, ты выходишь замуж за Бальзака?

Эвелина удивленно посмотрела на нее.

— Что ты? Мало ли что выдумывают? Нет. Нет.

Княгиня готова была поверить, но тогда... что тогда, она не успела подумать. Мсье Бальзак и муж остановились перед дамами. Они присели, и Бальзаку пришлось развлекать княжну и княгиню, пока Конецпольский не без удовольствия беседовал с Эвелиной. Разговор полился весело и непринужденно, и скоро Бальзак завладел вниманием всего общества. Красочно и страстно рассказывал он о парижских салонах, об их блеске и пышности, но, когда, незаметно для себя, заговорил о своей работе и увлекся еще больше, — первоначального внимания уже не было. Гости слушали только из вежливости. Эвелина нервно кусала губы. Бальзак поймал ее взгляд и понял. Усмехнувшись, он прервал рассказ. Эвелина дернула сонетку.

На пороге появился Жегмонт.

— Господа! — приветливая улыбка, мелькнувшая на губах Эвелины, сразу вернула всем веселое настроение, — я хочу вам сейчас показать необычайное дарование. Кстати, и вы, господин Бальзак, не слушали его. Это очень интересно! — И уже без улыбки бросила дворецкому:

— Введите его!

— Слушаю!

Жегмонт быстро вернулся в гостиную с дедом Мусием. Дед низко поклонился и зажмурил глаза от непривычно яркого освещения. В правой руке он держал бандуру, а в левой самодельную неуклюжую скрипку. Гости снисходительно улыбались. Бальзак резким движением отбросил на лоб прядь волос. Он узнал старого чумака и приветливо кивнул ему головой.

— Дидусь, — ласково сказала Эвелина, — сыграй нам сначала на скрипке, а потом на той, — она показала пальцем на бандуру.

— Слушаю, ясновельможная пани.

Дед Мусий поклонился еще раз. Жегмонт придвинул

ему стул и на цыпочках вышел. Дед положил на ковер бандуру. Минуту стоял, точно в оцепенении (широкая белая рубаха, штаны, седая борода — все это казалось какой-то сказкой). Под опущенными веками деда Мусия промелькнула бескрайная степь, бездорожье степное, серебряная и вольная журавлиная стая, густые вербы над Днепром-Славутою и сказочная Хортица, и грозные пороги, и мать-Сечь встала перед ним скалою, и кто-то вдруг опоясал деда нагайкой, обжег, повалил и топтал ногами, и было пусто и одиноко, только дождь плакал и грустил ветер, и дед Мусий не заметил, как мысли его, горькие, безутешные, уже потекли по струнам, и он, прижав скрипку подбородком к плечу, заиграл про неволю.

И сразу вокруг все исчезло, словно земля поглотила дворец, людей. Дед играл, и тосковали послушные струны скрипки, и эта несказанная тоска входила, как невыносимая боль, в сердце Бальзака, и он, забыв все условности, гостей и весь мир, прижимал руки к груди, сдерживая бешеные перебои больного, растревоженного сердца. Его глаза подернулись грустью, чело просветлело, полные губы пересохли от ничем неугасимой жажды души. Гости поникли в задумчивости. И только дед оставался на земле. У деда болел крестец, щемило сердце, шумело в голове, деда Мусия били нагайкой и топтали ногами, а степи украинские тянулись бесконечно, а ночи были глухи ко всякому горю, как паны, и далекие от горя, как паны, мерцали звезды и, холодный к горю, как паны, светил месяц, и только дождь осенний плакал, и грустил ветер, и отчаяние было неудержимо, точно река полноводная, глубоко, точно русло Днепра, вдохновенно до беспамятства. И в этой дедовой музыке было все — далекий Париж, грязная мансарда, жалкие страницы первых проб пера, истощенные лица обитателей предместья, тупая покорность верховненских крепостных, и широкие степи, и лютая спесь панов вокруг, и он среди них, немножко чужой и немножко далекий. Бальзак не удержался и заплакал. Слезы стремительно текли по щекам, теряясь в усах, и он языком вбирал их соленую горечь.

Все исчезло из его памяти, и когда дед Мусий кончил и гости зааплодировали, удивленно поглядывая на Бальзака, он, все еще во власти своих чувств, вскочил

с кресла, подбежал к деду и стал целовать в лоб и в щеки, сжимая его в объятиях. И не говоря ни слова, он, как восемнадцатилетний юноша, забыв обо всем, выбежал из гостиной, бросив общество. Но и у себя в кабинете он еще долго не мог успокоиться, хотя здравый смысл подсказывал ему всю непродуманность его поведения.

А в гостиной замешательство сменилось оживленным разговором о необычайной чувствительности Бальзака. Дед Мусий поклонился и вышел. Жегмонт разрешил ему уйти домой. Сжимая под мышкой скрипку и держа в руках бандуру, дед семенил по двору. Из темноты вынырнула перед ним фигура управителя Кароля. Дед Мусий вздрогнул и отступил в тень. Управитель прошел мимо, не подарив его даже взглядом, и вошел в людскую. Словно ветром вымело всех за двери, осталась одна бабка Мотовилиха.

— Живешь еще, колдунья? — злобно спросил управитель.

— Хвала богу, живу, пане.

Бабка низко склонила голову. Она чего-то ждала, покорно опустив сухие плечи.

— Позови сюда Марину, живо.

— Сейчас, пане. Сейчас.

Бабка исчезла. Управитель нетерпеливо постукивал нагайкой по лавке. Запах кушаний щекотал ноздри. Кароль толкнул ногой дверь и вышел на крыльцо. Темень осенней ночи прижималась к домам. Таинственно застыл вокруг парк. Шорох босых ног пробудил управляющего. Перед ним стояла Марина. Он стиснул ей локоть своими сильными пальцами и бросил в лицо:

— Придешь ночью добровольно, не забрею в солдаты твоего Василя, не придешь — пожалеешь.

Оттолкнул и сошел с крыльца. Исчез в темноте, словно дурной сон. А Марина так и осталась стоять одна, без мыслей и чувств, на ветру, среди ночи.

*

Бальзак к гостям не вышел. Жегмонту велел передать извинение, сказать, что заболел. Эвелина сначала рассердилась, но потом все вышло хорошо. Неожиданную взволнованность можно было истолковать по-своему. Да, княгиня Зося могла позавидовать ей. Князь Конецпольский долго еще говорил:

— Тяжелые времена, пани Эвелина; в Европе, несомненно, будет буря. Только писатели и артисты живут бездумно, без волнений. Игра вашего крепостного расстроила Бальзака, он может написать об этом целую поэму, но я-то понял ее по-своему.

Старый сановник, известный в придворных кругах как умный дипломат и скряга, погрозил подагрическим пальцем, погладил острую аккуратную бородку и продолжал:

— Я понимаю эту музыку как протест. Да, да. Не возражайте.

Княгиня Зося недовольно надула губки.

— Хватит! Мне надоела политика!

— Поэты и женщины одинаковы, — безнадежно махнул рукой князь, — одинаковы.

Эвелина молчала. В словах князя она уловила что-то похожее на предостережение. Гости стали прощаться.

Ночью разгулялась последняя осенняя буря. Стонал верховненский лес. Дождь беспощадно хлестал землю, бескрайные панские степи и убогие полоски крепостных. Скрипели, точно снасти корабля в шторм, стволы деревьев.

Марина, закутавшись в длинный черный платок, пробиралась из дворца. Под дождем, сгибаясь от его тяжелых ударов, медленно ступала по узенькой дорожке к флигелю управителя. Резкий ветер бил в лицо орлиным крылом, рассекал ночь и озарял осеннюю темень молниями.

И до рассвета сидел Бальзак за письменным столом, не поднимаясь с кресла, словно боясь потерять найденный источник вдохновения, и огромная жажда труда гнала его перо по белым большим листам бумаги, и это было настоящее наслаждение великого и святого творчества. В эти минуты он владел всем миром, всем человечеством и, владея им, освобождал его.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КИЕВ

Сомнения и тревоги остались далеко позади, затерялись в дорожной пыли. Его снова призывало, влекло неведомое, все жизненные невзгоды опротивели ему. Бальзак ехал в Киев.

Наконец давняя мечта осуществлялась. Вскоре предстанет перед ним древний Рим Севера, славный город на высоких кручах над Днепром; встретит его благовест множества полноголосых колоколов Лавры.

Длинная вереница подвод растянулась по тракту. Путь из Верховни в Киев лежал через Белую Церковь, Сквиру, мимо сел и хуторов. Впереди длинного поезда шесть серых в яблоках коней мчали высокую карету, в которой ехали Эвелина и Бальзак. За каретой звенел колесами по камням рыдван с прислугой, а уж позади него плелись возы, нагруженные различным скарбом, необходимым для жизни господ в Киеве, — все, начиная с одежды и кончая продовольствием, было на возах. Поезд двинулся из Верховни на рассвете. Все было подготовлено как следует, Эвелина проверила каждую мелочь, Бальзак ни во что не вмешивался. Все время сидел у себя в комнатах, работал, читал, писал письма. Эвелина предупредила: в Киеве предстоят визиты, многое зависит от поведения, от выдержки. Промолчал, хотя и тянуло ответить резкостью. Но равнодушие победило. Он мог заставить себя подчиниться. В Киев захватили деда Мусия, Марину и еще несколько девушек-горничных; всей челядью распоряжался дворецкий Жегмонт. Управитель Кароль остался в имении полновластным хозяином. Отъезд в Киев Эвелины и Бальзака даже радовал его, он, наконец, оставался один, жаль только Марину взяли. Как только Эвелина выехала из ворот, Кароль, не теряя времени, помчался в Бердичев. Свидание с банкиром Гальпериным было крайне необходимо. Через него можно было пробраться к чиновнику Киселеву. В верховненском дворце настала тишина.

Хмурое небо нависло над землею. Свинцовые тучи словно окаменели на века в вышине. Все застыло в суровом и тревожном ожидании, только лихой повеса-ветер, похваляясь своим неугомонным нравом, шугал среди кустов, сбивал набекрень стрехи на худоребрых мужицких хатках, подгонял бричку Кароля Ганского к Бердичеву, подталкивал высокую черную карету Эвелины на киевском тракте. Ветер был повсюду силен, властен и шутлив. И его исступленные метания наблюдал Бальзак в окно кареты, приподняв занавеску. Эвелина сидела рядом, закрыв глаза. Спала или грезила, — Бальзак не знал.

Встречные подводы издалека замечали поезд. Возы сворачивали с дороги на обочину. Крестьяне придерживали своих спокойных кляч, низко кланялись, снимая шапки и картузы. Простоволосые, на холодном ветру, долго смотрели вслед кортежу, по коням и карете узнавали верховненскую графиню. Бальзак с интересом всматривался в лица мужчин и женщин на возах. Зоркий глаз улавливал тревогу на лицах, низко склоненные головы, нескладные возы, истощенных лошадей. А карета мягко и приятно покачивалась.

Плечо Эвелины было неподвижное, мраморное. Он опустил занавеску и откинулся на подушки. Тронул пальцами карман на груди. В нем было письмо от генерал-губернатора Бибикова. Там же лежало несколько десятков мелко исписанных листков почтовой бумаги — впечатления и заметки о Верховне. Все это всегда хранилось на груди, ощущалось как сердечные перебои и предназначалось только для него одного.

Письмо от Бибикова было приятное и утешительное. Фактический вице-король трех крупнейших провинций — Киевской, Подольской и Волынской губерний, составляющих вместе территорию, равную большому государству, отнесся к нему, как к равному. Он даже подписался вежливо и непринужденно: «Ваш покорный слуга Дмитрий Бибиков». В этом можно было усмотреть великодушие, либо... Бальзак махнул рукой. Все равно. К черту все «либо». Он улыбнулся. Открыто, весело, во весь рот. Вспомнил, что писал генерал-губернатор:

«Свидетельствуя вам мое особое удовлетворение при мысли, что вы живете в наших краях, я прошу Вас, многоуважаемый г-н Бальзак, в случае надобности, обращаться непосредственно ко мне и пользоваться моими услугами для малейших поручений, которые я выполню с величайшим удовольствием».

Эти слова запомнились сразу после первого прочтения. Да и как можно было их не запомнить? Когда и где еще писали ему так губернаторы? Когда? Никогда! Он мог вспомнить другое — гордость и презрение к нему даже в тех дворянских салонах, чьи властительницы дарили ему не только внимание и гостеприимство...

На его родине знатные дворяне, блюстители благородных чувств и высокой морали, гнушались им, презирали и обходили его. Стоило вспомнить хотя бы вечер

у графини Висконти. В салоне собрались сливки общества. Здесь была герцогиня Оранская, граф Лионель де Бонневаль и другие знаменитости, дворяне и буржуа, знатоки литературы и меценаты искусства. Ожидая, когда лакеи приготовят столы для игры в ландскнехт, гости живо обменивались мнениями о всевозможных новостях. Бальзак стоял в стороне и слушал. Внезапно он вмешался в разговор. Встряхивая гривой волос, размахивая руками, он вдруг почему-то стал посвящать присутствующих в тайны своего труда. Он говорил о «Человеческой комедии».

— Мое произведение охватит все классы французского общества XIX века. Если через две тысячи лет захотят изучать Францию времен Империи, Реставрации и июльского режима, то археологам и другим ученым достаточно будет заглянуть в мои книги...

И вот после этих слов граф Бонневаль оборвал его. Не скрывая своего презрения, он назвал его только оценщиком. Он доказывал, что Бальзак не знает высшего общества и никогда не приобщится к его высокой морали, к его чувствам.

— Вы сосчитаете все гвозди на дверях папаши Гранде, — спокойно говорил граф, и присутствующие подбадривали его своими взглядами, — и весь мушиный помет на барометрах, но что касается светских обычаев и нашего благородного языка, это уже другое дело. Это вам не удастся никогда, господин литератор.

Бальзак посмотрел с надеждой в глаза графини Висконти. Но от них веяло неприятным холодком. Он сразу почувствовал свое одиночество и не стал возражать. Но надутый граф через несколько лет вошел в книгу «Утраченные иллюзии», как образ самоуверенного и циничного представителя высшего света.

Графиня Висконти не поддержала Бальзака в трудную минуту, не из одной только осторожности. Во взгляде ее он прочитал глухую враждебность своим идеалам. А Эвелина? Как она? Если бы не дремота, овладевшая ею, он бы в эту минуту спросил. Он должен был узнать это тотчас же. Ощущение несвоевременности подобного вопроса успокоило.

— Не время, — произнес он громко. Эвелина едва шевельнула губами. Но веки не поднялись, и Бальзак

снова приподнял штору, устремив глаза на далекие очертания леса на горизонте.

Письмо генерал-губернатора кое-что значило. И Бальзак не мог не думать о нем. И пока он озирал через небольшое окно кареты горизонт, мысли его блуждали в прошлом, он перекидывал их, как мосты через бурливые реки жизни в будущее, взвешивал и отбрасывал; и снова, как всегда на перепутье, любовь, деньги, слава, работа перемешивались в круговороте чувств.

Киев был далеко, невиданный и неведомый, но желанный, и о Киеве думала Эвелина, сидя рядом с Бальзаком, закрыв глаза, и город привлекал ее по-иному и другим представлялся ей; белели перед глазами в сиянии огней стройные колонны дворянского собрания, раздавались чарующие звуки мазурки, и, двумя пальцами подобрав платье, отражая драгоценными камнями и золотом сияние люстр, идет она в паре с известным танцором, ловит улыбки, взгляды, одобрительные или полные ненависти, но не равнодушные. Бальзак будет с нею в Киеве. Она встанет перед его глазами во весь рост, во всем величии своей красоты, больше не будет тайных рукопожатий, не будет опасений, что их близость раскроют... и сразу все пойдет иначе. Но как именно иначе, не знала и догадаться не могла. Подумала о делах и сразу же вспомнила Кароля. Краснощекое, неприятное лицо управителя маячило перед нею, и освободиться от этого отвратительного видения было нелегко.

А Кароль в это время был уже в Бердичеве и сидел в кабинете Гальперина, развалясь в кресле, и не спеша рассказывал молчаливому банкиру о цели своего приезда.

В рыдване, ехавшем позади кареты, в углу на сундуках сидела Марина. Туго повязав черным платком голову, она бездумно смотрела прямо перед собой. Две другие горничные оживленно разговаривали, вспоминая предыдущую поездку в Киев и радуясь случаю снова побывать на Подольской ярмарке, повидать ловких чародеев и фокусников, вдосталь подивиться на то, как они глотают огонь, едят жаб, беседуют с обезьянами, этими страшными существами, столь похожими на людей. Станислав Жегмонт сидел рядом с кучером. Прислушивался к говорливым горничным. Он думал о Киеве

иначе, привычнее, зная его уже более сорока лет. А Марина словно не слыхала болтовни девушек. Ее сердце было занято другим.

...Итак, это был Киев. Прославленный северный Рим открылся ему. Бальзак ходил по его улицам, осматривал стройные чудесные дома. Рядом с ними, как свидетели старины, жались приземистые убогие халупы. Высокие пышные порталы дворцов веселили глаз. Длинные шеренги тополей, ветвистых каштанов выстроились вдоль улиц. Над самым Днепром, на кручах, в обнаженных осенью садах белели барские дома. Царский сад поразил своей величиной, многолетними деревьями, фонтанами. Во всем еще чувствовалась торопливость, незавершенность, но три района города имели уже совершенно европейский вид. На Печерске рушили старые домишки, велись приготовления к строительству крепости, перед Софийским собором очищали и ровняли площадь, здесь должны были строиться здания присутственных мест; через урочища и овраги прокладывались новые улицы. На Днепре сооружали цепной мост по проекту архитектора Шарля де Виноля. На Подоле, у Днепра, высилось внушительное здание контрактовых ярмарок, и оно особенно понравилось Бальзаку. Здесь, у дома контрактов, у пристани и внизу на Крещатике клокотала подлинная жизнь. В шумной, неспокойной толпе маячили высокие белоснежные чалмы индусских купцов, турецкие красные фески, шляпы голландцев, немецкие фуражки, польские конфедератки, русские поддевки, еврейские лапсердаки; все это многолюдное и многоязыкое море кипело, перекатывалось, ссорилось и радовалось, и среди всего этого Бальзак почувствовал себя хорошо, его привлекала атмосфера деловых отношений.

Эвелина была занята гардеробом Ганны, их повсюду сопровождал граф Мнишек, приехавший в Киев на день раньше. Бальзаку настойчиво советовали посетить Софию, насладиться ее византийской красой, полюбоваться рококо Андреевской церкви, творениями знаменитого Растрелли, как следует присмотреться к чудесным фрескам и мозаике Софийского собора, изучить старинную лаврскую иконопись. Вместе с Эвелиной он объехал все эти достопримечательности. С холодным интересом,

удивившим графиню, он ходил за нею следом и не восторгался. Если бы не заботы, обременявшие ее, Эвелина спорила бы и укоряла. Но хлопот оказалось много.

Бибикова в Киеве не было. Фундуклей лежал больной. Планы, так хорошо обдуманные в Верховне, рушились. Это, конечно, не могло не волновать Бальзака. Но, как и всегда, он утешался мыслью, что все к лучшему.

Первым его киевским знакомым был Юзефович. Помощник ректора Киевского университета водил Бальзака по городу ежедневно. Ездил с ним к Днепру, показывал пароходы и баржи, знакомил с бывалыми людьми, знавшими несчетное множество преданий старины.

Подолгу сидели на лавочке в Царском саду. Напротив по улице прохаживался квартальный, всякий раз козыряя экипажам, неторопливо катившимся по мостовой. Юзефович, разглаживая вьющиеся бакенбарды, заглядывал Бальзаку в глаза, трогал беспокойными руками борта сюртука, брал в руки палку. Долго рассматривал и захлебывался от удивления.

— Господин Бальзак, неужели это та знаменитая палка? Та, о которой столько писали?

Бальзак подтверждал. Но тот будто и не верил. Выводя палкой на песке запутанные фигуры, Юзефович уверял:

— Ваш приезд в Киев войдет в историю края, ведь подумайте, до вас здесь бывала ваша чудесная соотечественница актриса Жорж, здесь были Гектор Берлиоз, Лист, мы, киевляне, гордимся этим!

Юзефович вздохнул. Бальзак смотрел на него невидящими глазами; он не слушал. Было чуть холодновато сидеть неподвижно на лавке, но идти никуда не хотелось. Приятно было, что помощник ректора болтлив и ни о чем не спрашивает. Он, вероятно, считал своей обязанностью рассказывать обо всем и, задавая вопросы, сам отвечал на них. Это был не навязчивый собеседник.

Бальзак думал об Эвелине. Еще накануне отъезда из Верховни она говорила о свадьбе. Теперь об этом и речи не было, а он не настаивал. То же утешение — все к лучшему, — и он успокоился.

На широкой улице в двухэтажном доме, где всегда останавливалась, приезжая в Киев, Ганская, ему отвели две комнаты. Окна выходили на улицу. Он мог наблюдать жизнь сколько угодно. Но улица была пуста

почти целый день. И ежедневно ровно в час к дому подъезжал в фаэтоне Юзефович. Это было единственное развлечение среди киевских будней, несколько надоедное, но единственное.

Здесь в северном Риме окончательно оформился замысел «Писем из Киева». Они были задуманы как записки путешественника. Такая книга могла иметь успех. Он представлял себе, как ее будут читать. Но нерешенным оставалось направление работы. Не совсем кстати вспоминался маркиз Кюстин.

Впрочем, в одну из ночей он набросал десяток страниц. На рассвете он прочел вслух написанное ночью. Что-то похожее на лицемерие пробивалось сквозь изысканность фраз. Ему захотелось разорвать эти странички, но он сдержался, и это стоило значительных усилий. Словно перебираясь через пропасть, осторожно отошел от бюро, бросив листы рукописи в ящик стола. Заходил по комнате несколько неровными шагами, грызя кончики усов, ломая за спиной пальцы. Остановился перед бюро, одним движением выдвинул ящик, достал исписанные листы. Перечитал снова. Тяжелой рукой, мясистыми пальцами придавил рукопись к бюро. Кюстин, его приятель, — да, пожалуй, приятель, а не друг, — долго потешался бы над ним, прочтя эти странички. Он ведь пророчил: «Лев станет ягненком в северных степях».

Бальзак хмуро посмотрел в зеркало на стене.

— Лев станет ягненком, — произнес он громко, хрипловатым голосом, повысив его на последнем слове, как всегда, когда волновался.

— Нет! Лев есть лев!

Он бросил это тому, другому Бальзаку, что смотрел на него из зеркала растерянными глазами, из-под изборожденного морщинами лба; он не узнавал себя.

И вдруг за спиною того, другого, выросла фигура Эвелины. Она, словно обороняясь, протянула руку, и он опомнился. Он выдавил на лице улыбку, и тот, другой, в зеркале тоже улыбнулся, и он увидел, что улыбка искусственна и лжива. Сдерживаться было уже незачем. Он повернулся на каблуках и встретился глазами с Эвелиной. Она плотно притворила за собой дверь и медленно опустилась на диван.

— Вы взволнованы, Онорэ?

Голос ее был холоден, насмешлив. Это можно было принять за издевательство.

— Нет, я бесконечно рад! — зло ответил он, неподвижно стоя перед Эвелиной, скрестив на груди руки. — Я смеюсь от удовольствия. Что это значит, Эва? К чему эта игра?

— Успокойтесь!

Ей хотелось притушить огонь. У нее были другие намерения, к чему этот взволнованный разговор? В голове немного шумело. Вчера она слишком поздно легла. Ах, этот молодой Радзивилл, как он очарователен! Она вспомнила вечер, огни, вино в высоких бокалах. Он склонил перед нею колени в беседке... Она шевельнула пересохшими губами; эти поцелуи не скоро забудутся.

А голос обиды нарастал, лился гневными словами. Бальзак не мог больше молчать.

— Довольно! — Бальзак кричал, это было невежливо, он это понимал, но слова шли от самого сердца.

К чему эта детская игра, эти жмурки? (Ведь иначе нельзя назвать их отношения!) Он хочет знать окончательно, будет ли она его женой перед богом и людьми; ему надоели тайные свидания, вздохи в уголках, поцелуи украдкой. Зачем это? В Невшателе много лет тому назад она обещала, что выйдет за него замуж, как только освободится от супружеских уз. Где же ее слово? Почему она его не держит? Может быть... может быть, она не любит его?

Произнеся последние слова, он испуганно замолк. Он вдруг почувствовал: «Да, не любит, именно так», — и всю страстность протеста точно ветром развеяло.

Он стоял перед Эвелиной разбитый и растерянный, беспомощно перебирал губами и с надеждой, почти умоляюще заглядывал ей в глаза, как нищий выпрашивал возражения на свои последние слова.

Эвелина не торопилась с ответом. Она ревниво хранила покой и молчание. Равнодушным движением пальцев она поправила на коленях тяжелые складки бархатного платья, смотрела Бальзаку прямо в глаза, искала в них чего-то, и глаза его тоже искали тех огоньков, коричневых, острых, жадных, что загорались так недавно, — оба искали и не находили, и поединок глаз кончился ничем, и он обессиленно опустился на диван рядом с нею и увидел напротив за окном высокий тополь,

на нем кое-где еще трепетали листья, желтые, испуганные, непрочные. Он увидел сквозь ветви еще что-то далекое и влекущее, но утраченное; это была любовь и цель, и он понял, что вопрос прозвучал в его устах, если не тщетно, то слишком смело. И он взял в свою широкую руку узкую, осыпанную брильянтами, руку Эвелины и виновато поднес ее к своим губам, и долго держал так, закрыв глаза, не находя в себе сил вымолвить хоть слово. И тогда Эвелина почувствовала, что победа за ней. Она освободила свою руку и отодвинулась от него.

Конечно, ей тоже неприятно, чтобы дальше длились такие отношения. Кроме собственных чувств, есть еще и внешние причины, — молва обошла весь город, над нею даже смеются, издеваются, а она, что она...

Эвелина даже взволновалась. Поднялась с дивана, отошла к окну, стала спиной к свету, руками оперлась о подоконник и слегка откинулась назад. Она знала, что, стоя так, скрывает предательские морщинки на щеках и в уголках рта, темные подковы под глазами.

— Вы думаете, мне легко? Вы бездушный человек, эгоист. Вы заботитесь только о себе. Но, посудите, выйти замуж без высочайшего соизволения, утратить право наследования... У меня дочь, я должна подумать о ней, у меня своя жизнь, я не восемнадцатилетняя ветреница, а обстоятельства складываются так...

— Что? Снова надо отложить?

Бальзак перебил ее жестко, безнадежно махнул рукой.

— Вы невоспитанны, Онорэ!

Эвелина не сдержалась, гневно тряхнула величественной головой.

— Я слушала вас внимательно и не перебивала. Выслушайте меня.

Но он не хотел слышать эти слова, холодные, как льдинки. Он не хотел. Он в этот миг забыл об основной цели своего пребывания в Верховне, глаза его случайно натолкнулись на исписанные листы бумаги, и он подбежал к бюро, схватил цепкими пальцами странички рукописи, смял в руке, тяжело дыша, подошел к Эвелине и, размахивая руками, почти закричал:

— Ради любви, ради вас, Эва, я впервые предал самого себя, я до неба превознес в этих листках вашего

высочайшего покровителя, я возвеличил подлость и тиранию, я преступник и негодяй...

Он больше ничего не мог сказать, слова застряли у него в горле, и он бросил ей под ноги смятые листы рукописи. Эвелина, как бы останавливая и предостерегая его, протянула вперед руку, но он уже не видел ее руки и не слышал ее жестких слов:

— О, теперь я вижу, что вас не следовало пускать в Россию!

Бальзак отступил на шаг, пятясь от глухой и тяжелой стены, легшей ему на грудь. Он попытался оттолкнуть от себя эту стену и не смог и упал навзничь, широко раскинув руки, ничего уже не слыша и не видя.

Сознание вернулось к нему на рассвете. Неясно мерцал ночник. Он казался далекой звездой. Звезды — это души умерших, — почему-то вспомнил Бальзак. Он забыл, где он, и думал, что это Париж. Что с ним произошло? Повернул голову, увидал на столике у постели скляночки. Горький запах лекарств щекотал ноздри.

На открытой груди у сердца лежал компресс. Он осторожно снял его, подержал в руке влажное, почти высушенное теплом его тела полотенце и опустил на пол. Постепенно вспоминалось то, что швырнуло его в пропасть забытья. Посмотрел себе на ноги и увидел: там, опершись локтями о спинку кровати, кутаясь в пеньюар, стояла Эвелина. Он закрыл глаза и, немножко погодя, снова открыл. Он не ошибся. Тогда, чтобы окончательно убедиться, что он не бредит, позвал ее, не узнавая своего голоса, и — это был не призрак, — она ласково улыбнулась и подошла. Села на постель, нежной рукой провела по лбу, откинула прядь волос, задержав ладонь на лбу. Кольца приятно холодили. Эвелина смотрела куда-то в угол.

— Прости меня, Эва!

Рука на лбу задрожала. Эвелина убрала руку, склонилась над ним. Едва заметно улыбнулась. Он узнал эту улыбку; так она улыбалась ему в Невшателе, когда, побежденная любовью, отбросила сдержанность и осторожность. Но глаза были не те, он уловил это сразу, и по глазам он почти угадал ее мысли, а она, словно понимая это, поспешно подняла голову, и он увидел ее

шею, короткую и слишком полную, шею женщины, на которую уже мощно и властно наступают годы.

— Теперь засните, Онорэ! А я пойду. — Где-то в глубине души ей хотелось, чтобы он задержал ее, чтобы попросил ее остаться; все же она была одинока, и годы делали свое дело, и надо было думать о будущем серьезно, и сейчас можно было бы договориться — весь дом спал, и это был подходящий момент. Можно было бы столковаться. Все же разрыв был бессмыслен и ненужен.

Но Бальзак ничего не сказал. Он молчал, и она, тяжело вздохнув, вышла из спальни. Прошла через несколько комнат, мысленно все еще находясь там, у постели Онорэ; и долго еще мысли ее были подле него. И долго, ища на холодной просторной постели забытья, она ловила себя на том, что резкий разговор, происшедший вчера, излишен был для них обоих. Они были слишком откровенны.

Бальзак не спал до рассвета. Поднялся с постели, как только первые блики света появились за окном. Пришла Марина, присланная графиней, прибрала лекарства, спросила, принести ли завтрак сюда. Медленно, подыскивая в памяти нужные слова, Бальзак отвечал горничной. Марина стояла перед ним, вся подобравшись, чуть сутулясь. Смуглое лицо ее было грустно. Наконец, он сказал, что выйдет завтракать в столовую. Но девушка все стояла и не уходила из комнаты. Тогда ему показалось, что она не поняла его, и он повторил, что выйдет. Девушка все не уходила. Смотрела на него, на двери оглядывалась и, наконец, отважившись, упала перед ним на колени и протянула руки.

— Пане, родненький, добрый пане, смилуйтесь, заступитесь, замолвите слово за Василя, чумака молодого, в солдаты его пан Кароль забрить хочет, скажите хоть слово.

И Марина обхватила руками его ноги и снова и снова повторяла ему свою просьбу, и в глазах ее, глубоких и чудесных, светилась надежда.

Он плохо понимал ее, и ему стало невыносимо тяжело, что девушка стояла перед ним на коленях и целовала его ноги. Тронутый и взволнованный, он наклонился, взял Марину за локти и стал поднимать с пола, и она, почувствовав ласку, подчинилась ему. И когда

она почти выпрямилась, а он еще не успел отступить, выпустить ее из рук, дверь в спальню открылась, и на пороге появилась Эвелина.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЯРМАРКА

Бубен захлебывался. Не то печально, не то почти безнадежно тосковала флейта. Скрипки только откликались, тихо, тонко, проникновенно. И все это вместе создавало неровную, но трогательную мелодию. Женщины, мужчины, парни и девушки застыли полукругом, и слушали, и смотрели. Холодом веяло с Днепра. В лужах под ногами рябило воду. Из раскрытых ртов, застывших на миг, готовых засмеяться либо изобразить удивление, валил пар. Медноликое солнце играло на стеклах фургона. Над фургоном пламенел на ветру красный флажок. На потертом ковре перед входом стоял полуобнаженный человек. Ветер надувал широкие шелковые шаровары. Человек держал в руках два десятка ножей, длинных и острых, с серебряной инкрустацией на черенках. Из-под насупленных бровей он вглядывался в толпу, точно изучая ее желания и проникаясь ими. Горбун в черной длинной до самой земли пелерине снял высокий цилиндр и поклонился в пояс на три стороны. Писклявым, неприятным голосом объявил:

— Милостивые государи и государыни, знаменитый маг и чародей Кваранционо Антонио, имя которого известно в Старом и Новом Свете, покажет вам свое высокое искусство, и удивлению вашему не будет границ. — Горбун отошел в сторону и надел цилиндр. Человек на ковре улыбнулся, показав толпе ровные, ослепительно белые зубы.

Бубен заторопился, и флейта со скрипкой отстали. Бальзака больше интересовали они, чем человек на ковре. Бабы ахали, мужики причмокивали и одобрительно кивали головами, дети радостно хлопали в ладоши. Бубен заговорил скороговоркой. До пояса утыканный ножами маг и чародей ходил по ковру, три шага направо, три — налево, и улыбался. Бальзак еле выбрался из

толпы. Остановился на мгновение, чтобы застегнуть пальто. Пальцы тщетно искали пуговицы. Подбежал Юзефович, стоявший поодаль.

— Мсье, говорил же я вам, — не стоило мучить себя...

— Что вы, что вы, это чудесное зрелище, не столько этот маг, сколько люди. Боже мой, какими глазами глядят они на него! Вы бы посмотрели.

— Пойдемте дальше, — предложил Юзефович, которому вовсе не по душе была эта странная прихоть гостя. Но, что будешь делать — захотелось господину литератору побывать на ярмарке. И они пошли дальше, прокладывая себе дорогу локтями и плечами, погружаясь в многоязыкое, суетливое море людей. Шли вдоль длинного ряда возов; на поднятых вверх оглоблях, точно цветы на стеблях, красовались венки золотистого лука, горшки, макитры. Гоготанье гусей, кряканье уток, разноголосица криков, смуглые лица цыган и цыганок... И не было перед ними ни путей, ни троп. Перешагивали через тела людей, через кучи горшков и кувшинов, выносили на спине лихую ругань баб, протискивались сквозь толпу. Молодая красивая цыганка схватила Бальзака за руку. Тащила к себе.

— Господин хороший, господин милостивый, дай погадаю, дай утешу, добрый господин.

Бальзак упирался, смеясь. Цыганка смело тянула руку к себе. Юзефович накричал на нее.

— Пошла вон, чего пристала!..

Но цыганка не успокаивалась. Бальзак громко засмеялся. Кивнул в знак согласия головой. Юзефович пожал плечами. Что за фантазия у этого литератора! Вокруг начали собираться любопытные. Цыганка завладела французом. Сжала своими черными руками белоснежную ладонь Бальзака. Заглянула в глаза своими черными блестящими глазами. Губы дрогнули. Он не выдержал проницательного взгляда и опустил глаза. Видел высокую грудь, смуглую, словно из темного мрамора шею, и на ней несколько рядов монист и дукатов. Что-то кольнуло в сердце. Юзефович удивленно наблюдал. И Бальзак забыл о Киеве, о ярмарке, о своем спутнике, угодливом и надоедном, о любопытных, что толкались вокруг, он снова поднял глаза и снова встретился с горячим, проникновенным взором цыганки, а она все глубже и глубже заглядывала в душу, сжимая сильными

пальцами его пухлую ладонь. Это длилось мгновение, но ему этот поединок глаз показался вечностью, и когда черноокая гадалка перевела свой взгляд на его руку, он все еще стоял зачарованный ее тревожными и дивными глазами. А она теперь всматривалась в ладонь, что-то бормоча на своем степном картавом наречии. Грязным ногтем водила по узору морщин на ладони. Печально подняла голову, смотрела куда-то в сторону, поверх его плеч, точно искала кого-то там, в людском море, искала и не находила.

— Что же ты молчишь, соврать нечего, — раздраженно заметил Юзефович.

Цыганка словно очнулась от презрительного окрика. Скользнула по его лицу взглядом, еще раз впилась им в глаза француза, осторожно и медленно, как будто боясь выпустить, она все выше и выше поднимала в своих руках его ладонь, всматривалась внимательнее в путаницу линий на ней и вдруг в каком-то неудержимом порыве припала к ней долгим горячим поцелуем. Выпустила руку и молниеносно исчезла в толпе, оставив остолбенелого от изумления Юзефовича и растерянного Бальзака. По толпе прокатился веселый хохот. А цыганка была уже далеко, и Бальзак тщетно искал ее в толпе встревоженным взглядом. Юзефович украдкой посмеивался. Пробираясь сквозь шумящую толпу, Бальзак все время находился под впечатлением поступка красавицы цыганки. Он, по правде сказать, не был склонен придавать серьезное значение этому эпизоду, но экспансивность девушки, взволнованные тревожные глаза, прикосновение горячих губ к ладони (он и теперь еще чувствовал этот крепкий поцелуй) — все это не могло быть воспринято только как незначительное и смешное приключение.

Ярмарка гудела, как разворошенная огромная пасека. Солнце склонялось к горизонту, но никто и не думал покидать площадь. Наоборот, с разных концов прибывали люди. Шли пешком, ведя на поводу коней, тянули на веревках коров, несли в мешках визгливых поросят. Все двигалось беспорядочно и неукротимо. Словно лошади, волы, возы, — все покорялось какому-то одному общему хозяину, и люди двигались в разные стороны, охваченные одним порывом, в ожидании чего-то непременно хорошего. И повсюду толкались, шныряли, суетились барышники, перекупщики, купцы, лотошники, одни украдкой, ти-

хим словом заманивая в свои сети, другие — во весь голос зазывая к себе, выхваляя свой товар и себя самих. И, неведомо из каких земель прибывшие, среди лошадей и волов блуждали ослики, покачивали горбами печальные верблюды; белели среди картузов и высоких смушковых шапок белоснежные чалмы и красные фески.

Да, здесь, в этом море звуков, среди суеты и беспорядка, он находил равновесие и покой. Он с жадностью впивался глазами в этот неутомимый людской поток, выбрасывавший на сушу свои нужды, свое добро и свои желания. Это была купля и продажа. И такие же зрелища он наблюдал на лионских рынках, на окраинах Милана, в Гамбурге, в Дрездене, на Корсике, но здесь, он мог поклясться в этом, здесь все было красочнее и привлекательнее. Так бродил он, стараясь запечатлеть в своей памяти все яркое и значительное. Его глаза привлекали мужчины и женщины с бронзовыми лицами, загоревшие на сильном, резком, степном ветру, степенные и рассудительные в своих поступках и движениях; он как будто угадывал в них терпкую и непоколебимую силу, настоенную на соках плодородной земли, он забывал обо всем, когда парни и девушки заливались веселым смехом, плясали, взбивая над возами тучи пыли. Однако цыганку он не мог забыть. Куда девалась она, гибкая, черноглазая? Прихотливая мысль всколыхнула его: уйти бы с нею в степь, где-нибудь на раздолье, в шатре, у костра, сидеть плечом к плечу, слушать ее песни, целовать ее губы, пить из них тревогу обманчивых и желанных ночей. И вспомнилась ночь, прошедшая, как дурная греза, одиночество, тоска. Он увидел перед собой замкнутое, холодное лицо Эвелины и очнулся. Юзефович был озабочен. Что это случилось с мэтром Бальзаком? Пусть мсье Бальзак не сердится, но он, как истинный и горячий поклонник его таланта, позволяет себе величать его так, как ученики обращаются к нему в Париже. Неужели эта странная цыганка так подействовала? О, да он, оказывается, очень впечатлительный человек. Впрочем, литератор должен быть таким. Он вспоминает своих знакомых литераторов; действительно, стоит подумать хотя бы о Пушкине или о... Шевченке. Напрасно он назвал последнего. Но поздно. Слово сорвалось с языка, его не вернешь.

Хорошо, что Бальзак озабочен, он, может быть, не услышал. Зачем рассказывать ему о Шевченке? Это ни к

чему, и не нужно самому Юзефовичу. А вспомнилось ему: весною, не так давно, провели по улицам гордого и прямого мужика-поэта, он шагал смело и решительно и смотрел вперед, точно пронзая своими острыми глазами людей, стены, точно видя где-то вдали осуществление своих надежд. Этого не надо вспоминать. Зачем? Господин Бальзак не должен знать о Шевченке, такова воля генерал-губернатора Бибикова. Юзефович осторожно просовывает свою руку под локоть Бальзака, он хотел предложить окончить прогулку, пора и отдохнуть, они видели уже почти всю ярмарку. Бальзак тоже замедляет шаг, он угадывает намерения своего спутника. Пора домой. Но вдруг внимание француза привлекает толпа крестьян у низенького зеленого ларя. Должно быть, здесь торгуют чем-то тайным и запрещенным — не видно привычной ярмарочной суеты и толкотни, мужики стоят плотно плечом к плечу, искоса, с откровенной неприязнью поглядывая на него и Юзефовича. Последний тоже заинтересованно поглядывает на толпу. Подойдя поближе, Бальзак и Юзефович услышали жалобные звуки кобзы, а у самого ларя на земле увидали седого старика. Он сидел, скрестив ноги, опираясь спиной на стенку ларя, без шапки, с длинной седой бородой, и перебирал правой рукой струны кобзы, уставясь бельмами глаз в пространство. Рядом, на земле, сидел мальчик и держал в руке суму. Бальзак подвинулся ближе. Мужики неохотно расступились. Однако дали дорогу. Кто-то из толпы бросил:

— И чего тут паны не видали? — Но под многозначительными взглядами соседей умолк.

Кобзарь сидел спокойный и суровый. Хоть был он у ног людей, но по тому, как он держал себя и как поднял голову, по тому, как морщил лоб, высокий и загорелый, по тому, как его слепые глаза неподвижно уставились в одно место, видно было, что он здесь самый мудрый и знает намного больше всех присутствующих. А мальчик подле него тоскливо всхлипывал — ему надоело так вот шататься со слепым дедом по ярмаркам, и его пугали эти люди, тоскующие от дедовых песен, и он был голоден и вши не давали покоя, но был у мальчугана один дед, и водил он старичка по свету уже давно, а кроме деда, не было у него никого, и потому он сидел возле деда и слушал его, и смотрел испуганными глазами на людей... Бальзак упорно продвигался вперед. Через несколько се-

кунд он подошел совсем близко к кобзарю. С любопытством присматривался к людям, к их суровым лицам. Были и такие, что подходили, ловили на ходу слова кобзаря, доставали из кармана деньги, кидали в жестяную мисочку и проходили, ни разу не обернувшись. Подходили женщины, мужчины, задержался на миг какой-то монах, заплывшими глазками шнырял по толпе, хотел протиснуться поближе, но ему давали дорогу неохотно. Он вздохнул набожно, посмотрел с любопытством на Бальзака и Юзефовича, перекрестился и прошел дальше. А Бальзак онемел, он, как очарованный, стоял на одном месте. Не мог ни пошевельнуться, ни слова вымолвить. Что с ним сталось? Сразу сообразить было трудно. Словно бурей выкорчевало из мыслей все заботы. Бальзак смотрел на кобзаря, на толпу, на тех, кто проходил мимо него, бросая медяки в мисочку, чувствовал в их суровом молчании какое-то странное и значительное предостережение, точно люди таили в себе предгрозье, и невольно проникался тем же чувством. Он неожиданно поймал себя на мысли, что суровые, замкнутые лица людей, одетых в изодранные свитки, в дырявые лапти, напомнили ему толпы бедняков из парижских предместий, крестьян далекой Корсики; что-то общее было между ними, но он впервые, и это поразило больше всего, видел такое внимание к песне, такое немое и всемогущее почитание ее (и в этом чувстве он почерпнул столько гордости, как будто грозовая молния коснулась души Бальзака).

В толпе был и дед Мусий. Бродил по ярмарке, да и наткнулся на старого кобзаря. Дед Мусий узнал пана Бальзака. Отошел немного в сторону, чтобы тот его не узнал. С интересом следил за Бальзаком. Если бы француз был один, дед, может быть, отважился бы подойти, но рядом с ним стоял какой-то сердитый и высокомерный на вид пан. Кобзарь слышит приглушенный разговор в толпе; кто-то новый пришел; услышал слово «пан», да что ему до панов, они у него глаза отняли, крова лишили, дочку, душегубы, замучили, пустили с внуком по миру на все четыре ветра, чтоб им подавиться своим богатством, тем панам! И кобзарь бросает в толпу крестьян свой призыв, кричит на весь мир громко и смело, делится с людьми своим словесным кладом, словно заверяет их, что он их единственный в мире благодетель.

Бальзак не понимает того, что речитативом выкликает старый дед, он отгадывает содержание песни по глазам мужиков, читает на их лицах. Его спутник несколько растерян. Лучше уйти отсюда. Присутствие в этой толпе рискованно. Тем более неприятно, что кобзарь поет стихи того же самого Шевченка. Какое глупое совпадение; только что вспоминал этого крамольника, — и вот, на тебе, радуйся, посеянные им плевелы дают плоды!

Юзефович не понимает, чем заинтересован Бальзак. Языка он не знает, однако слушает внимательно, как будто боится пропустить хоть слово. А может, он только притворяется, что не знает языка? На это надо обратить внимание. Бес искушает Юзефовича. Ему трудно удержаться от желания рассказать Бальзаку, кто автор песни, которую так мудро поет кобзарь. Почтенному помощнику ректора немного грустно. Как все-таки несправедлива жизнь! Кому мешало бы, если бы этот бывший крепостной, Шевченко, писал только спокойные и мирные стихи, и такие стихи пел бы этот дед; тогда можно было бы сказать об этом Бальзаку. Назойлив бес-искуситель, — он-таки дернул Юзефовича за кончик языка. И помощник ректора, пренебрегший осторожностью, зашептал на ухо Бальзаку об авторе песни. Осторожность, впрочем, победила, и он, кроме фамилии и второстепенных деталей, не сказал ничего значительного, и был бесконечно доволен, что Бальзак не проявил особого интереса к тому, что услышал.

Бальзак постоял еще немного в толпе и внезапно вздрогнул, точно осененный неожиданной мыслью, стал шарить по карманам и, ничего не найдя в них, кряхтя и оттопыривая губы, снял с пальца золотое кольцо с дорогим камнем в оправе и, наклонясь, опустил в миску. Мужики переглянулись и удивленными глазами проводили его, когда он, уходя, пробирался сквозь толпу.

Бальзак неторопливо шагал в обществе притихшего Юзефовича, постукивал палочкой, жевал кончики усов. Их догоняли, бились в уши, точно крыльями, слова кобзаря. Дед Мусий посмотрел вслед панам, ближе придвинулся к кобзарю. Тот уже кончил песню. Сидел спокойно, молчаливо и неподвижно. Подходили люди, бросали в жестянку медяки, клали в торбу мальчику краюшки хлеба, какая-то молодица поставила кринку молока. Кобзарь хоть и не видал, но угадывал каждое движение, истово благодарил.

Толпа таяла, и вскоре возле кобзаря никого не осталось, только дед Мусий подошел ближе и поздоровался. А люди ушли, неся в сердце терпкие слова песни, заглушая в груди неисходную боль, готовые снова встречать страдания и муки, лелея чудесную и влекущую, навеянную словами кобзаря мысль о мести и воле. И потом, разойдясь по селам, люди несли слова кобзаря дальше, согревали их теплом своих душ, и эти слова, как зерна, упавшие в глубокий чернозем, через некоторое время давали ростки, робкие и нежные, обещающие вскоре заколоситься буйным урожаем.

Бывало и так, что жизненные беды, как бурные ливни, захлестывали эти ростки, суховеи отнимали у них живительную влагу; но, взлелеянные соками земли, они переносили эти невзгоды и, упорные, поднимались снова и росли, и колосились, ибо это была жизнь. Дед Мусий тоже собирал эти зерна, и слова кобзаря пришлись ему по сердцу, они, казалось, давно уже приходили ему в голову, да он все никак не мог точно сказать тревожную правду людям, а вот теперь старый кобзарь сказал. И вот они сидят рядом — дед Мусий шестидесяти пяти лет и дед Северин Бида, чьи годы никем не считаны и не мерены; со своим внуком Миколкою ходит по свету крепостной князя Репнина из Яготина. У деда Мусия есть хоть пристанище, а вот деду Северину одно жилище — земля и один кров — небо; недаром и прозвали его Бидою. Он сидит у ларя на шумной киевской ярмарке, он высек из сердца своего, точно из кремня, все искры, и потому немного опустошен и растерян, но рад, что вот подле него остался кто-то, утешает и уговаривает его хорошими, светлыми словами.

Дед Северин чувствует, что это кто-то близкий, и позволяет себе ощупать рукой лицо деда Мусия. Внучек Миколка пьет из кринки молоко, жадно грызет сухую лепешку и посапывает; он так занят едой, что и нос вытереть некогда.

— Издалека, дед? — спрашивает Мусий Северина, величая его дедом, оба они уже седые и старые, но Северина он признает старшим.

— Издалека, сынок! Издалека! Иду, света не вижу, а все знаю. — Похоже было, что дед Северин хвастался своим всезнайством. — Тебя не вижу, а душу твою знаю.

Дед Мусий не удивился. Он и сам прошел бы всю

Украину с закрытыми глазами! Пусть бы хоть само горе погнало, нужда извела, — все лучше, чем в Верховне жить. А дед Северин продолжал:

— Пан меня давно выгнал. Говорит — слепой, глупый, корысти от тебя никакой, иди, куда глаза глядят, — а я, сынок, ничего не вижу, и пошел я по миру с внуком-сиротой, Миколкою. Правду я говорю, Миколка?

— Правду, дедушка, — Микола отозвался скороговоркой, чуть не подавясь куском хлеба.

— Вот так и брожу, рассвет по росе отгадываю, ночь по ветру-низовцу. Одни мы с Миколкой, во всем свете одни. Помру я, что с ним будет. Убей меня бог, провалиться мне на этом месте, коли я знаю!

Миколка прислушался к речи деда, перестал есть, ему хотелось заплакать от этих жалостных слов, но молоко было вкусное и лепешка тоже, и он решил поплакать после, когда управится с едой.

— Свет исходил, сынок, — говорил Северин, — и везде нужда, везде неволя, только люди чудные попадаются, — точно апостолы, явятся и пропадут. Вот раз иду через село, присел отдохнуть у левады, тоскливо так стало, тронул я кобзу, да и запел ту же песню, что и сегодня. Закончил, и хоть не вижу, а слышно мне, что кто-то стоит рядом. «Миколка, — говорю, — он же мои глаза, — стоит кто-нибудь возле нас?» — «Стоит, — говорит Миколка,— стоит человек и плачет. Плачет, — говорит, — тихо, не как я, я так не умею, — одни слезы, а крику нет». — «То, — говорю, — слезы от тоски, от нужды, то самые горькие в свете слезы». А чужой и говорит: «Верно, дед, правду молвишь, горше всего и тяжелее те слезы». Подошел поближе, сел подле меня. Расспрашивает, кто я, откуда. Я поговорить люблю, мне таиться нечего, я и рассказал все начистоту. «А где ты, дед, ту песню слыхал?» — спрашивает. «Люди поют, от людей слыхал. Песня, — говорю, — наша — про горе да нужду». — «Верно, — говорит, — наша песня, дед, наша». Помолчал, а после спрашивает, интересно ему: «А не знаешь, — говорит, — кто эту песню сложил?» Слышу, человек душевный. Признался ему—Шевченко, крепостной такой есть. Это он, говорят, и песни эти складывает. Молчит он, а потом снова: — «Про горе петь — тоска, надо про волю». — «Надо, — говорю я, — как не надо, я и сам сложу». — А ты складывай, дед, и пой». Положил руку на мою, слышу усмехается.

«Чему смеешься?» — спрашиваю. «А так, славно мне с тобою, хорошо». — «Ну и пойдем со мной», — говорю. «Пошел бы, дед, да не могу, а скоро пойду, как ты». — «Да ты, — спрашиваю, — кто же будешь, крепостной или вольный?» А он мне: «Я Шевченко, дед». Я так на ноги и вскочил. Кобзу уронил. За Миколку ухватился. Переспрашиваю: «Кто ты? Кто? Шевченко?» — «Я самый, дед, я». Говорит тихо, речь спокойная, мужицкая. «Миколка, — крикнул я, — глаза ты мои, — глянь на кобзаря нашего, скажи, какой он!»

Дед Северин замолк. Моргал глазами. Мертвые бельма неподвижно застыли. Миколка выпил все молоко, сидел спокойный и довольный. Мусий окаменел от изумления.

— Миколка, — вскрикнул дед Северин, — ты видал Шевченка?

— Видал, дедушка.

— Какой он?

— Добрый, дедушка. Он мне рубль серебром дал и в голову поцеловал, вам катеринку дал...

— Эх, внучек, я не про то спрашиваю: каков он с виду, лицом какой, глазки ты мои?

Микола молчал. Вспомнил полуденную жару. Березовый лесок. Дяденьку ласкового, усатого. С дедом говорил спокойно, дружески, не бранился. Добрый дяденька, конечно, добрый.

— И вот тогда в первый раз в жизни пожалел я, что слепой. То рад был, что нужды и горя людского не вижу, а то пожалел. Не дал мне бог счастья Шевченка своими глазами видеть. Ощупал я руками, вот как тебя, лицо его, сидели мы с ним до зари, все меня расспрашивал, а потом и про себя рассказал, попрощались, поцеловались и разошлись в разные стороны.

— Счастливый ты, дед! Счастливый! — Мусий качал головой, перебирая пряди седой своей бороды. Он тоже слыхал про того Шевченка и песни его знал, а вот встречать не привелось. И полный грусти, дед Мусий говорит:

— Слышно, царь разгневался на Шевченка, в кандалы заковал и заслал куда-то в степи.

— Не верю, — отозвался кобзарь, — не верю. Его в кандалы не закуешь. Врут. Не верю! — И дед Мусий тоже не верил в людскую молву.

Сумерки пали на ярмарочную площадь. Поднялись деды.

— Будь здоров, — молвил Мусию дед Северин,—глаза мои, Миколка, дай руку. — Больше он ни слова не сказал, взял миколкину маленькую шершавую ручонку и пошел от Мусия медленно, степенно, перекинув через плечо кобзу и сжимая в левой руке высокий посох. Перед ним расступались встречные крестьяне, узнавали его: «Дед Северин идет, дед Северин!» — а он шел, гордый и суровый, молчаливый и мудрый, известный на всей Украине кобзарь Северин Бида. Дед Мусий отправился домой, углубленный в свои мысли. Через черный двор зашел во флигель, где помещалась челядь Ганской. В сенях, у кухонной двери, увидел на сундуке какую-то женщину. Сидела, сгорбившись, накрывшись платком, и плакала. Подошел ближе, тронул за плечо. Женщина подняла голову.

— Марина! — узнал дед горничную, — что с тобою? Беда, что ль, какая случилась?

— Опять пани била, дедушка, опять била, и так люто, что и никогда такого не было! — Марина всхлипнула и заплакала еще пуще. Перевела дух, горько всхлипывая.

— Заперла меня у себя в кабинете, за косы таскала, допытывалась, не пристает ли ко мне пан, не поверила, посулилась еще в Верховне на конюшне выпороть. Запретила в комнаты являться, «в скотницы, говорит, определю».

Марина поднялась, подошла к деду, положила голову ему на руки, застонала.

— Не могу я больше, дедушка, сотворю грех, руки на себя наложу.

— Бог с тобой, дочка, что ты! Молчи! Потерпи!

Посадил на сундук, сам сел рядом. Гладил по голове. Что-то приговаривал. Марина плакала, изливая в слезах свою боль, не слышала слов старика. В барском доме засветили огни. Дед Мусий оставил Марину одну, вышел из сеней. Сел на ступеньки, смотрел на окна, залитые светом.

Бальзак и Эвелина сидели в гостиной. Дворецкий принес кофе. Эвелина налила чашку Бальзаку. Это был какой-то странный вечер. Впрочем, за последнее время подобных вечеров было немало. Точно в сгущенной атмосфере гостиной летали злые демоны. В черном платье без всяких украшений, кроме диадемы в волосах, Эвелина сидела за столом, величественная и молчаливая, а он не находил слов, чтобы теплом своего голоса растопить ледяное молчание. Он думал сначала, что следует разъяснить Эвелине давешнее комичное недоразумение. Неужели она могла

заподозрить какую-нибудь интимность между ним и горничной? Какая бессмыслица! Но чем больше склонялся он к этому решению, тем резче вырисовывался клубок противоречий. Нет. Он ничего не скажет. А Эвелина вела разговор о всевозможных незначительных, второстепенных вещах, выразила сожаление, что в Киеве нет Бибикова, что Фундуклей до сих пор не встал с постели. Сообщила, что завтра утром они выедут в Верховню. Они посидели еще час, вспоминая общих знакомых, вкладывая в гневно скрещенные взгляды больше значения, чем в пустые и путаные фразы.

Потом он долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, прислушивался к бормотанию ветра за окнами, кряхтел и жаловался на судьбу, на себя, на отсутствие желания работать. Старая, расшатанная деревянная кровать скрипела под его тяжелым телом и словно плыла, неся его на себе во тьму, в неизвестность. Так он покачивался на волнах воспоминаний, погружался в них и всплывал на поверхность и точно наяву увидел вдруг хитрого шотландца Вальтера Скотта; тот прохаживался у постели, припадая на одну ногу, низенький, суховатый, с большими проницательными глазами под широким лбом, и молчал, только смотрел требовательно, с укором, а потом погрозил пальцем, как проказнику, и пропал. Бальзак проснулся; и тогда вспомнилась ярмарка, и снова нахлынул сон и все смешалось. Цыганка крепко держала руку и не пускала, звериная физиономия Кароля Ганского тряслась от смеха, девушка Марина ползала у его ног. Юзефович вежливо и подобострастно тянул Бальзака к себе. И он снова проснулся. Теперь мысли как будто стали яснее, что-то подтолкнуло его сердце, и он покорился мольбе взволнованной души, вскочил с постели, нашел свой халат, надел, опоясался золотым пояском, засветил свечи и сел за стол. Рукопись «Крестьяне» лежала перед ним. Перелистывая страницу за страницей, он обновлял в памяти целые сцены, находил для них продолжение; вот уже образы действующих лиц вырисовывались перед глазами, он узнавал их, но что случилось — количество их бесконечно возросло, их стало море, вокруг шумело, клокотало. Ах, это ярмарка; и вот святую землю с гроба господня несут монахи в капюшонах, а вот он сам держит на ладонях рукопись «Крестьян», а Ипполит Госселен, Жирарден, его издатели, улыбаются и отходят от него все дальше и дальше, и он

остается один, и человеческое море расступается вокруг. Он застыл одинокий, как островок посреди океана.

...Да, он на ярмарке, и мимо него проходит Эвелина, и корчмарка черноглазая, печальная, и цыганка, и вся жизнь идет мимо него, а рукопись лежит на вытянутых руках, точно обломок скалы. Медленно подошла и замерла перед ним фигура старого, седобородого кобзаря. Дед остановился и протянул руки, большие шершавые ладони с мясистыми пальцами приближались к нему. Он чуть не отшатнулся, но не смог и остался на месте, как окаменелый. Кобзарь смотрел на него зрячими глазами, шевелил губами, что-то говорил на своем языке, но Бальзак не понял. Тогда кобзарь подошел ближе, взял из его рук «Крестьян», подержал немного на своих ладонях, будто взвешивая, и разбросал по ветру, а ветер подхватил листы бумаги и понес, развеял по пыльной площади, и на эти листки наступали люди босые и в лаптях, втаптывая их в землю. Он хотел закричать, но не смог, а дед угадал его желание и пригрозил ему пальцем: дед заговорил с ним по-французски прекрасным, изысканным языком, каким говорили в салоне Висконти и в недостатке которого обвиняли его, Бальзака.

— Не кричите, господин Бальзак, — говорил седой дед, — не надо. Ведите себя вежливо и умно. Эти страницы не стоят людей, о которых вы пишете. Разве таковы крестьяне, господин Бальзак? Дед смотрел на него с укором, и он не выдержал этого взгляда и закрыл глаза. Но тщетно, и с закрытыми глазами он видел деда и тысячи мужиков, втаптывавших в землю страницы его рукописи, а рядом стояли и хохотали его знакомые, дядюшка Фуршон, папаша Ригу, Тонсар, пристав Брюне, нотариус Люнен, трактирщик Рокар.

И звенела над землей песня деда, тянул ее один голос, а все люди молчали, только глаза их пели, руки пели, в шагах гремела она. И эту песню подхватили Ригу, Фуршон и Тонсар.

И тогда вдруг он вспомнил слова Юзефовича о человеке, сложившем эту песню, он почти в тот же миг представил себе его и силился вспомнить его имя. Рука, сжатая в кулак, падает на стол. Свечи подпрыгивают. Шелестят страницы рукописи. Глаза широко раскрыты. Чепуха. Галлюцинация. Он смеется над своим больным воображением. Наливает в чашку остывший черный кафе и выпи-

вает одним глотком. Чепуха! Такая чепуха померещилась! Еще не успокоясь, он обгрызает перо и, обмакнув его в чернила, прикасается к бумаге.

Так он сидел за столом в холодную киевскую ночь, усилием воли отогнав все призраки и раздумья. И когда он склонился над рукописью, в поисках нужных слов, ощущая страшную утрату вдохновения, когда ветреная осенняя ночь ложилась на землю, — в эти самые минуты на далеком Кос-Арале встречал рассвет Тарас Шевченко, склонившись над захалявной книжечкой, огрызком карандаша поверяя бумаге тревожные слова. И они не знали друг друга, и между ними лежало расстояние и общество, но их объединяло самое дорогое, и самое величественное, и самое справедливое в мире — творческое волнение. И не спал в эту ночь помощник ректора Киевского университета Юзефович. Третий раз переписывал он письмо на имя его превосходительства генерал-губернатора Бибикова, излагая доброжелательно, хотя и не без некоторого приукрашения все, что знал о поведении Бальзака. И все время, пока писал, почему-то видел перед собой суровое и страстное лицо Шевченка, и это видение навело на него непреодолимый страх и заставило подчеркнуть в письме, что «г-н Гонорэ де Бальзак проявил подозрительную», — он подумал и вычеркнул этот эпитет, почесал пером в реденьких волосах, обрадовался, что нашел более эластичное слово: «непонятную», — и подписал: «склонность к простому народу».

В небе уже рождался рассвет. Над высокими берегами Днепра еще лежал утренний осенний туман. От Киева во все стороны в глубину Украины струились, как ручьи, дороги. Тарахтели по ним мужицкие некованые возы, бренчали бегунки панских управителей, покачивались кареты, часовые подбрасывали вверх полосатые шлагбаумы, открывали путь проезжему люду, а по степи прямиком, пролагая свою тропку, шел дед Северин с внуком Миколкой приговаривая:

— Топчу, топчу, шлях, брожу в степях, людей не вижу, а кой-что замечаю. Правда, Миколко? — спрашивал у внука.

— Правда, дедушка, — и Миколка кутался в рваную свитку, сиверко-ветер забирался во все дырки, и от него цепенели руки и ноги.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЗА СТЕНАМИ МОНАСТЫРЯ

С тех пор, как банкир Гальперин приезжал второй раз после появления в корчме знатного иностранца, прошло около двух месяцев. Корчмарь Лейбко послушался-таки пана банкира. В самом деле, что здесь за житье Нехаме? Не лучше ли ей будет в Бердичеве?.. Что ни говорите, а сердце у реб Исаака Гальперина чуткое и доброе. Раз он так хорошо отнесся к Лейбку, взял Нехаму погостить в Бердичеве, так, может быть, он позаботится и о том, чтобы найти девушке достойного, приличного жениха. Прислал реб Гальперин за Нехамой свой рыдван. Долго уговаривал Лейбко дочь связать в узелок свои вещи, рисовал перед ней прелести бердичевской жизни. Нехама слушала молча; и ответ у нее был один: не хочу! Но она этого не сказала: реб Гальперин звал в гости, он уменьшил отцу арендную плату, он стал ласков и внимателен, и отец упорно настаивал. Нехама согласилась. Увязала вещи, села в рыдван. Нечипор натянул вожжи, застоявшиеся лошади рванули с места.

Лейбко остался на дороге один. Он протянул руку, точно хотел остановить рыдван, он ждал, что Нехама оглянется. Она не оглянулась. Ветер взбил над трактом пыль. Тяжелый туман оседал на луга. Наступал вечер. Лейбко вернулся в корчму.

Минуло с той поры два месяца. Первый снег, еще нежный и непрочный, устлал степь. Пушистыми кисточками убрались кусты и кончики липовых ветвей. Уже прошли мимо корчмы последние чумацкие обозы из Приазовья и с берегов Черного моря. Редкими гостями стали проезжие паны. Только почтовые оказии через день останавливались у корчмы, фельдъегерь выпивал чарку горилки, закусывал и пускался в дальнейший путь. Голубой дорожкой вился над корчмой легонький дымок. Лейбко сидел у огня, потирая руки, качая головой. Золотые блики прыгали по его седой бороде, вспышки пламени отражались в глазах. А он все подкладывал в печь солому, ворошил ее кочергой, точно старался придать мощи огню, силясь в причудливых языках его отыскать утраченные мечты, взлелеянные надежды.

Шли дни. Все больше снега падало на землю. Злые

и сильные накинулись на степь северные ветры. Вести о Нехаме приходили редкие, скупые и незначительные. Проезжал как-то кучер Гальперина Нечипор, — отвозил в Дубно какого-то пана; спросил у него Лейбко про Неxаму. Нечипор прищурился в ответ, улыбнулся двусмысленно и причмокнул языком:

— Господская доля теперь у Нехамы.

Будто и успокоил Нечипор корчмаря этими словами, да не очень. А на обратном пути из Дубно кучер не заехал в корчму, проскакал на рассвете мимо покосившегося строения, подгоняя коней посвистом кнута; очень хотелось ему погреть спину у печи и выпить чего-нибудь такого, чтоб дух захватило и защекотало в груди, а не остановился Нечипор. Не мог он говорить с корчмарем о Нехаме. Не мог лгать старику. Бешено гнал Нечипор коней. Легко скользили сани по утоптанному тракту. Горькие мысли одолевали кучера.

Корчмарь Лейбко подумывал о том, не следует ли ему самому в Бердичев съездить. Поехал бы, да на кого корчму бросить? Раньше, бывало, поедет, — все хозяйство Нехаме оставит, она управится. А теперь как? И снова возбужденный, растревоженный дурными предчувствиями, не находил Лейбко покоя.

В Бердичеве, в банкирском доме «Гальперин и сын», все шло хорошо. Как полноводная, могучая река в пологих берегах текла жизнь банкирского дома. Каждый день приносил реб Гальперину богатство и мудрость, и не мог он пожаловаться на судьбу, светившую главе фирмы счастливой звездой. Этой зимой он отправил своего единственного наследника, сына Моисея, в Вену к брату. Пусть мальчик узнает и другую жизнь. То, что он там увидит, то, чему научится, без сомнения, пригодится ему. Венский фактор Соломон Гальперин не очень гордился своим братом, бердичевским банкиром, но он не был столь неосторожен, чтобы пренебречь сотнями тысяч братних рублей. Он радушно принял племянника и написал Исааку в Бердичев, чтобы тот был спокоен и не волновался. Все будет как следует. И в самом деле, все шло как следует. Набирался ума за границей молодой Гальперин, росло состояние самого реб Исаака Гальперина, Юрий Мнишек был доволен, графиня Эвелина-Констанция Ганская тоже благоволила банкиру, — а это многого стоило, — не приносил забот и французский

гость. Деньги на его имя за все время прибыли дважды. Видно, не очень-то богатый пан. Услуг никаких он не требовал, и банкир Гальперин больше не появлялся в Верховне. Чиновник особых поручений Киселев тоже как будто угомонился. Реб Исаак мог быть спокоен. Он вставал утром, молился, брался за неотложные дела, справившись с ними, завтракал, снова принимался за работу, обедал, отдыхал и снова молился. Иногда вспоминал корчмаря Лейбка. Он вставал перед глазами, как укор. Реб Гальперин рад бы был не вспоминать о нем, но где-то засела мысль, въедливая и неотвязная: рано или поздно придется ответить Лейбке, где Нехама. Сегодня утром началось с дурных примет. Банкир Гальперин, поднимаясь с постели, натянул левый носок на правую ногу; он заметил ошибку слишком поздно и не на шутку перепугался. А потом еще, когда шел в контору, споткнулся на лестнице, это тоже что-нибудь значило. Плохие приметы оправдались под вечер, когда пан Гальперин сидел запершись в своем кабинете; в дверь постучал его секретарь-управитель и бухгалтер, одним словом его левая рука (правая, как он говорил, у него, слава богу, и своя еще годна), лысый Нухем. Он плотно притворил за собою дверь и подошел к своему патрону.

— Досадная неожиданность, — начал он, потирая лысину сухими, желтыми пальцами. Изношенный сюртук висел на его худых плечах, как на распялке, фалды обтрепались и свисали бахромой. Ботинки с загнутыми вверх носками побурели и, казалось, были вытесаны из дерева. Реб Исаак Гальперин с отвращением осмотрел его, точно впервые увидел, и, не скрывая своего неудовольствия, заметил:

— Сколько раз я вам говорил, Нухем, приобретите достойный вид, сшейте новый костюм. Разве может мой управитель походить на нищего?

Сухощавый, низенький управитель, печально соглашаясь, покачал головой. Патрон говорит правду. Но нет времени. Где найти время на возню с портными? Столько дел, столько хлопот. Он и сейчас собирался домой. Да где там! Принесли злые духи корчмаря Лейбка. Нухем замолк. Он не отказал себе в удовольствии полюбоваться смущением Гальперина. История с Нехамой была ему известна. В глубине души он не одобрял поведения своего патрона. Он считал это дело непристойным и позор-

ным для еврея. Но возражать или отговаривать не осмелился. Со скрытым интересом он следил, как обернется вся эта выдумка графа Мнишека, соучастником которой стал его хозяин. Он стоял перед реб Исааком, и на его глазах с тем происходила знаменательная метаморфоза. Руки беспокойно сновали по пуговицам сюртука, лоб покрылся красными пятнами; он почти ненавидел в эту минуту своего управителя, недоумевающе моргавшего глазами.

— Чего он хочет, этот Лейбко, кто звал его в Бердичев?

— Он хочет видеть вас и говорить только с вами, реб Исаак.

— Все корчмари с гетманского шляха хотят говорить только со мной, но у меня есть управитель, Нухем Васенбойм, и он получает достаточную плату, чтобы в его обязанности входил разговор с корчмарями.

— Реб Исаак совершенно прав. Я пробовал. Корчмарь Лейбко хочет говорить только с вами.

— Чего же он хочет?

— Он спрашивает, где Нехама, реб Гальперин.

— Он спрашивает?! А какое он имеет право спрашивать у меня? — Гальперин, разгневанный, вскочил с кресла и оперся руками о стол. — Кто дал ему право спрашивать у меня? Паршивый нищий корчмарь спрашивает у банкира Гальперина? А? Слыхали вы что-нибудь подобное, люди добрые? Я спрашиваю тебя, Нухем Васенбойм, ты мой советник и управитель, что ты думаешь о такой наглости?

Нухем Васенбойм растерялся. Он потирал тонкие желтокожие ладони и смотрел в угол, где ровно и спокойно отзванивали часы.

— Я думаю, пане Гальперин, что корчмарь Лейбко имеет право спросить о своей дочери. Он отец, реб Исаак.

— Ах, вот почему ты не можешь удовлетворить его любопытство и посылаешь его ко мне. Ты, я вижу, его единомышленник. С каких пор интересы банкирского дома стали тебе безразличны? — Реб Гальперин склонился над столом, тяжело дыша. Нухем Васенбойм еще более растерялся. Он пожал плечами и попробовал своим слабым и неуверенным голосом возразить:

— Я думал, что вся эта история с дочкой корчмаря

не имеет ничего общего с истинными интересами банкирского дома.

— Ты слишком много думаешь, Нухем Васенбойм. Пойди и скажи корчмарю Лейбку, что его Нехама жива, здорова и благополучна, пока о ней заботится реб Гальперин, и пусть он едет в свою корчму и ждет там. Иди.

Нухем Васенбойм, как приличествует верному слуге, поклонился и выскользнул из комнаты.

Корчмарь Лейбко сидел в конторе на первом этаже, опустив голову на руки, и ждал. Он качался на табуретке, точно сильный ветер играл его телом, на душе у него было горько, и неутешные мысли овладели им. В конторе было тепло, широкая на полстены печь обдавала жаром. Вокруг сапог Лейбка образовались маленькие лужицы. От обтрепанного кожуха шел пар. Корчмарь смотрел в окно. Оно выходило на широкий двор, где были расположены службы. Лейбко хорошо знал этот двор с тех времен, когда он еще не принадлежал банкиру Гальперину, а Гальперин еще не был банкиром. За окном падал снег, густой, непрерывный. Отяжелевшие от снега ветви деревьев покачивались. Лейбко терпеливо ждал. Вот сейчас его позовут, и он спросит пана Гальперина.

Осторожно, как будто крадучись, появляется в конторе управитель Васенбойм. Он останавливается перед Лейбком и передает ему слово в слово то, что сказал пан Гальперин.

Лейбко выпрямляется на табуретке. Талый снег поблескивает на его седой бороде. Капли пота залегли в морщинках на лбу.

— Где же моя Нехама? — спрашивает корчмарь Лейбко у Нухема Васенбойма; он беспомощно переводит взгляд с плоского лица управителя на заснеженное дерево за окном, на серые стены конторы, на лужи под ногами.

— Я не уйду отсюда, — говорит с упрямой болью старый корчмарь. Он каменеет от страшного горя. Он ощущает огненные прикосновения этого горя к своему сердцу, и ему хочется кричать об этом. Нухем Васенбойм мог бы сказать корчмарю Лейбку, где его дочка. Это даже обязанность еврея перед евреем. Но его патрон, реб Гальперин, тоже еврей, по отношению к нему Нухем тоже имеет определенные обязанности, и он призван всем своим существом выполнять их. И Нухем Васенбойм не го-

ворит, где дочка корчмаря Лейбка. Нухем Васенбойм ничего не знает. Он стоит перед корчмарем, тихонький, смиренный, и щурит глаза под кудлатыми белесыми бровями.

— Нет, я пойду, — говорит Лейбко и поднимается с табуретки. Он точно стал крепче и сильнее, как будто горе наполнило его тело этой силой. — Но я буду жаловаться. Я пойду в полицию, я пойду к раввину Мордухаю. Я буду кричать на весь свет, что реб Исаак Гальперин украл у меня дочь. Я буду кричать, что он украл, слышите, Нухем Васенбойм? Вы слышите?

— Я не глухой. Я слышу, — недовольно отступает тот. — Что вы кричите? Теперь время отдыха, и реб Гальперин спит. Напрасно вы кричите. Ничего дурного не станется с вашей Нехамой. Можете быть уверены. Идите и успокойтесь.

И когда старый корчмарь вышел из конторы, Нухем Васенбойм кошачьими цепкими шагами поднялся во второй этаж в кабинет реб Гальперина. Он изложил весь разговор. Пан Гальперин отпустил его, не промолвив ни слова. Немного позднее он приказал немедля отнести «долг» господину полицмейстеру Тышковскому, тысячу рублей.

— Тотчас же отнести, — приказал он, — полиции лучше не должать.

И Нухем Васенбойм понес «долг».

Корчмарь Лейбко бродил по Бердичеву. Он допоздна́ ходил по кривым, заснеженным улицам. На деревянных столбах ветер раскачивал разбитые фонари. В переулках терялась тревога Лейбка и нарождалось отчаяние.

Так он добрел до монастыря босых кармелитов. Высокие кирпичные стены с амбразурами и сторожевыми башнями отделяли монастырь от города. Убитый неотвратимым горем корчмарь без всякой надобности остановился у железных ворот монастыря. Он задержался здесь ненадолго. Ровно на столько времени, чтобы вспомнить свое детство; здесь, у этих ворот, он останавливался не раз. Страшные тайны, скрытые за высокими стенами, манили его сюда.

Лейбко пошел дальше. Шел, сбиваясь с шага, подталкиваемый ветром, в ночь, навстречу новым невзгодам. Так он доплелся до заезжего двора. В грязной передней, освещенной слабым огоньком, он поведал свое горе Ав-

руму, хозяину корчмы, своему старому приятелю. Тот выслушал и промолчал. Что он мог посоветовать? Кто же померяется силой с банкиром Гальпериным? Кто? И Лейбко постелил на полу свой кожух и, лежа на нем, шептал пересохшими губами слова молитвы. Он почти не спал всю ночь и, как только рассвело, пошел к конторе пана Гальперина. Снова стоял перед ним непреклонный и вежливый Васенбойм. Он сообщил, что пан банкир выехал утром в Верховню и еще раз передавал, чтобы Лейбко возвращался в свою корчму и сидел себе там спокойно. Сегодня Лейбко уже не кричал и не угрожал. Он выслушал управителя со странным равнодушием, точно речь шла о ком-то постороннем, и это не очень занимало корчмаря. И Нухем стал нем, как рыба, сел на высокий стул за свое бюро и, не глядя на Лейбка, углубился в толстую большую книгу. Корчмарь равнодушно стоял посреди конторы. Входили и выходили разные люди. Обходили корчмаря, кое-кто толкал его, но он не обращал внимания. Это длилось довольно долго, и даже уравновешенный Васенбойм заволновался и недвусмысленно намекнул Лейбку, что он мешает. Тогда корчмарь словно проснулся. Он послушался. Вышел из конторы и сел на ступеньки крыльца. Он решил ждать.

Терпение его было неисчерпаемо. Нечипор въехал в ворота и увидел корчмаря. Кучер сразу догадался, чего хочет Лейбко. Он выпряг коней, подошел к калитке, глянул на старика, сидевшего на крыльце. Потом вернулся к лошадям, завел их в конюшню, насыпал в кормушку овса, расчесал гривы, вилами подбросил свежей соломы, вышел снова к калитке. Лейбко все сидел.

Нечипор взялся за лопату и стал расчищать дорожку, отбрасывая в сторону снег. Из окна столовой следил за его работой пан Гальперин. Нечипор кончил, снег лежал сбоку длинной насыпью, играя на солнце. Кучер сбросил рукавицы, набил люльку, закурил. Постоял несколько минут в раздумьи, махнул рукой и направился к калитке. Выглянул — Лейбко все еще сидел на ступеньках, опустив голову. Нечипор затворил за собою калитку и подошел к корчмарю. Поздоровался, и корчмарь, углубленный в свое горе, ответил неохотно.

— Слушай, Лейбко, вижу, горе тебя крепко к земле придавило, сошел на нет. Жаль мне тебя, вот что.

Лейбко смотрел на Нечипора снизу вверх и беспомощно моргал покрасневшими веками.

— Пойдем со мной, расскажу кое-что, — пообещал Нечипор и осторожно осмотрелся вокруг. Лейбко быстро поднялся. Он с готовностью пошел рядом с Нечипором, с замирающим сердцем ожидая желанных вестей. Они прошли узенькую, похожую на тропинку, улицу. По сторонам жались один к другому убогие домишки с почерневшими от времени и непогод крышами. Из разбитых окон выпирали грязные подушки. Снег у порога лежал нетронутый, словно человеческая нога и не ступала здесь.

Пройдя улицу, они остановились. Нечипор оглянулся снова и, подтолкнув старого корчмаря, спустился с ним в шинок. Шинок помещался в конце улицы, позади него начинался пустырь. Здесь иногда весной собирались на ярмарку мужики из окрестных сел. Тогда улица оживлялась, оживал шинок, и подбодрялся шинкарь, долговязый, с вороватыми глазами угорец Вано, которого посетители звали просто Иваном, а завсегдатаи Ванькой-пьяницей. Поселился он в Бердичеве давно, купил шинок у какого-то еврея и жил в нем одиноко, мечтая разбогатеть и завести себе более приличное дело. В шинке у Вано всегда околачивались какие-то подозрительные людишки, цыгане, цыганки, проезжие обнищавшие лавочники; они просиживали здесь целыми днями, и ловкий Вано вертелся между столами, ставил и убирал бутылки и кружки, удовлетворяя несложные требования своих гостей. В шинке никогда не шумели и даже не говорили громко, точно боялись, как бы кто не подслушал разговор.

Нечипор решил пойти с Лейбком сюда. Здесь можно было посидеть и потолковать, в уверенности, что Нухем Васенбойм не сунет сюда своего носа. Людей в шинке было не очень много. За длинным, покрытым черной клеенкой, столом сидели двое — цыган и цыганка. В углу жадно жевал яичницу усатый чиновник в форменной фуражке, старой и порыжевшей. Он даже не поднял головы, когда Лейбко и Нечипор вошли в шинок. Еще чуть подальше сидел за небольшим столиком человек, с головы до ног закутанный в какое-то черное тряпье. На столике перед ним лежали скрипка и смычок, и он придерживал свое достояние длинной дрожащей рукой. Только он обратил внимание на приход корчмаря и ку-

чера. А они уселись за свободный стол под окном, и Вано уже стоял перед ними.

— Живешь еще, изворачиваешься? — спросил Нечипор.

— Изворачиваюсь, — поклонился Вано.

Коричневого цвета лицо его, усеянное морщинами, было равнодушно и скрытно, точно хранило какую-то тайну.

— Все не богатеешь?

— Все жду, что ты хозяина своего придушишь и со мною поделишься, — заметил Вано улыбаясь.

— Поди ты к черту, — рассердился Нечипор. — Нужен ты мне со своими советами! Дай лучше нам поесть чего-нибудь да выпить, а языком не плети.

Улыбаясь, Вано отошел и скоро поставил на стол бутылку водки, колбасу на жестяной тарелке и полбуханки хлеба. Нечипор налил в чарки водки, нарезал хлеб, отломил себе кусок колбасы.

— Выпьем по одной, закусим, а там и потолкуем, Лейбко.

Он выпил, чокнувшись со стаканом Лейбка, но корчмарь не пошевельнулся.

— А ты что же не ешь? — отозвался Нечипор, грызя черствый хлеб. — А, да я же забыл, — догадался он, — трефное все тут. Так ты водки выпей, водку можно.

Старый корчмарь грустно покачал головой. Нечипор наклонился через стол совсем близко к Лейбку; он решил сказать старику все, что знал.

— Вижу, вовсе ты извелся. Болит твоя душа по дочке. Скажу тебе правду, жаль мне тебя; хоть и приказывал мне строго пан Гальперин языком не трепать, да твое горе и лед растопит. Слушай, Лейбко, дочка твоя в монастыре. Завез ее туда пан Гальперин, какому-то пану вельможному понравилась, вот он и тешится с нею.

Гром и молния пронзили шинок. Свинцовое небо со всеми тучами, какие только есть на свете, опустилось на крышу дома. Лейбко хотел подняться на ноги — и не мог, хотел сказать хоть слово — губы не пошевельнулись. У него отнялся язык, руки и ноги окаменели, и только слезы полились из глаз, текли по впалым щекам, терялись в бороде; и он ничего не видел перед собой, ни стен шинка, ни людей, ни собеседника своего.

Нечипор отодвинул бутылку с водкой. Горе Лейбка оглушило его, и он уже жалел, что открыл старику тайну. Может, лучше было бы молчать? Похоже было, что только еще больше растревожена боль, воспалена рана, и теперь, кажется, ничем уже не унять горя и отчаяния.

Пока Нечипор раздумывал и сомневался, Лейбко вскочил на ноги и стремглав выбежал из шинка. Он бежал по переулку, широко размахивая руками, ловя открытым ртом морозный воздух, он даже дважды что-то крикнул, неразборчиво и отчаянно, и бежал дальше, вызывая удивление прохожих. У ворот монастыря он остановился. Ворота раскрылись, словно открывая ему дорогу, но навстречу вырвалась шестерка лошадей, впряженная в черную лакированную карету, и старик едва успел отскочить, чтобы не попасть под конские копыта; но и кони испугались растрепанной фигуры корчмаря и резко рванули в сторону, чуть не опрокинув карету. Кучер умелым движением руки осадил коней и опоясал кнутом Лейбка, а с козел соскочил гайдук в красном кафтане.

— Повылазило, черт тебя подери, стал, как пень на дороге, не видишь чья карета? — Гайдук злобно размахивал кулаками перед лицом растерявшегося, испуганного корчмаря и кричал, брызжа ему в лицо слюной, — не видишь, быдло, что едет его светлость граф Мнишек? Ух... Морда! — Он толкнул Лейбка изо всей силы в грудь и замахнулся кулаком, намереваясь ударить еще раз. Дверца кареты открылась, и на подножку спустилась нога в лакированном сапоге. Лейбко увидел самого графа Мнишека. Корчмарь молитвенно сложил руки и упал на колени: да простит его ясновельможный пан. Он и в мыслях не держал повредить его лошадям.

Граф не ответил и не дослушал, но зоркий глаз Лейбка успел заметить в уголке кареты женщину, закутанную в шубу; он узнал ее бледное лицо, выпрямился и бросился к карете, завопил изо всей силы: «Нехама!» Но карета уже подпрыгивала по мостовой. Шестеро серых в яблоках быстрых коней мчали ее куда-то к далекому синему горизонту, прочь от Лейбка. Ему казалось, что надо бежать за каретой, догнать, остановить. Но не было сил даже пошевелить пальцем. Беспомощно опустился он на каменную скамью под стеною монастыря. Высокий монах в долгополой черной сутане, в туфлях на босу ногу подошел к нему. С отвращением тронул за плечо.

— Иди отсюда, иудей, — сказал монах.

— Кто ты? — точно просыпаясь, спросил его Лейбко. — Где Нехама? Кто ты?

— Я кармелит, — с достоинством ответил монах. — Иди, иудей, и не погань места святого.

Лейбко поднялся. Окаменело стоял против кармелита. Под густыми мохнатыми бровями горели лихорадочно глаза. Ветер разметал длинную седую бороду, рвал полы расстегнутого кожуха. Лейбко смотрел в глаза монаху упрямым, испытующим взглядом. Он походил на сумасшедшего. Чернец попятился, отступил в сторону, будто давая дорогу Лейбку. Он уже молчал и не отваживался больше гнать корчмаря. И вдруг Лейбко втянул голову в плечи, сжался весь, точно стал меньше ростом, заплакал и, беспомощно ломая пальцы, пошел по улице. Сердце, точно льдинка, холодело в груди. Он ощущал его перебои. Как лунатик, вышел он за город. Перед ним простиралась заснеженная дорога. Степь лежала усмиренная. Просторами завладел ветер. Громады облаков высились на светлом горизонте. Корчмарь Лейбко шагал, тяжело размахивая руками. Ему казалось, что где-то впереди покачивается на дороге карета. Он верил, что непременно догонит ее. Мысли были серы и однообразны. Куда-то исчезло волнение, и беспокойство отлетело, как сонная птица, напуганная внезапно подувшими холодными ветрами. А корчмарь Лейбко все шел и шел, и из глаз его катились слезы, примерзали к щекам, висели шариками в бороде, он беззвучно шевелил губами и по временам жалобно и безнадежно звал Нехаму.

Уже потемнел далекий прозрачный горизонт. Скатилось в глубокую пещеру тучи солнце. Крепчал ветер. Дорога стлалась безлюдная и неясная, а Лейбко не сбавлял шагу и плакал тоскливо и тихо, и конца не было этим слезам, и конца не было его печали.

Кучер графа Мнишека гнал быстрых коней. Карета плыла по заснеженному шляху в степь. Граф сидел, закутавшись в шубу, удовлетворенный и спокойный. Он искоса поглядывал на пленницу и улыбался своими зеленоватыми глазами. Он вез ее в Вишневец, в свой замок. Ганна уехала в Верховню. Он мог себе позволить развлечься в ее отсутствие. Пугливая девушка влекла его. Правда, надо быть осторожным. Чтобы дворовая челядь не трепала языками, чтобы не дошло до Ганны.

А впрочем, она должна привыкать к его прихотям. В конце концов в этом нет ничего страшного. Он немного развлечется. Давно уже не гулял. Одарит девушку и отправит к старому плуту, лису Гальперину. Кажется, этот мошенник сам не прочь полакомиться.

Нехама сидела молчаливая, пришибленная, униженная всем, что произошло с ней. Иногда все представлялось ей злым, страшным сном. Она дергала себя за косу, поднимала пальцами веки, приказывала себе: «проснись», надеясь, что сон отлетит и она увидит себя вновь в корчме, в своей комнате подле отца. Но это были тщетные грезы. В темном застенке монастыря, точно в тюрьме, прятали ее. Как обманул ее реб Гальперин! Как насмеялся жестоко и нелепо! Ее держали в монастыре долго, она даже потеряла счет дням. С нею никто не разговаривал, никто к ней не заходил. Она плакала, кричала, не дотрагивалась до еды. И она не знала и не могла знать, что держат ее в монастыре только потому, что граф Мнишек по семейным обстоятельствам не может забрать ее к себе в Вишневец. Да и о самом Мнишеке не знала она. Что-то отвратительное нашептывал ей на ухо пан Гальперин в ту ночь, когда монах забирал ее в монастырь. А вот сегодня явился этот вельможный пан. Она умоляла его отвезти ее к отцу, спасти ее. Он внимательно слушал, едва заметно улыбался и помогал монаху надевать на нее шубу.

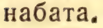
Еще несколько дней назад она бы упиралась, кричала, звала на помощь. Но теперь она была покорна, как ягненок. Ее одели, посадили в такую роскошную карету, какой она и во сне не видала. Бледная, с большими карими глазами под мраморным точеным лбом, в дорогих мехах она выглядела на бархатном сиденье царевной. Того, что произошло у ворот монастыря, она не заметила.

Граф Мнишек уже не тревожился. Это хорошо, что она не узнала отца. Зато он сразу узнал старого корчмаря. Еще будут с ним счеты, черт его возьми! Еще придется с ним повозиться, но в конце концов какая-нибудь тысяча, и Гальперин устроит все. Граф Мнишек тряхнул головой, словно хотел отогнать от себя все эти заботы. В конечном счете, все это глупости. Он протянул руки к Нехаме, крепко обнял ее за плечи и с силой приблизил к себе. Вот эти глаза и этот тонкий приоткрытый рот, о которых он мечтал иногда по ночам. Вот они. Нехама

сопротивлялась и отводила голову. Губы графа нервно дергались. Руки дрожали. Взгляд затягивала темная сердитая пленка. Нехама зажмурилась и молилась. Она ждала. Произойдет чудо. Даже более чем ждала. Нехама верила. Но ничего не произошло. Карету подбрасывало на ухабах. Кучер подгонял коней кнутом. Гайдук дремал на козлах.

Легла на землю зимняя ночь. Где-то за горизонтом рождалась метель. Поскрипывали от мороза деревья по сторонам дороги. На конских гривах нарастал причудливыми кисточками иней. В карете было душно и тесно. Нехама кричала. Бессильно махала перед собой руками. Звала на помощь. Карета была, как тюрьма. Освобождения и спасения не было. Жадными руками срывал с нее платье Мнишек. Он нашел ее крепко сжатые губы своим горячим ртом. Нехама собрала все силы, сжала кулак и ударила перед собой; отведенная Мнишеком рука попала в окно. Стекло со звоном легло на дорогу.

Этот тонкий тревожный звон подхватил ветер и понес вдаль, и усиленный ветром он нарастал, как звон набата.







КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗИМА

Это была лучшая пора его жизни. Всегда в часы неверия и тревоги, когда рождались безжалостные мысли о себе, он усилием воли бросался в водоворот воспоминаний, и перед ним неизменно, точно очертания светлых кораблей во тьме, выплывали давние ночи. Изменчивые горизонты раскрывались, как в сказке.

На дороге оседала полуденная пыль. Солнце скользило по далекому небосклону. Бальзак стоял на горе, и у ног его на берегах Сены лежал Париж, хитрый и еще непобежденный зверь, грозящий обмануть и уничтожить его.

Глаза Бальзака с исключительной прозорливостью всматривались в самые глубокие и далекие закоулки, они одним взлетом, словно одним взмахом орлиных крыльев, охватывали пространство между Вандомской колонной и куполом Дома Инвалидов, где жил высший свет, куда он хотел войти полновластным, сильным, требовательным и уверенным.

Он бросал туда пламенные взгляды, стремился в эти кварталы мысленно, отождествленный этим желанием с

творением своим, Растиньяком, он произносил слова, исполненные неистощимого огня, упорства:

— Ну теперь посмотрим, кто сильнее! — Тогда, в те дни, он вызвал на поединок общество, гордый и смелый, точно ему была подвластна полумиллионная армада отважных и бесстрашных корсаров всего мира.

Годы постепенно, даже кое в чем незаметно, делали свое разрушительное дело. Они вползали в его дом на улице Фортюне, отмеченные незнакомыми прежде качествами. Они просачивались во все щели бессонницей, перебоями сердца, одышкой, потемнением проницательных глаз, дрожанием правой руки, привыкшей сжимать перо, как рукоять сабли.

С горечью, не имевшей для него сравнений, он должен был признать, что он уже не тот солдат и вояка Онорэ, который пришел из провинциальной Турени, чтобы овладеть Парижем, скорее он напоминал себе генерала в отставке, ворчуна, недовольного и привередливого. Но то, что он мог распознавать в себе неисчислимые недостатки, оставляло в сердце веру в какие-то значительные перемены, которые должны были вернуть утраченные задор и упрямство.

Все это вспоминалось, распаляя сердце, во влажные верховненские вечера и ночи. Стлался снег за окнами. Мела пурга. Мороз расписывал стекла непонятными и обманчивыми узорами. Стонал по ночам лес вокруг замка. Плакал отчаянно и безнадежно степной ветер. Тосковала душа в поисках спасительного утешения. Он брался за перо и бросал его, испуганный исчезновением важнейших мыслей, выношенных на протяжении лет.

И сквозь пургу навстречу ему плыли ночи, парижские дивные ночи, склонялся над его постелью Цезарь Биротто, осторожный и вдумчивый, и рассказывал ему о своем величии и падении. Цезарь Биротто не укорял. Мука тихая, испепеляющая светилась в его глазах, и Бальзак возненавидел эти глаза и не мог без страха заглянуть в них. Герой ни о чем не спрашивал и ни в чем не упрекал. Он только напоминал о днях своего рождения.

Бальзак вспомнил: ноябрь 1837 года, редакция «Фигаро» торопит, надо спешить, а написано всего несколько страниц «Цезаря Биротто». Это были лихорадочные ночи, бумага покрывалась путаным узором букв; напи-

сав несколько страниц, он тут же отсылал их в типографию «Фигаро».

В типографии царило смятение. Никто не в силах был разобрать написанное Бальзаком. Буквы громоздились над буквами, видно было, как бегала его рука по бумажному полю, как молниеносно мелькали мысли. С огромным напряжением угадывали слова, набирали и оттиски гранок посылали тотчас же Бальзаку.

Он строго правил написанное, и вскоре узкие чистые полосы бумаги по обе стороны текста покрывались новыми добавочными фразами, целыми эпизодами. Он успевал написать новые главы и выправить старые так, что и они, собственно, становились новыми. В эти ночи и дни он не выходил из своего кабинета, не видал никого, кроме посыльных из типографии, черный кофе укреплял его и прогонял сон.

Увлеченный, он не замечал, как ночь сменяла день, он не видел, что происходит за окном, хорошая погода там или дождь, и в подсвечнике свеча горела круглые сутки. В эти часы, которые теперь представлялись трудной и победоносной войной, он ни разу не вспомнил Эвелину и не раскрывал писем, полученных от нее.

Цезарь Биротто жил с ним в одной комнате, и он понимал, что если хоть на минуту забудет о своем герое, тот не стерпит измены. Бальзак не изменил.

15 декабря читатели «Фигаро» прочитали фельетон под названием «Злосчастия и приключения Цезаря Биротто прежде, чем он появился на свет». Из этого фельетона тысячи читателей узнали, как работал Бальзак, и он сам прочел фельетон не без удовольствия.

Это были чудесные дни. Одни только воспоминания могли утешить Бальзака теперь. Голубой потолок в будуаре Эвелины и безоблачные улыбки розовых амуров на нем должны были звать к покою и беззаботности.

Еще не было серьезного и последнего разговора, а он уже знал, что пора собираться в путь. Они проводили вечера вместе в ее голубой комнате у камина. Он сидел в кресле напротив Эвелины, закутав ноги в тяжелый английский плед, и слушал ее рассказы. Ганна, гостившая в Верховне, не мешала им. Она приходила только, когда ее звали. Статная и красивая, с лебединым изгибом шеи, она в белом пенистом платье как будто и в самом деле плыла куда-то на сказочных волнах, и Баль-

зак с завистью наблюдал эту чарующую молодость. Все они ждали приезда Мнишека, а тот все не приезжал, задерживался почему-то в Вишневце.

Но Кароль Ганский, узнав у Гальперина об истории с молодой корчмаркой, поспешил намекнуть Эвелине. Он захлебывался от радости, получив, наконец, возможность потешиться над чванливой свояченицей. А она выслушала его спокойно. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, только спросила:

— Это все? Ну что ж, лучшего от вас я и не ожидала, вы только и способны на сплетни. — Но через день Эвелина послала в Бердичев за Гальпериным. Банкир приехал утром на следующий день. Его подвезли к служебному флигелю, и он около часа ждал, прежде чем был позван во дворец. Там он еще полчаса просидел в библиотеке на втором этаже.

Утонув в глубоком кожаном кресле, он осматривал стены, заставленные высокими, до потолка, полными книг, шкафами. Посреди комнаты на столе стоял огромный глобус. Все здесь было знакомо Гальперину. Он даже улыбнулся с оттенком гордости. В конце концов он имел право на такую вольность. Все в этой комнате, и книги, и глобус, и прекрасные картины на мифические сюжеты, как и вся мебель в нижних комнатах, все попало сюда через его банкирскую контору. Если бы понадобилось, он мог вспомнить номера всех таможенных документов, квитанций и другие подробности.

Исаак Гальперин помнил все. В дороге он задумался, чего это вдруг он так спешно понадобился графине. Давно уже не звали его в Верховню.

Эвелина была в часовне. Склонив колени, сложив руки и касаясь пальцами подбородка, она горячо молилась, — возведенные на спасителя глаза были исполнены мольбы. Лампадка тускло горела. В часовне было холодно и пахло плесенью. Эвелина прошла из часовни во дворец подземным ходом. Марина шла впереди со свечой в вытянутой руке. Графиня явилась в библиотеке неожиданно. Реб Гальперин только успел размечтаться. Он вскочил. Низко поклонился. Ждал. Эвелина села. Он продолжал стоять, ожидая приглашения.

— Я вызвала вас, пане банкир, — она никогда не называла его по фамилии, — по очень важному делу. На

днях мсье Бальзак собирается выехать за границу. Надо позаботиться, чтобы все было хорошо.

— Слушаюсь, пани.

Гальперин снова поклонился.

— Садитесь, — наконец пригласила Эвелина. Он осторожно опустился на краешек кресла, готовый в любой момент вскочить вновь.

— Я еще хотела спросить... — Эвелина подняла голову и посмотрела банкиру в глаза. Она не торопилась спрашивать. Гальперин мгновенно догадался, но ни одним движением не обнаружил этого, притворяясь недогадливым.

— Я хотела спросить, — повторила Эвелина жестковато, — правда ли то, что говорят о графе Мнишеке?

— Что вы имеете в виду, ясновельможная пани?

Гальперин встал. Эвелина указала ему на кресло, он подчинился, сел.

— Вся эта история с какой-то корчмаркой. Говорят, все это произошло не без вашего участия.

Нет. Сидеть действительно трудно. Кто же донес обо всем об этом графине? Ах! Вероятно, Кароль. Бес соблазнил его разболтать об этом. Узнает Мнишек, и будет дело! Гальперин разгладил борта сюртука. Он повел речь осторожно, раздельно выговаривая каждое слово, точно взвешивая убедительность его.

Частица правды в этом слухе есть. Но не все. Далеко не все, вероятно. Он тоже кое-что слышал. И если их светлости угодно, он приложит усилия, чтобы, не теряя времени, разузнать обо всем подробно. Тогда он сможет сказать что-нибудь определенное, а так, кроме сплетен... да кстати, он лично совершенно непричастен к этой истории, здесь какое-то недоразумение.

Гальперин умолк. Он ожидал, что скажет в ответ Ганская, а она не торопилась. Что ответить этой хитрой лисе? Подняться с кресла, выгнать его вон одним мановением руки, либо приказать Жегмонту взять его на конюшню и отодрать как следует, или затравить собаками?.. Она забавлялась подобными мыслями, и это успокаивало ее. Но через мгновение Эвелина поняла, что ни того, ни другого, ни третьего она не может позволить себе. Вот застыл перед нею он, банкир Гальперин, смиренный и угодливый, но за этой внешней покорностью кроется что-то такое, чего обойти и забыть нельзя. И

Эвелина, поднимаясь, сухо, сдержанно и спокойно говорит:

— Имейте в виду, мне желательно, чтобы все это прекратилось. Эти слухи, если они даже неправдоподобны, не должны дойти до Ганны, и граф Мнишек должен знать, что мне кое-что известно. Учтите это и примите меры.

Исаак Гальперин тоже стоял. Он внимательно выслушал графиню. Как всегда, он только склонил голову. Он соглашался и обещал. А через несколько минут кучер Нечипор, подгоняемый его окриками, хлестал вороных, и просторные сани неслись по завьюженной дороге.

С того вечера три дня и три ночи тосковали в степи лютые ветры, метель кружилась, как безумная, и жестокий мороз ходил по лесам, невидимыми пальцами бесчисленных рук выводил непонятные узоры на стеклах дворца, наглухо затягивал ледяной коркой окна крестьянских хат.

Бальзак ночами не спал. Он прислушивался к треску деревьев в парке, к стону ветров, к неясному шуршанию в смежных комнатах. Пылали дрова в камине. Свечи поднимали огненные гибкие языки прямо вверх, а на стене колебались длинные уродливые тени.

Книги на столе были аккуратно сложены в два ряда. Только сбоку корректура «Кузена Понса», рукопись «Писем из Киева» и раскрытый томик Шатобриана. Это для приличия. Может быть, когда-нибудь взглянется... впрочем, — и это излишне. В комнате было жарко, и приятно было чувствовать тепло, зная, что за окнами лютый, непобедимый холод. Непостижимая страна. Сфинкс неразгаданный, тайна. Бальзак улыбнулся. Широко развел руками. Встал с кресла, подошел к камину.

— Сфинкс. Неразгаданный. Глупости.

Вспышки искр забавляли его. Дрова горели с треском, весело, почти насмешливо. Вспомнил. Ночь в Париже, давно, пожар на пустынной улице. Горит трехэтажный дом. А огонь весело, улыбчиво облизывает окна, стены, врывается в двери, только черные клубы дыма, смрад и крики напоминают о смерти, разрушении, ужасе. Хорошо, что вспомнился пожар. Пригодится. Он торопливо подходит к столу и, не садясь, записывает на чистом листе бумаги: «Пожар, он всегда вызывает двойственное чувство — захватывает и ужасает.

Огонь — это...» — он бросает перо на стол и не продолжает. Это уже о другом.

Снова стоит у камина. Ждет. Да, сегодня Эва непременно придет. Он верит в это. По привычке потирая руки, он быстрыми шагами меряет комнату из угла в угол, обходя пуфики, беспорядочно расставленные там и сям. Невольно ловит глазами стопу листов на подоконнике. Это — в Париж. Жаль, что нельзя поставить на них печатку своим перстнем. Где теперь этот перстень? Обменял его на еду слепой мудрец или хранит у себя? Какая судьба постигла этот кусочек золота с сапфиром и монограммой на нем. Интересно! Воображение, быстрое и неудержимое, рисует бескрайную степь; метет вьюга, стонет ветер, старик и мальчик, перстень на ладони деда, перстень излучает тепло, он греет старика и мальчика, он освещает обоим путь сквозь темную злую ночь.

Грезы. Грезы. Снова остановился перед камином. Снова треск огня. А за окнами ночь. Мороз точно ходит по земле, по кустам, по деревьям, и легкий, но явственно слышный треск звучит за стенами.

Так пришла зима, метельная, снежная, морозная, чарующая. И он прислушивался к ней, присматривался, захлебывался от тяжелого кашля; свистели бронхи, кололо в груди, кофе опротивел, и печаль тяжелой завесой отгораживала его от мира. Приезжал Мнишек, пробыл два дня, забрал Ганну и уехал с нею обратно в Вишневец.

Кароль Ганский успокоился. Все шло так, как он хотел. Вот только пройдут морозы. Придется господину парижанину собираться в дорогу. Кароль Ганский от удовольствия причмокивал языком и с еще большим увлечением носился по лесам. Зайцы как будто сами набегали на его выстрелы. Он уничтожал их в эту зиму без счета. И Марина покорилась. Правда, просила никому не говорить. Чтоб никто не узнал. Да черт с ней. Не она первая, не она последняя. Снег скрипел под подошвами пронзительно и весело. Пся крев! Он еще покажет себя и чванливой свояченице. Она еще увидит, дождется.

Кароль Ганский охотился. Зайцы сами шли на него. Прибитые им к земле, они судорожно сводили ноги и под конец умирали, исходя последним теплом. И потом, когда он подбирал их, на снегу оставались небольшие

талые ямочки, словно сохранившие тревожное трепыхание подбитых зверушек. Немного спустя снег заметал эти жалкие следы, как будто ничего и не произошло здесь; как и за день до того, стояли глубоко в снегу спокойные строгие ели. Через село верхом несся к имению управитель.

Горы снежных сугробов на улице раздражали его. Убитые зайцы окоченелыми телами били коня по крупу. С десяток гончих псов красовалось далеко впереди. Над хатами по обеим сторонам улицы поднимались полоски дыма.

Верховня давно уже не видала такой лютой зимы. А впрочем, верховненским мужикам не привыкать к морозам и метелям. Досаждал разве только голод. Из-за этой проклятой панщины не успели собрать весь хлеб со своих убогих полосок, снег похоронил остатки на полях. На краю села, у самого выгона, от которого начинается путь в замок, всякий раз попадалась на глаза Каролю Ганскому занесенная снегом, со сбитой набекрень стрехой хата деда Мусия. Он наскоку ловил ее взглядом и улыбался. Но управитель не знал и не мог знать, что всякий раз, когда он мчался мимо хаты, дед Мусий, припав к окошку глазами, следил за ним внимательным взглядом. Василь ежедневно ходил в имение. Работы хватало — и на скотном дворе, и в амбарах, доверху набитых зерном, и в погребах, где перебирали картофель и овощи, и на парниках.

Казалось, кто-то погасил гнев управителя. Откуда бы такая ласка? Но догадаться Василь не мог. Марину редко удавалось повидать. Рождество прошло, а он возлагал на него большие надежды. Думал, может, как-нибудь на святки вырвется Марина из дворца. Не вышло. Не повидались. Только уже позднее, будто ненароком, встретил за конюшнями, когда шла на парники. Схватил за руки, заглянул в глаза. А они беспокойно метались. Перебегали по его лицу и таили в себе какую-то непостижимую грусть.

— Марина, и что это с тобою? Почему никогда на селе не появишься? Чужой я тебе, что ли, стал? Не нужен?

Не слова это были, а сама мука. Он застыл в ожидании. Словно из-под земли вырос управитель Кароль. Прошел мимо и — удивительное дело — ничего не ска-

зал, только улыбнулся как-то непривычно, особенно. Это еще больше взбудоражило Василя.

— Марина! — он спрашивал и торопил.

— Ничего, Василь! Ничего! Подожди.

Не то говорила она. Не то. Он понимал: здесь какая-то ошибка. Какая? Не знал. Губы у нее дрожали, дрожал голос, и чувствовалось — где-то в горле застрял крик. И она больше ни слова не сказала, пожала руку и, обойдя его, точно он был дерево или камень, пошла своей дорогой.

Василь ушел. Шагал как в тумане. Мысли были тяжелые, неповоротливые, неясные. Пришел поздно вечером домой. На лежанке сидел дед Мусий. В миске плавал фитиль, мигал огненный язычок. Дед склонился над скрипкой. Струны жалобно звенели от прикосновений больших заскорузлых пальцев. Василь молча сел на лавку. В темном углу под потолком хмурились лики святых. Молчали дед и внук.

Пела метель. Под стрехой точно кто-то вальками хлопал. Дед слез с лежанки, набрал из ведра воды и припал губами. Василь следил настороженно. Деда точно жажда гнала, пустынная, ничем не утолимая жажда.

— Печет, — сказал он, поставив на подоконник кварту и показав рукой на грудь. — Ох, как печет! — Василь потупился. На глиняном полу возились тараканы.

— Грустишь? — спросил дед и снова залез на лежанку. — Зря. Не грусти. Печаль делу не поможет.

Он осторожно поднял скрипку, прижал ее подбородком к плечу, взял смычок и тронул струны. Василь опустил голову на руки. Смежил веки. Молчал. Слушал. Кто-то осторожно дернул дверь из сеней. Струя холодного воздуха ворвалась в хату. Через порог переступил какой-то незнакомец, широкоплечий, крепкий, закутанный в большую шубу. Прикрыл за собой дверь. Прошел на середину хаты и сразу заполнил собой все ее небольшое пространство. Дед вскочил с лежанки. Поднялся с лавки Василь.

Бальзак расстегнул шубу. Тяжело дышал, обводя кончиком языка пересохшие губы. Помахал рукой деду, чтобы тот не вставал, и улыбнулся Василю. Сел на лавку и толчком посадил его рядом с собою. Рассматривал

неказистое, бедное мусиево жилище. Щурился на божницу в углу, на посеревшие рушники на окнах, заглянул в печь, потянул ноздрями терпкий запах печеного картофеля. Удивление деда было безгранично. Даже сердце защемило.

Василь искоса приглядывался. А Бальзак уже уселся на лавке поудобнее. Даже сбросил с плеч шубу. Разгладил усы, улыбаясь посматривал то на деда, то на Василя. Восстанавливал в памяти незначительный запас русских слов, жестами, более выразительными, чем слова, пояснил: «Соскучился по дедовой скрипке. Не мог забыть ее звуков». — Оперся рукой на плечо Василя, встал. Шуба сдвинулась с лавки. Легла темной мохнатой массой на полу. Тараканы бросились врассыпную.

Бальзак подошел к лежанке. Мусий, опершись на камень, смотрел на него с любопытством. Этот пан даже не вызывал страха. Добрый, верно, пан. Вспомнилась ярмарка, перстень. Должно быть, забыл он. А что теперь у него на уме? Что привело его сюда? Да и как нашел он его хату? А Бальзак взял скрипку. Самодельную, немного неуклюжую, держал на вытянутых руках и с уважением рассматривал. Потом прижал осторожно к сердцу, улыбнулся и протянул деду. Пусть дед сыграет, как тогда, в том зале. Но как объяснить? Слов не хватало. Он кусал пальцы от нетерпения, потом обрадовался. Схватил обеими руками мисочку с фитилем, поднял, показал, как тогда было много света, ламп, поставил мисочку на лежанку. Сказал, неуверенно произнося: «Играй», — и вложил деду в пальцы смычок. Закрыл глаза.

Мгновение дед колебался. Он думал. Чего надо пану французу? Василь, встревоженный, онемел. Поднял с пола панскую шубу, положил на лавку, но уже не сел, отошел в уголок за лежанку и там стушевался.

Дед Мусий расправил плечи. Он уже понимал, чего хочет француз.

...И неведомо сколько времени прошло. Какая быстрина прошумела и пропала за горизонтом ночи? Казалось, и метель утихла и также слушала, и это для него было не развлечение, не потеха. И не сон, не греза. Он ломал пальцы. Тяжело дышал, ловя раскрытыми губами жилой, тяжелый воздух убогой хаты. Боялся поднять веки, чтобы ему, очарованному игрой деда, не бросилось в глаза убожество окружающего. Это был не отдых, не

развлечение. Что же это было? (В эти минуты он не думал, не искал ответа, ответ пришел гораздо позже, уже перед рассветом, когда, обессиленный волнением, он перелистывал страницы лукавого «Жиль-Блаза».)

Тихо шумело море. Необычайная голубизна отражалась в нем. Красочные горы как бы висели в воздухе. А за горами поднимались остроконечные громады туч. Солнце катилось по миру, сея ласковыми лучами радость и обновление. По дорогам, обсаженным цветущими деревьями, шагали мужественные веселые люди. Улыбающиеся лица их были праздничны. Дети с цветами в руках играли на поле. Идиллия? Лживая, недостойная его страданий и обид! Он развел скрещенные руки. Дед Мусий положил скрипку. Задумчивый и строгий, Бальзак надевал шубу. Ступил на порог, потом будто опомнился. Вернулся, положил на лежанку горсть серебра и тихо вышел из хаты, крепко притворил дверь.

Позднее, у себя в кабинете, сидя у камина, вспоминал свою прогулку в село, как у Жегмонта узнал, где живет старик, и как Жегмонт проводил его до дедовой хаты. Несколько серебряных рублей развязали язык дворецкому. Он стал необычайно любезен и даже пообещал, что ничего не скажет пани. Но Эвелина узнала. Жегмонт не мог не сказать; узнал вскоре и управитель Кароль, тоже по милости Жегмонта. А сам дворецкий долго в ту ночь кряхтел в своей каморке над окованным сундучком. Стоял над ним на коленях, перекладывал дрожащими руками рубли, пятаки, медь, серебро, золото. На стене качалась, точно била поклоны суровому божеству, его уродливая тень.

Бальзак никак не мог забыть старого скрипача. Произошел откровенный разговор с Эвелиной. Посыпались упреки.

— Вы понимаете, Онорэ, что это глупый каприз. Можно приказать, и он придет сюда и будет играть для вас до рассвета, но тащиться куда-то на край села — это более чем неуместно, Онорэ.

Он попытался возражать.

— Эвелина, это не так. Идти туда по глубокому снегу, дышать морозным воздухом, пьянеть от ветра, и, среди бедности и нужды, слушать божественные звуки! Эвелина, этот старик феноменальное дарование. Это сказка. — Бальзак, как всегда, увлекся. Ходил малень-

кими быстрыми шажками по гостиной. Лихорадочно потирал пухлые ладони.

Эвелина не разделяла его увлечений. Но разве только в этом проявлялось расхождение между ними? Если бы только в этом! У себя в будуаре, широко раздвинув шторы, она долго, по нескольку часов, сидела перед зеркалом. Рассматривала себя при ослепительно белом сиянии зимнего солнца, проливавшего сказочный водопад лучей через высокие окна. Видела сквозь стекла поседелые кроны деревьев, отягченные снежными хлопьями, широкие ветви дубов. Холодными пальцами водила по щекам, разглаживала брови. Считала морщинки в уголках рта. С беспокойством отмечала глубокие складки на своей прославленной поклонниками шее. А потом, сжав руками виски, локтями опираясь на резное дерево трельяжа, сидела перед зеркалом, безмолвно беседуя со своим двойником, и он, этот двойник, из потаенных глубин бемского стекла отвечал ей.

— Старею я, старею, — шептали ее губы. И двойник в зеркале в знак согласия кивал головой. Подтверждал и даже как будто улыбался.

Можно было бы пригласить гостей. Зажечь в большом зале все карсельские лампы; на хорах заиграла бы музыка, кружились бы пары в сказочных звуках вальса; можно было пить пенистое вино, а где-нибудь в портале, в тени, в перерыв между танцами, выслушать признание какого-нибудь льстивого поклонника, милостиво протянуть ему руку и смотреть сверху вниз на него, склоняющего колени. А Онорэ? Пусть бы искал ее, мучился, укорял. Но к чему? Двойник в зеркале строго свел брови. Недовольно прикусил губу. Довольно! Все! Эвелина встает. Дергает сонетку. Через несколько минут она стоит с томным взором посреди комнаты, а Марина, бегая вокруг, дрожащими руками надевает на нее платье.

— Экипаж!..

У крыльца лошади бьют копытами снег, поднимая мириады блесток. Кучер едва сдерживает их. Эвелина спускается с крыльца величественная, неприступная. Бальзак на полшага отстает. Это ее всегда раздражает. Впрочем, идти с ним рядом неудобно. Он ниже ее почти на голову. Придерживая ее за локоть, он помогает сесть в просторные сани, укрытые медвежьей шкурой. Жегмонт обегает сани. Застегивает накрепко полость. Комья

снега из-под конских копыт иногда залетают в сани. Приятно и весело скрипят полозья.

— Помните, в Невшателе ночью вы говорили о русской зиме, — она кричит эти слова на ухо Бальзаку, а ветер подхватывает их, относит, громкое эхо ударяет на последней гласной — и тянет ее бесконечно, гудит над полем, над дорогой, над деревьями ближайшего леса:

— Гу-у-у-у!

Он помнит. Зачем так воет ветер? Далеко за селом их приветствует мельница смешно растопыренными крыльями. Лошади бешено несут сани, и мельница уже позади. Разговор, на который возлагаются большие надежды, не возникает. И Эвелина гневно теребит перчатки под полостью. Хоть бы он сам начал! Сказал бы хоть одно слово. Спросил. А может, и он перестал думать о женитьбе? Эта мысль немного пугает ее. Как объяснить ему, что и наследство, и запутанные дела с имением не так легко будет распутать, если она приобретет другое подданство. А главное — чувства. Какими словами сказать о них? Если бы он заговорил! Когда он молчит, Эвелина чувствует себя плохо. Он молчит — это значит, что мысли его владеют всем миром, а их она боится. Разве проникнешь за этот высокий, изборожденный морщинами лоб.

Она вспоминает разговор в Киеве ночью, его дерзкие слова об императоре, его интерес к простонародью, рассказы Юзефовича о посещении ярмарки. А он сидит рядом, молчаливый, суровый, неразгаданный. Тогда возникает чувство растерянности и большой непоправимой потери. Неизлечимые раны; сердце, кажется, не выдержит. Возможно, не надо было во вьюжную февральскую ночь сидеть над бюро и писать то письмо, ставшее для нее гибелью. Неужели это все? Эфемерия, соблазнительная игра дьявола?

— Онорэ! — Ей хочется сказать больше: «Вы меня совсем не любите». Но вместо этого губы выговаривают: — Вам давно не писали из Парижа?

— Да, моя дорогая, — отвечает он. И молчит. И так молча они въезжают в имение и расходятся по своим комнатам. Бальзак лежит в кровати, кутается в одеяло и тяжело, надрывно кашляет. Прогулка ему не совсем на пользу. А Эвелина, вызвав Жегмонта, приказывает ему немедленно привезти из Шпичинец пана пробоща Казимира Янковского.

Пробощ Казимир Янковский не удивляется, когда лошади верховненской помещицы останавливаются перед его кирпичным домом. Это не впервые за последнюю зиму. Слова божьего слуги призваны утешить взволнованную графиню Ганскую. На бритом скрытном лице стройного ксендза, и в дороге, и когда он входит в маленькую часовенку во дворе верховненского замка, — неизменное выражение проницательного всезнайства и суровости. Где-то глубоко в душе он волнуется. Таинственный вид имеет в эту вечернюю пору внутренность одинокой часовни. Тревожный взор богоматери не сходит с него. Ксендз Янковский наперед знает все, что произойдет через несколько минут.

Он заходит в небольшую деревянную башенку. Опирается на подлокотники. Сквозь решетчатые стены его фигура приобретает таинственные очертания. И вот уже внизу по железным ступенькам лестницы звучат знакомые шаги. Ксендз закрывает глаза. Он слышит, как графиня идет через часовню, останавливается перед башенкой и склоняет колени. Он слышит ее измученный голос. И взволнованный необычайной страстью к этой женщине, ксендз Янковский принимает ее исповедь.

— Отче, о скажи мне, о утешь меня, — шепчет пересохшими губами Эвелина, — о помоги мне, чтобы матерь божия смилостивилась надо мною, чтобы грехи мои тяжкие исчезли, как сон. О, помоги мне, отче!

И после минуты тяжелого молчания, гнетущего и выразительного, ксендз бархатным басом произносит:

— Продолжай, раба божья Эвелина-Констанция!

И, давая волю слезам и крикам, Эвелина-Констанция поверяет ксендзу все волнения души, всю нестерпимую боль. Она умолкает, опустошенная и растерянная и немного недовольная тем, что вложила в исповедь всю правду. Но проникновенный голос произносит:

— Амен!

И горячая рука появляется перед ней и она припадает устами к этой руке и долго не может оторваться от нее. Потом поднимается уравновешенная и спокойная. Ей как будто и в самом деле легче. Лукавая улыбка появляется у нее на губах.

Через полчаса она сидит в маленькой гостиной перед своей спальней рядом с пробощем Янковским, и между ними плывет, как весеннее облако, легкий непри-

нужденный светский разговор. Уже пробили в соседней комнате полночь старинные швейцарские часы. Ксендз обеспокоен. Он не мешает ясновельможной пани? Но он так одичал в своем одиночестве, что эти минуты для него радость, о которой он и мечтать не мог. Эвелина ненароком касается своей рукой его руки. Нет, она очень рада. Пусть пан Янковский посидит. Ей тоже приятно. И тогда ксендз, точно опьянев от этих слов, поднимается и отходит к окну. Он стоит там долго, припав разгоряченным лицом к холодному стеклу.

Эвелина с любопытством смотрит на стройную фигуру пробоща и догадывается. Она тоже подходит к окну и, остановившись позади гостя, спрашивает:

— Пане пробоще, что с вами?

А он порывисто обернувшись, склоняет колени и подползает к ней, обхватывает сильными руками ее ноги и припадает к ним долгим поцелуем.

Лунная ночь синеет за окнами. Над Верховней, над разлегшимися окрест просторами, заснеженными и необозримыми, властвует суровая зима.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ДОМ НА УЛИЦЕ ФОРТЮНЕ

Ни развлечение, ни шутка — ничто не могло утешить измученное сердце. Снова весь Париж, с улицами, похожими на развороченный муравейник, был залит солнцем. Казалось, за время его отсутствия люди размножались с двойной или тройной быстротой, точно жизнь в Париже была трагической, неизлечимой лихорадкой. Снега, метели, сдержанные беседы о наследстве, сознание неудачи, — одним словом верховненская зима, — остались позади. Только еще и до сих пор двадцатиградусные морозы и лютые ветры напоминали о себе болью в груди и тяжелым кашлем. Падение акций Северной железной дороги ускорило отъезд из Верховни. Как-никак, а вместе с Эвелиной он держал этих бумаг на шестьдесят тысяч франков. Он торопился в Париж спасать франки, а за несколько дней перед тем писал Лауре: «Собственно говоря, госпожа Ганская еще нужна

своим детям, моя великая мечта еще далека от осуществления».

И когда писал эти слова, и когда целовал руку Эвелины, садясь в сани, чувствовал пустоту, боль, острую печаль, неугасимую, как жажда. Только теперь как будто приходил покой.

Голубело небо, просторное и безоблачное, миротворно радостно синела Сена; только мостовая отбивала шаги людей в предместьях, только ветер, рвущийся в открытую форточку упругим орлиным крылом, предвещал раннюю грозу Парижу.

Бальзак стоял у окна, опершись локтями на мраморный подоконник, и дышал этим весенним ветром, приятным ветром Парижа. Вошел на цыпочках лакей Франсуа. Поставил на стол чашку кофе, повесил на спинку кровати одежду.

Бальзак прикрыл форточку и отвернулся от окна. Стоял в расстегнутой сорочке, в помятом халате, гладил пальцами поросшую рыжеватыми волосами грудь, исподлобья проницательно всматривался в лицо Франсуа. Протянул к нему руку. Тот, отгадывая желание, подал чашку. Частыми глотками Бальзак выпил кофе, размахивая пустой чашкой, прошел к постели, сел, глубоко уйдя в перину.

— Что нового, Франсуа?

Франсуа заговорил. По старой привычке Бальзак его не слушал. Он любил самое звучание его картавой быстрой речи, и она никогда не мешала ему думать о своем. Он в самом деле соскучился по своему доброму Франсуа, по своему защитнику от кредиторов, этих злых духов судьбы. Хочется даже сейчас сказать об этом Франсуа, который, вежливо наклонившись, все еще продолжает говорить.

— Сударь спрашивает, что нового? Конечно, особенного ничего. Но предстоит кое-что особенное.

— Ты оракул! — весело восклицает Бальзак, — ты радуешь меня, мой верный оруженосец...

— Всегда готов вас радовать, но, к сожалению, мало радостного могу вам сообщить.

Франсуа замечает что-то на борту сюртука и смахивает легким движением руки. Бальзак думает: «Эвелина такого не потерпит. Беднягу надо будет переучивать

или, в крайнем случае, отпустить с миром. Что ж, ради Эвы он снесет и такую утрату!»

Он вспомнил о Эве случайно и тотчас же забыл, отметив про себя, что обрадовался, так легко и быстро освободившись от мыслей о ней.

Надевая сюртук, он искоса, одним глазом улавливает лицо Франсуа. Прищелкивает языком, презрительно оттопыривает губы, смешно выкидывая ноги, приближается к своему верному слуге:

— Купцы — падаль, консьержи — базарные девки, Париж — сатанинское чрево, газетчики — шарлатаны, — так, мой оруженосец?

Старательно и удачно он имитирует выговор Франсуа, но невольно думает, что эти слова слуги, с которыми тот не раз являлся к нему по утрам, могли бы быть и его собственными словами.

— Господин Онорэ, — Франсуа почтительно склоняет голову, отступает на шаг, не выпрямляясь; этому жесту мог бы позавидовать лучший лакей герцога Гиза. Бальзак довольно улыбается. Снова мелькнуло воспоминание об Эвелине. Но безоблачно, на миг. Это его почти не занимает.

— Господин Онорэ, — повторил верный слуга, — вы третий день дома, и я осмеливаюсь напомнить вам о письмах, о счетах кредиторов, о депешах.

Бальзак нетерпеливо махнул рукой. Франсуа, как будто напуганный этим движением, заторопился. Он, наконец, сказал то, что думал. Он высказал все сразу, пренебрегая осторожностью:

— Сударь, я советовал бы вам уехать куда-нибудь в провинцию. Я ежедневно бываю на людях. Я слышу, о чем они говорят. Я боюсь, что тишина, царящая в городе, — затишье перед бурей. В предместьях готовят пистолеты и точат ножи. Крестьяне из окрестных селений стали грубы и дерзки. Я думаю, что вам лучше выехать на некоторое время в провинцию.

Франсуа умолк. Бальзак, казалось, не поверил в то, что было сказано. А может быть, ему и в самом деле только померещилось. Склонив голову, стоял перед ним Франсуа. Он огляделся. Его окружали знакомые стены, веселые пастушки улыбались с гобеленов, солнце сияло за окнами, просторная и глубокая кровать Буля напоминала о недавнем благотворном сне, на пушистом ков-

ре стояли сафьяновые туфли, рядом белели страницы раскрытой книги. Он ничего не ответил слуге. Повернулся и вышел из спальни.

Франсуа подождал, пока затихнут тяжелые неровные шаги хозяина. Скрипели ступени. Бальзак поднимался на второй этаж, в библиотеку. Франсуа подошел к кровати и стал снимать простыни. Он думал. Не было ли в его словах дерзости, умничания? Кажется, нет. Не было. Он сказал мсье еще далеко не все, что слышал. Промолчал же он о гневных выкриках: «Скоро этим толстопузым облегчат существование, выпотрошат животы, чтоб ногам легче было!»

Он так ничего и не придумал. Он любил и уважал своего хозяина. А потому должен был предостеречь. Это была его обязанность. Но, может быть, мсье рассердился на него за это; чем же еще объяснить то, что он вышел, ничего не сказав?

И в течение нескольких дней после этого утреннего разговора, хотя об этом ни слова больше не было произнесено, Бальзак и Франсуа думали о сказанном каждый по-своему: первый — ища чего-то большего в словах слуги, звучавших для него предостережением, второй — огорчаясь, что эти слова могли показаться дерзостью.

Так пролетели долгие, пустые часы в доме на улице Фортюне. Обнаженные и какие-то стыдливые в своей наготе ветви каштанов покачивались за окнами. Сизые тучи плыли над Парижем. Синели в отлогих берегах воды Сены. На письменном столе лежала стопа прекрасной бумаги, и связка перьев в стакане привлекала своей свежестью.

Бальзак, может быть, впервые в жизни спокойно ходил из комнаты в комнату, подолгу простаивая у окна, выходящего на юг, в большом зале, где на стенах висели замечательные полотна в дорогих рамах. Из этого окна, опершись пухлыми руками на подоконник, он смотрел на Париж, напоминавший ему вечно тревожный, неугомонный муравейник.

Он думал, наблюдая суету кварталов: вот придет кто-то могучий, всесильный, жестокий и суровый, гигантскими, чудовищными ногами растопчет муравейник, разбросает эти карточные домики, погонит вспfive реки, высушит озера, но не уничтожит муравейника, он расползется по всем уголкам земли и где-то в другом месте

снова закружится, снова засуетится, возводя такие же карточные домики, возобновляя раздавленную жизнь.

Этот круговорот, эта закономерность поразили его в эти минуты, как никогда; это были острые мысли, они ранили успокоенную уже как будто душу и посыпали солью старые язвы. И, может быть, поэтому он и не хотел никуда идти и не появлялся нигде почти целую неделю, свято храня свое одиночество, не дотрагиваясь до пера, забыв о падении акций и о верховненских делах. В одиночестве он видел какое-то спасение, правда временное, — но и это утешало его.

Никто из друзей — ни Гюго, ни Готье, ни молодой его поклонник Шанфлери — не знали, что он в Париже; тем более скрывалось его появление от издателей.

Поздними вечерами, сидя в кресле, он мысленно вел с этими последними хитрые, полные комплиментов, осмотрительные битвы и выходил из них обессиленный и побежденный.

Обещанные и задуманные книги не были написаны, оставалась только пьеса «Мачеха», но после ужасного провала «Вотрена», после свистков из партера, он не смел и мечтать о театральном успехе.

Однако одиночество кончилось. За окнами был день. Спокойный, безоблачный, но не солнечный. Бальзак сидел в кресле за письменным столом. Франсуа, убрав комнаты, работал в саду. Дверь в кабинет с треском отворилась. Кто-то всплеснул руками, не то засмеялся, не то заплакал, бормоча и выкрикивая что-то радостное.

Перед Бальзаком, простирая к нему руки, стоял в своем неизменном клетчатом костюме издатель Ипполит Госселен.

— Вы преступник, — кричал, не помня себя, издатель, бросив прямо на пол пальто и бешено сжимая Бальзака в объятиях. — Что это вы вздумали прятаться? Уж не постригла ли вас в монахи ваша «звезда Севера», или, может быть, вы там добыли невиданные клады, и теперь вам наплевать на тощую кассу вашего издателя? Э, уважаемый мэтр, высокочтимый автор. Вот вам страница в вашу чудесную «Человеческую комедию»!

Бальзак придвинул Госселену кресло. Приятно улыбнулся крикливому издателю. Ждал, когда иссякнет его красноречие. Придерживая его за локти, подталкивал к креслу, но тот выскользнул из рук и, наступив на крас-

ную шелковую подкладку своего пальто, очутился по другую сторону письменного стола.

— Теперь, господин литератор, — кричал Госселен, точно между ним и Бальзаком было расстояние не меньше чем в полмили, — я только страница из «Человеческой комедии». И вы, даже вы, мой доброжелательный друг, избегаете меня. Ах, мэтр, мэтр! За что? За что?— он прикрыл глаза пальцами и шмыгнул носом, как будто в самом деле собирался заплакать.

Такой разговор Бальзак предвидел. Он не мешал Госселену фиглярничать. А тот постоял мгновение, затем, выбросив вперед руки, принялся ткать бесконечную паутину фраз, путаных, головоломных, похожих на крик сумасшедшего.

— Вот и вы, наконец. Знаете ли, друг мой Онорэ, что в Париже никто теперь не интересуется художественной литературой, знаете ли вы, что Гюго находит большее удовольствие в посещениях улицы Ледигьер, где толпится чернь, чем в сидении за письменным столом; знаете ли вы, Онорэ, что Парижу плевать теперь на театр, на балет, на баллады и романы, что в Тюильри царит беспорядок и банкиры бегут в Британию, знаете ли вы, Онорэ... Э! Вы ничего не знаете! Вы любуетесь своей «Северной звездой», а как ваши романы придут к читателю, об этом пусть думает Госселен...

Это был выход. Сейчас он скажет. Пусть будет так. Это самый удобный момент.

— Позвольте, господин Госселен! — Бальзак поднялся с кресла и, опираясь руками на стол, глуховато продолжал: — Да будет вам известно, что я не написал ни одного романа.

Он не сел и даже не взглянул на Госселена, закрыл глаза, униженный и обессиленный позорным признанием. Точно исповедуясь, не раскрывая глаз, он продолжал дальше, и слова его, похожие на обломки скалы, громоздко и неуклюже перекатывались через письменный стол, тот стол, на котором рождались, жили и гибли сотни героев его книг.

— Я ничего не писал, кроме пьесы, господин Госселен, и все мои обязательства перед вами — жалкий миф, эфемерная легенда.

Он говорил о себе с откровенной жестокой злобой,

как будто испытывая удовлетворение оттого, что Госселен окаменел и не в силах был проронить слова.

— Напрасно вы думаете, господин Госселен, что я ничего не знаю.

Он усилием воли заставил себя поднять веки и заглянул прямо в глаза издателю. В хитрых маленьких глазках плута Госселена он увидел слезы, и у него что-то оборвалось в горле, но заставить себя замолчать он не смог.

— Господин Госселен, может быть, Гюго прав, отдавая предпочтение улице Ледигьер. Я жил на этой улице в мансарде, господин Госселен. Железную крышу над моей головой невыносимо раскаляло солнце, и тогда я жарился в аду; мансарду продували ветры, секли дожди, засыпал снег, и у меня зуб на зуб не попадал. Там я написал десятки книжек, оттуда начал наступление на Париж. Я думал выйти победителем. Я любил улицу Ледигьер, я любил пасмурные, серые дома и суровых людей, обитавших в них. Я любил эту бедноту, эти несчастья, эту непроходимую нищету, но я видел и понимал, что рано или поздно она выйдет на роскошные улицы города и скажет свое слово. Я выбирал — или с ними, или с салонами. Я выбрал последнее. Кажется...

Он не осмелился вслух признать свою ошибку и умолк, охваченный волнением и тяжелыми предчувствиями.

— А вы говорите — я не знаю, — с болью произнес Бальзак и бессильно опустился в кресло.

Госселен долго не мог начать разговор. Он на цыпочках обошел стол и тоже сел, подобрав свои короткие ножки под кресло, скрестив на груди руки. Он видел профиль Бальзака и разглядывал его, словно впервые имел возможность наблюдать прославленного писателя. Он видел, как часто и тяжело поднималась грудь его, прядь волос крылом пересекала высокий лоб, глаза из-под взъерошенных бровей устремились в окно прозорливо и сурово. И Госселен, возбужденный неясными мыслями, позволил себе сказать правду, небольшую и незначительную, но достаточно красноречивую, чтоб Бальзак верно понял ее.

— Я банкрот, Онорэ, — произнес издатель, не ожидая от своего автора ни утешения, ни успокоения.

— Мы с вами банкроты, — сразу поправил его Бальзак и неестественно громко расхохотался. Не вставая с кресла, повернулся к издателю, взглянул прямо в гла-

за. Теперь они были сухие, холодные, неприятные. Умиление сменила жадность. Глаза папаши Гранде глядели на него с укором немым, но жестоким, и он должен был оправдать себя.

— Зато, мсье Госселен, ваш аванс не прогорит. Рукопись романа «Крестьяне», — он показал пальцем на большую стопу исписанной бумаги на столе, — перед вами, и у вас есть все права посадить меня в долговую тюрьму. Я ваш раб.

Госселен покачал головою, все было как-то неясно и напряженно. Теперь очередь фиглярствовать за его автором. Он представил себе гроссбух, и сразу невидимым пальцем перевернул дебиторскую страницу с буквой «Б». Он прошептал про себя: «Тридцать пять тысяч франков», — и незаметный холодок прошел по его спине.

— А «звезда Севера»? — спросил Госселен равнодушно, но в глубине души следя за каждым движением мускулов на лице Бальзака.

— Я прошу вас, мсье Госселен...

— Можете не продолжать. Тысячу раз прошу прощения! — Госселен подошел к Бальзаку, положил свои пухлые руки на крепкие плечи, заглянул в глаза, смотрел не долго, одну секунду, но достаточно, чтобы подтвердить искренность, потом спросил:

— А Россия?

— Сфинкс.

Госселен передернул плечами. Он не любил кратких высказываний.

— Богатство?

— Сказочное.

— Дикость? — настаивал Госселен. Бальзак не ответил.

Когда стемнело и Франсуа накрыл для них стол в столовой, они сели друг против друга на удобных стульях и, попивая чудесный рейнвейн, вели спокойную, веселую беседу, старательно обходя политику. Бесшумно появлялся и исчезал Франсуа, подкладывая на тарелки кушанья, подливая вино в высокие бокалы.

Сам не зная зачем, Бальзак, перебивая рассказ Госселена о вечере поэзии в салоне Висконти, похвастался:

— Скоро я женюсь, мой Госселен, и тут, — он показал на стул, стоявший на хозяйском месте, — будет сидеть Эвелина-Констанция де Бальзак.

— Я буду счастлив первым ее приветствовать.

— Могу вас уверить, ей это будет очень приятно, — ответил Госселену Бальзак, мысленно представляя себе гадливую усмешку отвращения на губах Эвелины при виде издателя.

Заглянув через плечо, Бальзак увидел край накрахмаленной салфетки. Франсуа стоял за его спиной. Бальзак кивнул ему головой, и слуга тихо вышел из столовой, хорошо поняв желание своего господина.

— Вы разбудили меня, господин Госселен. Вы прогнали мой сон и вернули меня к действительности. Да, мой друг, не время мечтать. На коня — и за саблю!

Бальзак засмеялся, и Госселен поддержал его. Теперь перед ним был тот самый Бальзак, труженик, экономист, воин и хвастун. Теперь он верил — тридцать пять тысяч франков закончат свой бег и будут вычеркнуты из (дебиторской) книги.

— Послушайте, дорогой Онорэ! — Госселен слегка приподнялся со стула и, опираясь на локти, склонился над столом. — Совсем конфиденциально... Есть слухи о политическом перевороте. Говорят, что может быть новая власть. Возникновение эры расцвета искусств и литературы. Гюго недаром обращается к обитателям предместий.

Бальзак слушал внимательно. Прямота слов Госселена даже испугала. Выходит, Гюго играет в любовь к народу.

— Во имя каких интересов? — спросил Бальзак, сам того не желая.

— Во имя личной славы.

Госселен, словно обессиленный таинственностью своих слов, упал на стул и откинулся на высокую, обитую кожей спинку. Вверху над его головой вырезанный из красного дерева орел держал в клюве ягненка. Мертвыми глазами орел смотрел на Бальзака.

— Вы говорите глупости, мой друг, — только сумел проговорить Бальзак.

— Почему глупости? — вскипел издатель. — Сбросьте с глаз пелену. Только подумайте, новое правительство, министерство искусства и литературы, издатели, типографии, бумажные фабрики, сказочные тиражи изданий, сотни тысяч франков. Рулетка, господин писатель. Вот она, смена власти, революция!

— Не кричите. Зачем вы кричите? — Бальзак недовольно протянул руку, словно мог этим остановить Госселена. Это еще больше разожгло издателя.

— Я учу вас, дорогой мой автор, я учу вас, как достать денег, а с ними славу, ордена, медали; ложу в опере рядом с ложей английского посла, грума на запятках кареты, текущий счет в лондонском банке; и «Северная звезда» сама взойдет перед окнами дома на улице Фортюне.

Он высказал все, что было у него в мыслях, и почувствовал, что его слова нашли отклик в душе Бальзака. И Госселен не ждал ответа.

В плодородный чернозем, растревоженный ветром, он бросил несколько зерен, и уже видел, как они принялись, всходили и давали желанные сочные плоды. А он сам, ласково улыбаясь, ходил среди них и тихо, неслышно снимал эти плоды с нежного, мягкого стебелька.

Они выпили еще по бокалу рейнвейна, и Госселен, собираясь уходить, достал из кармана чековую книжку, оторвал чек и подал его Бальзаку. Он, словно оправдываясь и подбадривая, говорил:

— Еще три тысячи франков, будьте добры, мсье Бальзак, я жду рукопись «Крестьяне».

Бальзак, держа в руках подсвечник, проводил гостя к дверям. Он запер за ним тяжелые, массивные двери, погасил свечу и неторопливо пошел в кабинет. На письменном столе, зажженные заботливым Франсуа, мигали свечи. Карсельская лампа из-под абажура посылала мягкий и приятный свет. Он сел в кресло, расправил плечи, словно держал на них весь день тяжелый, неприятный груз, посидел так с полчаса. Рейнвейн шумел в голове. Слова Госселена оставили в сердце неприятный отзвук. Он гнал их прочь, но они вновь возвращались и, словно упрямые солдаты, шли и шли на штурм его совести и чести. Он испугался, что они победят его. Тогда Бальзак схватил перо и, обмакнув его в чернила, быстро на кусочке голландской бумаги набросал несколько слов, таких, каких не посылала и не могла посылать его душа в далекую страну.

«Париж, февраль, 20, 1848 года.

Моя дорогая, незабвенная Эва! Я снова в эти минуты с тобой». Он осторожно отложил в сторону написанное письмо. В большом, широком окне синела ночь. Прекрасное звездное небо шатром раскинулось над Парижем.

Бальзак поднялся с кресла и подошел к окну; прикрывая ладонями глаза от света, он долго смотрел на безоблачную высь неба, и гордое сияние ярких звезд казалось ему зовущею, безмолвною песней жизни. И каким ничтожным был Госселен со своим тревожным шепотом, и каким жалким и холодным был Париж перед величием этой ночи и красотой неба. Он отошел от окна, немножко успокоенный и окрыленный. Склонившись над столом, Бальзак, кусая губы от наслаждения, граничащего с местью, писал:

«Черт побери, мне кажется, что литература в наши дни — ремесло уличной девки, предлагающей себя за сто су; это ни к чему не приведет. И меня охватило желание блуждать по улицам, из всего делать драму, рисковать жизнью, потому что разве не все равно несколькими несчастными годами больше или меньше. О, когда видишь это прекрасное небо в волшебную ночь, хочется расстегнуть штаны и помочиться на головы всех королевских вельмож».

Бальзак дважды прочел написанное и спрятал листок в ящик стола. Погасив свечи, он еще долго стоял у окна, уже не глядя на небо, а утопая взглядом во тьме городских улиц, прислушиваясь к таинственным предостережениям парижской ночи.

...И когда Бальзак спал на широкой кровати, разметав руки, сквозь сон слышал он гул далеких суровых шагов. И вскоре он увидел сотни людей, тысячи, десятки тысяч, многоголосых, как море, с красными флагами в руках; впереди шли женщины, прекрасные и гневные, высоко над головами они несли детей, и дети тянулись вверх ручонками к солнцу, закрытому тучами...

За углом дома он узнал согбенную фигуру Госселена. Издатель пальцем манил к себе Бальзака и, расстегнув полы пальто, показал живот, обложенный тугими пачками кредиток. И когда он подошел к Госселену, то увидел, что под пальто был не Госселен, а фигура из пачек банкнот, и ноги были из кредиток, и туфли, и руки, и только голова была Госселена, а когда фигура заговорила, то с языка на мостовую посыпались франки.

Кошмары всю ночь угнетали Бальзака, но он мужественно боролся с ними, сквозь сон понимая, что это обманчивые видения.

Утром, впервые за неделю, он вышел на улицу.

Давно, еще в Верховне, он иначе представлял свое возвращение в Париж. Триумфальный въезд, почести и слава, газетная шумиха. Его приветствовал весь Париж.

Так казалось несколько месяцев назад. Так это могло бы быть, будь Бальзак политическим вождем, маршалом или всесильным и всевластным королевским министром, дающим народам исторические декреты и творящим новые благотворительные законы. В карету впряглись бы его сторонники и ввезли бы ее в Тюильри. А пока что пара гнедых трясла его по аллеям Булонского леса. Оголенные деревья и скучная зелень между ними возвращали его мысли к земле, низвергали мечту с заоблачных высот. Бальзак приказал кучеру возвращаться. Он сидел, одинокий и взволнованный, в углу кареты, глядя в окно на пустынную аллею.

Прямо из Булонского леса он поехал к своему другу Лоран-Жану. Друг, или, вернее, приятель и советчик, мог успокоить его. Карета остановилась у щегольского высокого дома. Он быстро поднялся на крыльцо и позвонил. Ему долго не отворяли, и он позвонил еще раз. Наконец ему открыли. Швейцар узнал Бальзака и низко поклонился.

— Господина нет дома.

— Хорошо, я подожду его, — сказал Бальзак, поворачиваясь к швейцару спиной, чтобы ему было удобнее снять пальто.

— Он уехал отсюда, мсье!

Бальзак удивленно пожал плечами.

— Куда?

Швейцар в одно мгновение очутился подле него:

— В городе неспокойно, и мой хозяин решил переждать это время в провинции, у своего приятеля.

В глазах швейцара Бальзак уловил неприятный блеск. Было похоже, что он рад бегству своего господина.

— Жаль, жаль. Ну что ж, прощай! — Бальзак бросил швейцару в руку экю и медленно пошел к выходу. Открывая ему дверь, швейцар, словно издеваясь, спросил:

— А мсье не собирается выехать, простите за любопытство?

— Зачем?

Бальзак остановился, переступая порог.

— Говорят, революция, говорят... Да, такое плетут, страшно сказать.

Бальзак достал из кармана еще монету и бросил швейцару. Тот ловко схватил ее на лету и сразу стал необыкновенно разговорчив.

— Говорят, будут бить буржуев.

— Возможно, — засмеялся Бальзак и, уже выйдя за дверь, не оглядываясь, добавил:

— Если надо, то будут бить.

Сбитый с толку швейцар застыл на пороге.

Бальзак приказал кучеру ехать к Жирардену, но оказалось, что и тот отбыл из Парижа. Тогда ему пришла мысль навестить графиню Висконти.

Узнанный лакеями, он свободно прошел длинную анфиладу комнат, взглядом ловя отражение своей фигуры в зеркалах. Те же картины на стенах, та же мебель, те же тяжелые бархатные портьеры. Наконец он остановился в небольшой, хорошо ему знакомой гостиной.

Слух о его приезде опередил его. Ему навстречу шла графиня Висконти. Он низко поклонился ей и поцеловал протянутую тонкую руку, остро пахнущую ландышем. Они сели на небольшой диван, и перед ними на столике поставили кофе — для него, легкое, прозрачное вино — для нее.

Графиня откровенно разглядывала Бальзака. Они молчали, вспоминая прошлое, по-своему оценивая друг друга. Все то, что было, он не мог назвать любовью, но приятная боль пронзила сердце, когда он увидел словно выточенное из мрамора лицо графини, проникновенные серые глаза и красивые губы.

Ему вспоминались бесчисленные вечера в этой комнате, через которую она его вводила в высший свет, так заботливо, как мать ведет ребенка. Он не говорил ей страстных слов признания, он склонял перед ней колени, целовал ее губы и чувствовал, что она хотела этого. Разве не она рисовала ему привлекательные и заманчивые удовольствия высшего парижского общества, разве не она говорила ему:

— Онорэ, найдите себе жену с миллионным состоянием и знатным именем, тогда никто не осмелится сомневаться в вашем происхождении и вы станете признанным писателем.

Она была искренна с ним тогда и верно угадывала

его желания, а угадав, подталкивала и советовала. Разве за одно только это не заслуживает она всеобщего уважения и почтения?

И вот они сидят и молчат в этой же комнате, оба наполненные волнующими думами и переживаниями. Но он вспоминает и другое. Вспоминает острый, неприятный взгляд, когда Бонвиль смеялся над его словами о «Человеческой комедии», и она тоже осуждала его. Все спуталось. Он был словно в водовороте, и грезилось, что он слышит бешеный шум воды.

— И вот вы снова в Париже, мсье Бальзак, — наконец проговорила графиня, — я очень рада вас видеть. Могу ли я поздравить вас с женитьбой? Я даже уверена...

— Простите, — он перебил ее, словно боялся принимать поздравления, — но пока нет, я еще не женат.

Она ничего не сказала. Налила ему в чашку кофе. Попросила пить. В голосе ее он уловил едва заметную мягкость. Можно было подумать, что графиня Висконти рада, что он не женился.

— Я много слышала о вашей нареченной, — добавила она погодя, — говорят, Эвелина Ганская — красавица и пользуется вниманием самого императора Николая. — Это можно было понять как намек. Не спеша рассеять его, графиня, помолчав, сказала: — Я думаю, вы не поняли неправильно моих слов?

В знак согласия он кивнул головой.

— Вы будете в среду на «Севильском цирюльнике»?

— Жаль, я не смогу. Я завтра уезжаю из Парижа.

— Как, и вы бежите? — у него непроизвольно вырвалось это слово. Она улыбнулась почти искренно.

— Нет, не бегу. Просто некоторое время пробуду в своем поместьи, пока тут не погаснет пожар.

— Вы думаете, он будет? — Он спросил это с тревогой.

— Непременно. Будет разыграна чудовищная комедия, Онорэ, даже вы не могли бы придумать такой.

Он ужаснулся. Холодные слова, — даже больше — безжалостные, — какими говорила графиня о будущей революции, испугали его. Графиня угадала это.

— Не бойтесь, Онорэ, и не удивляйтесь. Послушайте, — голос ее стал жестким, словно она ломала льдинки и рассыпала перед ним на столе, — послушайте — сначала будут демонстрации, юридические переговоры, чернь

из предместий придет в наши кварталы, она прогонит короля Людовика-Филиппа из Тюильри, но ее обманут адвокаты; потом на смену адвокатам придет генерал Кавеньяк. О нем говорят много плохого, он немилосердный и жестокий. Все будет восстановлено, только другие депутаты будут заседать в палате, и в правительстве будут новые министры, а чернь снова загонят в предместья. Тогда я вернусь в Париж, и мы с вами поедем к итальянцам, — весело закончила графиня, — так, не правда ли, Онорэ?

Он ничего не ответил ей. Что мог возразить он на такой неслыханный цинизм? Но в то же время он не мог не восторгаться проницательностью этой женщины.

Он молчал, охваченный лихорадочными мыслями, теряясь в предчувствиях, едва сдерживая гнев, нарастающий в нем. Разве не он долгие годы, как крот, копался в мансардах, в наглухо запертых комнатах, над своими рукописями, а потом надевал шутовской наряд и потешал салонную публику. Разве не он с улицы Ледигьер принес в свои творения любовь к жизни и жажду света. Еще минута молчания, и он сказал бы Висконти:

— Нет, мы не увидимся с вами, уважаемая графиня, вы больше не будете в Париже, а на Гревскую площадь поведут вашего прославленного генерала Кавеньяка.

— Может, вы не решились выбрать себе место, Онорэ? — вдруг спросила графиня. — Не надо. Они, — она показала рукой на запад, где ютились жилища парижской бедноты, — не интересуются литературой. Им нужен хлеб. Понимаете, хлеб! И как бы вы ни хотели быть там, вы будете с нами. Слышите, Онорэ? И я предлагаю: садитесь утром в мою карету и поедем ко мне. В моем замке высокие стены, они на время отгородят нас от комедии. Я советую.

Он не отвечал. Ему предлагали бегство. Может быть, графиня и права. Одну минуту он сам так думал. Зачем оставаться в опасности?

— Имейте в виду, — продолжала дальше Висконти, — ваша нареченная предложила бы то же самое.

Графиня говорила правду. Он не нашел в себе мужества отклонить ее предложение. Сказать «нет» он не отважился, вместо ответа он уклончиво проговорил:

— Спасибо за приглашение. Я подумаю.

Ссылаясь на нездоровье, Бальзак быстро простился, обещая вечером сообщить о своем окончательном реше-

нии. Но вечером он ничего не написал графине. Запершись в спальне, он лег, не раздеваясь, в постель и заснул, тяжело вздыхая во сне, искал возле себя что-то беспокойными руками.

Он проснулся от крика над самым ухом. Франсуа тряс его за плечи, толкая в бок, кричал:

— Сударь, проснитесь! Проснитесь, сударь! — Но, когда он в самом деле проснулся, то увидел, что комната пуста.

— Приснилось, — проговорил он вслух, но в то же мгновение тишину парижской ночи разорвала беспорядочная стрельба, и сразу ночь за окном заговорила криками, выстрелами, шумом шагов.

В эту минуту король Франции Людовик-Филипп бежал, окруженный конной стражей, в Сен-Клу.

Париж восстал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

В этот день на улице Фортюне, в небольшом красивом доме, окна плотно были закрыты шторами. Похоже было, что хозяин проявил осторожность и уехал из города. Каштаны, раскачиваемые ветром, приветствовали многочисленную толпу, которая, словно река, неудержимо лилась тихой улицей Фортюне мимо крепко запертого дома.

Проехал рысью отряд кирасиров, размахивая оголенными палашами. Прохожие бросились на тротуары. Лица всадников были сердитые, окаменевшие.

— Да здравствует республика! — крикнул кто-то в толпе.

И вся улица ответила, и все стали кричать во весь голос, размахивая руками.

— Да здравствует республика!

— Долой короля!

— Долой Гизо!

Кирасиры уже исчезли за углом, но крики не стихали. Они усиливались.

Алые флаги колыхались над сотнями голов, с белых

длинных плакатов рвались в воздух короткие, как выстрелы, зовущие слова:

«Свобода! Равенство! Братство!»

Сквозь узенькую щель в шторе наблюдал Бальзак неудержимый людской поток. Возбужденные лица жителей предместья волновали его. Пересохшими губами он читал надписи на плакатах. Громкие крики на улице в честь республики, как пушечные выстрелы, пробивали стены дома. Они наполняли комнату властным гневом. Он проникся ими. Невольно, сам этого не замечая, Бальзак беззвучно, одними губами вторил им.

Франсуа был здесь, рядом с ним, в комнате и немножко взволнованно присматривался к тому, что творилось на улице.

— Плащ! — бросил Бальзак, рванувшись к двери.

Он оттолкнул слугу, вставшего перед ним на пороге, и, тяжело дыша, откинул засов на двери, старательно прилаженный Франсуа. Ему показалось, что он никогда не откроет этот проклятый замок, что он так и останется навек в этой темной прихожей, а рядом с ним, за этими дверями, будет клокотать победоносная жизнь. Бешеные перебои сердца даже испугали его. Страх остаться в одиночестве придал ему силы; он рванул железный засов и ногой толкнул тяжелую дубовую дверь. Теперь ничто не ограждало его от мира. Он был на улице.

Боясь опоздать, Бальзак бегом бросился за толпой. Одну минуту он был последним, но вскоре увидал за собой море голов.

— Куда? — спросил он человека в синем комбинезоне, бежавшего рядом с ним и державшего на руках ребенка.

Тот удивленно взглянул на дородного приземистого буржуа, но весело ответил:

— К королю в гости. Приветствовать его с днем падения королевства.

Человек смеялся на бегу, искоса поглядывая на Бальзака, и тот, покоряясь необъяснимому желанию, тоже засмеялся. Вокруг него, впереди, сзади, с боков раздавались тяжелые шаги. Он узнал стук деревянных подошв кожевников и судостроителей, он впитывал всем существом своим победоносные крики в честь республики, и когда толпа, словно штормовой вал, выплеснула

его на Тюильрийский бульвар, прижав к железной ограде, он вместе с тысячами людей кричал:

— Да здравствует республика! Долой короля!

Это был бред, бред. Невиданное безрассудство. Он двоился и боялся самого себя. Уже в следующую минуту наступило раскаяние. Оно родилось, как только руки его коснулись железных сплетений ограды, как только глаза запечатлели в памяти на всю жизнь широкие порталы Тюильрийского дворца, суматоху на площади и страшную растерянность, граничащую с потерей разума.

Тогда он словно проснулся. Из толпы снова вынырнул и остановился рядом с ним человек в синем комбинезоне. Он крепко прижимал ребенка к груди и с ласковой улыбкой, как старого приятеля, приветствовал Бальзака.

— Почему остановился, товарищ? — толкнул он его кулаком. — Устал? Скорее во дворец, там отдохнем в королевских покоях. Скорее!

Ребенок на руках заплакал. Рабочий поднял его над головой и, не сдерживая радости, закричал:

— Смотри, Эжен, смотри, сынок, как народ идет низвергать королевский трон! Вперед, товарищ! — подгонял он Бальзака и побежал за толпой, ворвавшейся уже за ограду королевского дворца. Бальзак вытер горячей рукой мокрый лоб. Лихорадка трясла его. Закрыл глаза, призывая действительность, жалея, что это не сон. Еще крепче ухватился руками за ограду. Тут на клочечках земли Тюильрийского бульвара, вцепившись руками в железные сплетения ограды, он чувствовал себя, как на спасительном островке. Неистовая буря проносилась мимо. Это было минутное воображение, и утешения оно не дало. Вдруг мысль, сверкнувши подобно молнии, заставила его оторвать руки от ограды. Он оттолкнулся от нее, как от берега, и стремглав нырнул в зыбкую разбушевавшуюся массу грозной толпы.

В ночь на 24 февраля 1848 года король Франции Луи-Филипп отрекся от престола в пользу своего старшего внука, графа Парижского, который должен был править под регентством герцогини Орлеанской. Палата заседала всю ночь, и уже казалось, что после принятия отречения короля кончатся народные волнения.

В ту самую минуту, когда палата хотела утвердить

закон о регентстве, в зал заседания ворвались гвардейцы и вооруженные рабочие.

Поэт Ламартин, Луи-Блан и рабочий Альберт были впереди. Те, что должны были утвердить закон о регентстве, провозгласили Францию республикой.

Вторая республика начала свое существование.

Король в простой карете, едва захватив свою многочисленную семью, бежал в Сен-Клу. Следом в коляске мчался Тьер. Гизо прятался, читая молитвы, надеясь на помилование.

За спиною Ламартина, Луи-Блана и Альберта, за спинами вооруженных рабочих и гвардии стояли финансисты Парижа. Они радовались поражению монархии, но не настолько, чтобы быть довольными требованиями жителей предместий. Они проявили много такта, не вмешиваясь непосредственно в ход событий, пока не провозгласили республику, но затем невидимой паутиной обвили они Люксембургский дворец, и установление нового временного правительства было заключительным актом народной трагедии.

Народ Франции вторично был обманут. В правительстве Второй республики главенствовали: премьер — адвокат Дюпон и министр иностранных дел — поэт Ламартин, за их спиной стояли финансисты, биржевики и собственники производств. Адвокат и поэт с балкона Люксембургского дворца, чередуясь, произносили перед народом пламенные речи. Тем временем национальные гвардейцы по приказу министра внутренних дел Ледрю-Роллена разбирали баррикады и незаметно обезоруживали рабочих.

Бывший премьер Гизо мог спокойно спать в своем кабинете.

В Сен-Клу Тьер, склонившись над столом, при скудном свете писал письмо генералу Кавеньяку. Взволнованные слова лились на бумагу неудержимым потоком. Спешила рука и нервно дрожал подбородок, признаки крайней взволнованности королевского министра.

Перед его глазами мелькало важное, холодное лицо Луи-Филиппа, его самодовольство и ограниченность раздражали Тьера и сейчас. Он бросил перо, не в силах продолжать письмо. Закрыв лицо руками, он вспоминал смешную и жалкую сцену во дворце, дрожание королевской руки, когда он подписывал отречение, истерический плач королевы, суматоху в коридорах.

— Какой позор! Какое бесчестие!

Он оторвал руки от лица, схватил перо и продолжал писать с еще большей поспешностью. Это было ясное и длинное письмо. И когда оно было написано, он дважды прочел его, и после второго чтения к нему вернулось чувство успеха. Это предчувствие кое-что значило. Он положил письмо в конверт, маленький и невзрачный с виду, и позвонил. Тьер оглянулся, словно проверяя свое одиночество в этой комнате. Да. Вокруг никого не было. Однако ему померещилось в темном углу у камина сплюснутое, с седыми обвислыми усами, встревоженное лицо генерала Каваньяка.

Но это продолжалось минуту. Сразу он убедился, что в углу у камина никого нет.

В далекие осенние дни давно прошедшего года, в грязной мансарде на улице Ледигьер Бальзак мечтал, что войдет в маршальский зал Тюильрийского дворца в белых шелковых чулках, с бриллиантовыми застежками на туфлях; он представится королю, как могущественный пэр Франции, и в две шеренги по обе стороны трона будут стоять почтенные царедворцы, проникнутые уважением и завистью. Он преклонит колени перед королем, и тот милостивым движением руки прикажет ему подняться. Король обведет придворную аристократию взволнованными от счастья глазами и скажет:

— Вот, господа, тот человек, который кое-что прибавил к славе Франции своими творениями. Уважайте господина Онорэ де Бальзака (подчеркивая «де», чтобы никто не посмел сомневаться в его дворянском происхождении), он продолжил и завершил дело великого Наполеона.

Эту заветную мечту, ставшую похожей на болезненное видение, он носил в своем сердце как драгоценнейший в мире клад и свято охранял от людей. Единственному человеку, своей первой возлюбленной Лауре Берни, доверил Онорэ тайную грезу и нашел отклик в ее душе.

Крестница короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, Лаура Берни, женщина сорока четырех лет, мать восьмерых детей, давшая ему наслаждение лучшей и первой любви, поняла его мечту и одобрила ее.

Она показала мечтателю с улицы Ледигьер золотой медальон с прядью волос королевы Марии-Антуанетты,

присланный королевой ее отцу, перед тем как она взошла на эшафот.

С трепетным волнением рассматривал Онорэ медальон.

...И вот он, Онорэ, в маршальском зале. Мечта, двадцать восемь лет назад волновавшая его в полутемной мансарде дома № 9 по улице Ледигьер, сбылась. Он остановился в прославленном маршальском зале королевского дворца. Впервые видели зеркала этого зала такую толпу и впервые увидели в них свое отражение обитатели Сен-Антуанского предместья. Вместе с ними, словно занесенная ветром песчинка, вскочил Бальзак в Тюильрийский дворец.

Может, непреодолимая жажда видеть все, запечатлеть в своей памяти волнующую действительность, лихорадочные выкрики и слова привели его сюда. Он остановился у колонны недалеко от входа в зал и блуждающими горящими глазами оглядывал величественный зал, скрестив на груди руки. Бальзак уже не замечал вокруг себя взволнованной толпы. Его глаза увидели в конце зала под голубым балдахином высокое золоченое кресло, обитое пурпурным бархатом, — королевский трон, — и уже не могли оторваться.

Действительно, это был трон. Он не ошибся. Облизывая языком пересохшие губы, сдерживая прижатыми к груди руками перебои встревоженного сердца, Бальзак рассматривал королевский трон, проникаясь благочестивыми мыслями об этом золоченом пустом кресле. Четыре ступеньки, покрытые пурпуром, вели к нему, только четыре ступеньки.

Его узнали. Быстрый шепот коснулся десятков ушей. Он долетел до актера Монроза, который играл в его «Квиноли», и удивил актера.

— Бальзак!

— Смотрите, писатель Бальзак.

И люди передавали слова о его присутствии в маршальском зале как эстафету, знаменующую счастье и радость. Он тоже услышал эти слова, но уже произносимые более громко, и другие мысли горечью своей отравили его еще неродившуюся радость от неожиданной славы. Там, на далеком севере, станет известно его появление в тронном зале в толпе черни, пришедшей низвергать трон, и будут ли северная Атала — Эвелина и ее повелитель довольны этим? Решение возникло само собой. Оно

вылилось в знаменитую фразу, сразу облетевшую все салоны Европы и долетевшую до всероссийского самодержца, вызвав на его губах злорадную усмешку.

Бальзак с отвращением сделал шаг прочь от колонны, точно оттолкнулся от позорного столба. Толпа раскололась перед ним на две половины. Она дала ему дорогу. Узенькая дорожка вилась перед ним к трону.

— Господин Бальзак! — выкрикнул кто-то за его спиной. Он оглянулся.

Актер Монроз протискивался к нему.

— О, мэтр, вы здесь!..

Монроз стал обнимать его, целуя в щеки. Впереди толпа сомкнулась кольцом. Прозвучал удар секиры. Королевский трон пошатнулся и упал. Десятки рук подняли его над толпою. Голубой балдахин, словно раненое животное, в корчах колыхался на штыках винтовок.

Бальзак оттолкнул от себя Монроза. И так, чтобы услышали все, он во все горло, чужим голосом прокричал:

— Я пришел сюда, господин актер, чтобы взять кусочек бархата с королевского трона...

Его услышали. И шум вокруг стал стихать. Монроз отмахнулся от него руками, глазами, всем телом. Наступило холодное и тревожное молчание. Бальзак резко повернулся и пошел прочь из маршальского зала.

Впереди него колыхался пурпурный трон Людовика-Филиппа и корчился на штыках голубой балдахин. Бальзак шел медленно: словно согбенные тяжестью, опустились плечи, словно чужие ноги несли его тяжелое тело, чужие мысли тревожили мозг, только сердце было все то же — неспокойное, горячее.

Люди с праздничными лицами бежали по площади Бастилии. Они обгоняли понурого, постаревшего Бальзака, оставляя за собой отзвуки призывных слов. Из них он понял, что на площади Бастилии будут жечь королевский трон. Бальзак свернул на улицу Фортюне.

...На площади Бастилии сожгли трон ненавистного монарха. Могучие крики в честь революции, свободы, равенства и братства грозно гремели над Парижем до глубокой ночи. От границ Франции в Брюссель, Берлин, Лондон, Санкт-Петербург мчались экстренные курьеры. (Опережая их, летела людская молва).

Прусский король Фридрих-Вильгельм IV приказал призвать в армию резервистов и запретил все социали-

стические газеты. Виктория Английская приказала на всякий случай приготовить темницы для свободолюбивых. Николай I Романов ударил кулаком по столу, и за стенами Петропавловской крепости подняли на виселицу сорок мужественных защитников народной воли, и по этапу в Сибирь пошло еще несколько тысяч вольнодумцев.

Вторая республика взволновала Европу.

Она не прошла и мимо Бальзака. Он сам вышел ей навстречу — и ошибся. А теперь ждал ее появления в своем доме на улице Фортюне. Он знал, что она непременно придет. И даже страшился этой минуты. Ожидания сбылись.

Вторая республика на улицу Фортюне явилась в образе таинственного человека в черном плаще. Лицо его скрывала маска. Высокий капюшон низко закрывал лоб. Он оттолкнул Франсуа и запер дверь кабинета. Свертком бумаги, который он достал из кармана, человек заткнул замочную скважину. Потом он прижался ухом к двери и, убедившись, что там никого нет, сбросил капюшон и маску.

Перед растерявшимся Бальзаком стоял Ламартин. Они крепко пожали руки и несколько секунд стояли молча, заглядывая друг другу в глаза, обновляя в своей памяти осколки прошлого. Им обоим вспомнилась встреча в салоне г-жи Жирарден. Там после оперы собрались Гюго, Готье, Эжен Сю, Альфонс Карр и несколько малоизвестных рецензентов и журналистов. Ламартин поразил тогда своим спокойствием, удивительным равновесием и достоинством, с которым он принимал заслуженные высокие похвалы. Бальзак стоял у мраморного камина, когда Ламартин вошел в зал. Тот сразу подошел к нему, крепко пожал руку и сказал несколько слов, выражая уважение к прекрасным творениям. После этого вечера было еще несколько встреч. Было взаимное уважение, дружеская откровенность, взаимное понимание. Дружбы, однако, не было.

Ламартин, не ожидая приглашения, сел. Бальзак сделал то же. Казалось, прошло достаточно времени, чтобы начать разговор. Как ни старался Бальзак, но угадать причину появления Ламартина не мог. Тот, наклонив голову, смотрел на Бальзака исподлобья. Словно изучал его замкнутое лицо. Словно искал каких-то изменений или старался прочесть мысли. Память воскресила коре-

настого, сильного человека у мраморного камина в салоне г-жи Жирарден. Огненный блеск глаз, ясное чело, каштановые волосы, спадавшие на лоб прядями, полные розовые щеки, красивый нос, руки, каждым движением выражавшие необычайную энергию. Уста произносили слова, и руки поднимали их, давали им силу, бросали вперед, словно метали диски, и всегда попадали в цель.

Ламартин видел перед собой другое лицо. Он подумал: «Бальзак может прийти к тому же выводу, приглядевшись к нему».

— Дорогой Онорэ, — начал Ламартин, положив тонкие руки с длинными пальцами на ручки кресла, — вы сегодня были в маршальском зале?

Бальзак удивленно кивнул головой.

— Не удивляйтесь. Новое правительство знает все. — Он немножко приподнялся в кресле и, сбрасывая с себя внешнее спокойствие, взволнованно сказал: — Я пришел к вам не только как коллега по перу, поэт Ламартин прибыл к вам как министр нового правительства...— и он рассказал Бальзаку все, что стало лозунгом дня, медленно перечислил знакомые фамилии членов временного правительства.

Пророчество графини Висконти испугало Бальзака. Во главе правительства стоял адвокат. Он не перебивал Ламартина. Странная неподвижность овладела им.

— Дорогой Онорэ, всю жизнь вы хотели славы. Не протестуйте. — Он заметил робкий кивок головы Бальзака. — Это так! Слава не давалась вам, такая, настоящая, какой вы желали. В наше время она приходит через политику. Этот час настал и для вас.

Выходило, что Ламартин явился к нему с каким-то предложением. Сердце взволнованно забилось. Он понял, что надо что-то сказать. Единственное, что удалось ему, — это дрожащим голосом проговорить:

— Когда-то, лет двадцать пять назад, господин Ламартин, в мансарде на улице Ледигьер, номер девять, в моей пылкой голове вспыхнул пожар, который никто не мог угасить...

Он перевел дыхание и, жалея, что Ламартин не перебил его, продолжал говорить дальше:

— Этот пожар зажгла прекрасная женщина, которой я, к сожалению, еще не узнал. Говорят, что она жи-

вет на улице Четырех народов, в конце моста Мира, и имя ее «Слава».

Бальзак грустно кивнул головой. Искренние слова ничем не оправдались. Он проявил свою слабость без всякой надобности.

— Зачем вы пошли в маршальский зал? — спросил Ламартин, не отвечая на его откровенность.

— Кусочек бархата с королевского трона... шагреневую кожу... — зло проговорил Бальзак и впился глазами в сухое лицо Ламартина.

Он ждал иронической усмешки на скорбных губах или насмешливых слов. Надежда не оправдалась. Ламартин молчал.

— Вы понимаете, Ламартин? Шагреневую кожу.

Ламартин молчал, это было самое обидное.

— Шагреневой кожи я не нашел. — Бальзак смолк.

Казалось, что он мелет вздор.

— Онорэ, — Ламартин сказал это от души, — я хотел, чтобы вы верно поняли меня. Слава в наше время — не фея. Она живет не на улице Четырех народов в конце моста Мира, она живет теперь в Люксембургском дворце.

Ламартин поднялся с кресла. Не отходя от него, он заговорил:

— Приходите к нам, мсье Бальзак, будьте сторонником республики, портфель министра просвещения во временном правительстве ждет вас, а затем депутатское кресло в национальном собрании. — Ламартин подумал: «Я победил. Бальзак будет с нами. Либеральная мысль Европы оценит это в нашу пользу».

Вначале Бальзак решил, что это ошибка. Неужели ему предлагали портфель министра? Неужели г-жа Слава завернула к нему сама? Вот она берет его за руку и почтительно ведет рядом с собой. Он даже увидел: Эвелина рукоплещет ему. Но зловещий голос, тот, который всю жизнь мучил его, который всегда поднимал его на бой за этим письменным столом в бессонные ночи, и сейчас незаметно проник в сердце и заставил его встать с кресла и бросить прямо в лицо Ламартину слова, сбившие того своей проницательностью и уничтожившие все мосты для отступления самого Бальзака.

— А потом на смену нам придет генерал Кавеньяк, и те, что радовались на площади Бастилии, станут трупа-

ми. Нет, господин Ламартин, я не могу принять ваше предложение.

Поэт и министр Ламартин молча взял со стола капюшон. Он завернулся в плащ и надел маску. Таинственно втягивая голову в плечи, он вынул бумагу из замочной скважины, взял с гвоздя ключ, отомкнул дверь и, переступив порог, исчез за ним, как черное привидение.

Откинув штору, Бальзак увидел, как министр сел в закрытую карету. Шесть всадников окружили ее. Кучер ударил лошадей. Колеса застучали по мостовой. Одинокая искра вырвалась из-под копыт последнего всадника охраны министра.

«Шагреневая кожа — плод возбужденной мысли, эфемерия», — подумал Бальзак, опуская штору, и, уже не скрывая удовольствия, произнес вслух:

— Вы ошиблись, поэт Ламартин. Все-таки адрес г-жи Славы — улица Четырех народов, вблизи моста Мира.

Он прошел в спальню, разделся и с наслаждением лег в кровать. Только голова склонилась к подушке, как он заснул крепким, спокойным сном, впервые за неделю пребывания в Париже. И в эту ночь сны не волновали его, минули его фантастические видения. Весенний, веселый дождь стучал в стекла. Тяжелые тучи собирались над Парижем.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

Так шли дни, и не было им числа, бескрасочным, однообразным и удивительно пустым. Бальзак писал письма, полные надежд на лучшее будущее, и снова поверял волнения сердца Эвелине. Он ждал от нее ответа, и это ожидание все время держало его в большом напряжении.

Париж жил своей жизнью, своими заботами и тревогами, и в эти дни он отмежевывался от города, пробудившего в нем горячие надежды и бывшего причиной кристальной чистоты его таланта. Он стал чужим человеком в когда-то знакомых и родных кварталах, не вмешиваясь в политику и пренебрегая славой.

На бульварах уже цвели каштаны и опала сирень. Серое облако пыли висело над Парижем.

Однажды на улице Пасси Бальзак купил у крестьянки пышный букет полевых цветов; опуская на черную, потрескавшуюся ладонь монету, спросил ее, довольна ли она республикой. Крестьянка, не стесняясь его, подняв юбку, спрятала деньги в чулок, а затем презрительно махнула рукой.

— Черт с ней, с этой республикой, когда господа остаются господами.

Отходя от крестьянки, Бальзак приподнял шляпу над головой, поклонился, словно прощался с знатной маркизой.

В этот день он написал письмо Эвелине. «Моя душа с вами, — писал он, — и сердце мое с вами; я жажду быть с вами в тишине и спокойствии вашей чудесной Верховни».

Такое искреннее признание должно было быть вознаграждено. Он ждал. Среди волнующих дум мелькнула одна — о скрипаче Мусии. Она долго не оставляла его. В старинном, прославленном магазине он выбрал дивную скрипку старой итальянской работы и приказал приготовить для нее дорогой футляр.

В один из майских дней скрипка в черном футляре появилась в доме на улице Фортюне и заняла почетное место в одном из книжных шкафов.

Скрипку увидел у Бальзака писатель Шанфлери и удивился:

— Мэтр, неужели и этим чудесным инструментом владеете вы?

— К сожалению, нет, мой друг. Это подарок на Украину.

— Вы собираетесь туда?

— Непременно. Как только пройдет премьера «Мачехи», я выеду из Парижа. Мне нечего здесь делать. Париж не для меня, мой друг Шанфлери.

Разговор с Бальзаком не мог не вызвать трепета в сердце молодого писателя Шанфлери, тем более, что учитель называл его «мой друг». Вытягиваясь в кресле, подобрав под него ноги в стоптанных туфлях, Шанфлери все время проверял, хорошо ли застегнуты пуговицы поношенного зеленого сюртука, не выбилась ли недостаточно свежая сорочка.

Шанфлери чуть не дрожал от волнения и радости. Едва переводя дыхание, широко раскрыв глаза, он ловил каждое слово Бальзака.

Кутаясь в широкий шерстяной халат, Бальзак глядел на взволнованное лицо молодого писателя. Ему нравился благоговейный взгляд, которым тот смотрел на него. Он видел его покрасневшие веки. Это хорошая примета. Молодой писатель не спит по ночам. Словно подтверждая его догадку, Шанфлери рассказывал о своих планах на будущее. Горячо рассказывал Бальзаку о книжках, которые непременно напишет... Внимание Бальзака окрыляло фантазию, оно поднимало Шанфлери.

— С богом, — слышит он благословляющие слова мэтра, — вы похожи на меня, молодой коллега.

От этих слов за плечами Шанфлери вырастают крылья. В эту минуту он высоко под облаками сражается с могучими орлами.

— Это хорошо, что вы такой горячий, — говорит Бальзак, — это прекрасно. Жаль, что в наше время мало таких молодых людей, — сетует он.

— Я мог бы рассказать вам про свои бессонные ночи...

Шанфлери с мольбой смотрит ему в глаза.

— Не стоит, — отнекивается Бальзак. — Единственное, что хочется сказать вам, мой друг, это — учите язык. Немногие, даже прославленные, знают его. Чьи имена я могу добавить к именам Гюго и Готье? — Бальзак задумался и через минуту, сделав отрицательный жест, сказал: — Ничьи.

— Наш труд, прозаиков, — тяжелый труд. Всю жизнь, как каторжник, прикованный к своей тачке, сижу я за этим столом, всю жизнь я не имею возможности разогнуть спину. Чтобы не умереть голодной смертью, я пишу романы. Двадцать лет по пятнадцать часов в сутки я работаю, а что это мне дает? У меня нет лишнего гроша. Я живу в этом прекрасном доме по милости чужих людей, которым он принадлежит, собственно говоря, они оставили меня здесь швейцаром.

Эти слова похожи на исповедь. Все равно, не будь здесь Шанфлери, он разговаривал бы сам с собой.

— Я советую вам писать романы и рассказы для своего собственного удовольствия. Если вы хотите заработать, — пишите пьесы, только ими можно добыть день-

ги на роскошную жизнь, которой достойны истинные художники.

С злорадством Бальзак заметил:

— Вот Ламартин прибег к политике, и ничего не зарабатывает. Что же, он нищим сдохнет на соломе. Да, впрочем, он совсем не знает французского языка.

Шанфлери сидит неподвижно, выслушивая горькие слова. Крылья за спиной опускаются. Перед ним путь, устланный не цветами, а шипами. Он пробует заговорить с мэтром о «Мачехе», но из этого ничего не выходит.

Бальзак сидит напротив, молчаливый, погруженный в свои мысли. Шанфлери понимает — время прощаться. Он осторожно поднимается с кресла и почтительно склоняет курчавую голову перед писателем. Тот крепко пожимает ему руку и любезно провожает его. У дверей Шанфлери замедляет шаг, оглядываясь на мраморную статую, изображающую мэтра Бальзака на две трети больше, чем живой человек. Ему кажется, что живой Бальзак намного лучше.

— Вы, я вижу, интересуетесь искусством, — обрадовался Бальзак, — тогда я покажу вам мою галерею.

По ступенькам ступает Шанфлери за хозяином дома. Они поднимаются на второй этаж и входят в длинную картинную галерею. На почетном месте в окружении других полотен висит огромный портрет монаха-доминиканца.

Шанфлери, не скрывая удивления, останавливается перед ним. Он не понимает, чем привлек Бальзака этот страшный монах с злым лицом, недобрыми глазами и руками, похожими на щупальцы спрута. — Зачем здесь это чудовище? — безмолвно, одними только глазами, осмеливается спросить он хозяина. Бальзак понимает этот немой вопрос; глядя куда-то вверх, выше тяжелой золотой рамы портрета, он почтительно говорит Шанфлери:

— Религия всегда будет политической необходимостью, мой друг. Разве сможете вы управлять народом, который склонен рассуждать? Чтобы запретить ему думать, надо повлиять на его чувства. Поэтому приемлемо католичество со всеми своими последствиями. Раз мы хотим, чтобы Франция ходила в церковь, разве мы не должны сами посещать ее? О, мой Шанфлери, — Бальзак бросил на него взгляд, полный уверенности, — знай-

те, что религия есть звено, которое связывает все консервативные принципы, позволяющие богатым жить спокойно, — она так тесно связана с частной собственностью! Священник и король, — это же вы и я, воплощенные интересы всех порядочных людей.

Показывая, что к этому больше не следует возвращаться, он взял Шанфлери за локоть и повел к другой стене.

— Смотрите, — показал он на раму, — это рама Марии Медичи. Даже банкир Ротшильд завидует мне.

— То, что вы до этого говорили, — робко замечает Шанфлери, — я уже где-то слышал. — Какое-то мгновение он колеблется, потом с восторгом, прикусывая палец, скороговоркой произносит: — Мэтр, это вы написали в конце «Герцогини Ланже». Неужели и вы думаете так?

Бальзак ничего не ответил. Он рассматривал раму Марии Медичи, словно впервые видел ее. Он снова взял за локоть Шанфлери и повел его в смежную комнату. Бальзак остановился перед пустой резной рамой. Наклоняясь, он сказал:

— Когда известный голландский антиквар узнал, что у меня есть рама этого мастера, он заявил, что отдаст все до последней капли крови, только бы получить половину.

Шанфлери, очарованный, оглядывался вокруг. Ему кажется, что он уже был здесь. Правда, вот эти картины в тяжелых рамах, на которых изображены тучные поля, вот люди, рыбачащие в море, вот рыцари, бешено гарцующие на конях, вот беззубый столетний дед с палкой в руках. Не слыша своего голоса, Шанфлери восторженно повторяет:

— Боже мой, да ведь это же галерея кузена Понса!

На губах Бальзака мелькает довольная улыбка. Он ведет Шанфлери дальше. Они входят в большую темную комнату, заставленную книжными шкафами. Шанфлери кажется, что он попал в царство книг.

Впоследствии, уже покидая чудесный дом, он еще выслушивает жалобы мэтра, но после всего виденного не понимает их.

Оставшись один, Бальзак думал: «Зачем нужны были жалобы? Что они могли дать? Брюзжание стареющего человека», — сделал он вывод и успокоился.

И это искусственное спокойствие длилось еще много

дней, оно удерживало его за письменным столом, оно оправдывало его одиночество в его собственных глазах. Директору исторического театра Готштейну за день до премьеры «Мачехи» он взволнованно и откровенно сказал:

— Мой любимый шеф, спектакль «Мачехи» — это будет нечто страшное... Но поймите меня правильно. Речь идет не о какой-нибудь мелодраме, где изменник поджигает дома и держит в страхе жителей.

Краснощекий Готштейн, улыбаясь, играет драгоценным перстнем на руке. Он готов был слушать всякие страхи г-на Бальзака. Ему была безразлична фантазия писателя.

— Нет, шеф, послушайте! — Бальзак стоял над диваном, на котором лежал Готштейн, широкий и грузный, взмахнул рукой, точно сжимал саблю, и, снося невидимую голову противника, горячо крикнул: — Нет, шеф. Я думаю о салонной комедии, где все мирно, приветливо. Мужчины играют в вист при свете свечей под легким зеленым абажуром. Женщины смеются и разговаривают, склонившись над вышиванием, пьют традиционный чай. Словом, во всем видны порядок и гармония.

Охваченный своими мыслями, он задумался. Готштейн, опираясь на локоть, робко попросил:

— Дальше, господин Бальзак, дальше.

— И вот над всем этим бушуют страсти, драма растет и движется до тех пор, пока, наконец, не прорывается, как пламя пожара. Вы понимаете это, Готштейн?

Бальзак торжествующе ударил директора театра по плечу. Тот упал на диван, раскинувши руки и взывая:

— Я понимаю, но к чему эти неосторожные движения.

Ни своего поступка, ни слов Готштейна не заметил Бальзак. Он отошел от дивана на несколько шагов и, останавливая жестом Готштейна, продолжал дальше:

— А после этой драмы я напишу вам, только вашему театру, Готштейн, прекрасную трагедию.

Он поднял руку и застыл так на миг, сверкающими глазами обжигая директора.

— Вина! — приказал Готштейн, поднимаясь с дивана. — Скорей вина!

— Подождите, — говорил тихо Бальзак, опуская ру-

ку и показывая глазами Готштейну на диван. — Одну секунду подождите. Вина? Вы хотите пить? Хорошо, это будет потом.

Он говорил тихо, как заговорщик, и, приложив палец к губам, таинственно озирался.

— Это будет трагедия, Готштейн, — проговорил он, садясь возле директора на диван.

Он встряхнул головой, и волосы рассыпались по плечам.

— Страна, откуда я приехал, ее обычаи и люди, ее степи и просторы, ее простота и сложность подсказали мне эту трагедию. Слушайте, господин шеф!

Директор сосредоточенно слушал.

— Русский император Петр I и его жена Екатерина — вот великая драма в шекспировском духе, дополненная неслыханной роскошью костюмов и декораций. Она раскроет историю Петра I и его жены. Сцена опалы и смерти его сына, взятие в плен великого визиря на Пруте, коронация Екатерины — это захватит внимание всего Парижа.

— Разве только Парижа? — задумчиво заметил Готштейн.

Бальзак, словно говоря сам с собой, продолжал, не откликаясь на лестный возглас директора.

— Мне кажется, что я начинаю понимать драму Петра и Екатерины. Она должна показать борьбу императора со всем окружением — с женой, сестрой, сыном, духовенством, с народом. Это не легко будет сказать в драме. Но надо побороть все трудности.

— Вы победите непременно! — воскликнул Готштейн.

— Вы думаете? — недоверчиво спросил Бальзак.

— Я убежден, — не успокаивался директор.

— А я нет, — Бальзак сказал эти слова только из протеста, он ни на секунду не думал, что они сбудутся в будущем. Он ошибся.

Они с Готштейном распили бутылку вина и нашли утешение в воспоминаниях о старых знакомых. А ночью, словно безумный, он писал письма сестре Лауре, Эвелине, Лоран-Жану, до утра ходил по комнате, сжатый оковами тяжелых, неясных дум.

Лицо Ламартина было перед ним как укор и в то же время как призрак. Он отгонял его от себя, как страшное видение, а все-таки оставался с ним наедине. В эти

минуты ему хотелось прочь из Парижа, в далекие украинские степи, в сказочную Верховню, чтобы снова качаться по битому гетманскому шляху, снова плыть в таинственное, неизвестное. Память воскресила горы перевернутых чемоданов на Радзивилловской таможне, туфлю в руках очаровательной Эвы, которой она била по голове горничную Марину, хищное лицо Кароля Ганского, слепого старика на Киевской ярмарке, тупую покорность верховненских крепостных, — весь этот страшный ад плыл и менялся перед его глазами. Он упал в кресло, обессиленный и разбитый. Он чувствовал себя загнанным в тупик, из которого нет возврата. Так кончалась его свобода, так таяла его мечта в душную парижскую ночь, накануне премьеры «Мачехи».

А на самой премьере Бальзак сидел в ложе, незаметно кусая пальцы, и ему казалось, что перебои его сердца слышит весь партер. Он вслед за актерами повторял свои слова, и когда после второго акта весь зал и актеры стали вызывать автора, он испуганно оглядывался, словно автор сидел где-то позади, в ложе, в темном углу, и не хотел выходить. И когда ревностный директор Готштейн, подталкивая, вывел Бальзака на сцену, и рукоплескания усилились, и Бальзак остановился у освещенной рампы среди актеров, он почувствовал, как спокойствие и уверенность наполнили его.

Тогда, не смущаясь уже, он всматривался в темное чрево театрального зала, глаза его бегали по лицам женщин и мужчин, точно искали среди них кого-то и не находили, только в правой ложе увидел Теофиля Готье, довольного и улыбающегося, славного, доброго Тео, хлопающего в ладоши и что-то говорящего на ухо какой-то красавице.

Зал безумствовал и дрожал от рукоплесканий, от выкриков в честь автора и актеров. И все-таки Бальзак почувствовал на одно мгновение, и его было достаточно, незримую и непонятную глухую вражду между собою и партером. Гораздо позже он понял. Зрители не могли платить ему любовью за безжалостность его пера.

Аплодисменты не смолкали. Он низко поклонился зрителям и, пожав руки актерам, пошел со сцены, удивляясь и страшась своей душевной пустоты. Встревоженный поведением Бальзака, Готштейн побежал за ним.

— Что за причуды? — ругался про себя директор. —

Сколько раз он проваливался в театре, неужели первый успех не окрылил его?

Но успех, даже к удивлению самого Бальзака, не веселил. Ни в ночь после премьеры, ни после восторженной статьи Теофиля Готье о спектакле он не почувствовал желанного и истинного наслаждения.

Правда, он написал Эвелине и вложил в конверт вырезки из газет с похвальными рецензиями о пьесе, но сделал это по обязанности, а не по доброй воле. Единственное, что по-настоящему могло поднять его и успокоить, — это женитьба на Эвелине.

Так думал Бальзак, так уговаривал он себя в бессонные ночи, ища в этом спасения.

Однажды, идя по мосту, он незаметно для себя очутился на улице Сент-Антуан. Сколько раз ходил он этой улицей, направляясь на улицу Ледигьер. Остановившись, он поднял голову, разглядывая сотни мансард, которые высились на крышах, как голубятни.

«Представлял ли себе архитектор Франсуа Мансар, — подумал Бальзак, — когда составлял проект высоких крыш и слуховых окон, что на этих чердаках, навеки связанных с его именем, будет столько страшного одиночества, нищеты и бедствий, на которые обрекли себя ученые, поэты, прозаики и драматурги?»

И Бальзаку захотелось — во славу ли, из издевательства ли над Франсуа Мансаром, — в эту минуту он точно еще не знал, — написать поэму.

— Да разве я не написал ее? — просто удивился он, блуждая взором по крышам улицы Ледигьер. Он не хотел этого, но подсознательное желание само повело его. Он даже протестовал, но было поздно. Так, колеблясь, он подошел к старому дому, забытому, немножко грустному, но чем-то родному.

Вот он стоит — сутулый старик, дом номер девять, вот та же дверь, широкая, дубовая, только от времени почернела, и окна на первом этаже чуть покосились. Но сомнения нет. Это он, дом номер девять, на улице Ледигьер, откуда началось наступление Бальзака на Париж.

Бальзак поднимается старыми, скрипящими ступенями, минует площадки этажей и, наконец, останавливается перед знакомой дверью.

Сюда он впервые поднялся двадцать восемь лет то-

му назад. Он стоит у двери смущенно, боязливо ожидая, когда утихнет волнение. А что если, переступив порог, он увидит на узком пространстве между четырьмя продолговатыми стенами мансарды юношу восемнадцати лет, пришедшего из далекой Турени покорять Париж, захваченного подвигами своего земляка Наполеона Бонапарта? Что он скажет ему? Что посоветует?

Опираясь на палку, Бальзак разговаривает с краснощеким юношей. Он жадно вдыхает гниловатый воздух полутемной мансарды и поучительно твердит юноше:

— Молодой человек, если вы поселились здесь, чтобы победить Париж, то лучше возвращайтесь в Турень. Изберите себе иную судьбу. Вы можете стать клерком у нотариуса Лорена, женитесь на богатой вдове или выберите себе роль любовника аристократических дам, вы можете стать владельцем бакалейной торговли. Вы будете иметь деньги, и вас будут уважать в обществе. Молодой человек, — поучает Бальзак незримого юношу, — если вы думаете отыскать золото или изобрести вечный двигатель, то это подобно писанию романов. Оставьте эту напрасную трату времени и сойдите с этой высоты на землю. Дышите ароматным воздухом Парижа и любите девушек. Послушайте меня, молодой человек, у меня есть кое-какой опыт в этом деле! Вас тогда будут уважать все обитатели этого дома, и даже сам хозяин, мимо дверей которого вы крадетесь каждую ночь, чтобы он не слышал, так как вы должны ему за восемь месяцев.

Бальзак, наконец, прекратил этот немой разговор. Однако он слегка успокоил его. За дверью послышались голоса. Внизу раздались шаги. Бальзак решился и трижды постучал в дверь. Басовитый голос, не очень гостеприимный, сказал:

— Войдите!

Бальзак толкнул дверь и переступил порог. Он сразу узнал его. Да, это был тот самый человек, с которым он бежал в Тюильрийский дворец. Он тоже узнал Бальзака.

— Как вы нашли меня? — спросил он, удивляясь и подставляя гостю стул.

— Случай, — признался Бальзак, садясь и снимая шляпу.

Он оглянулся. Все было так же, как и раньше. Только детская кроватка и шкаф у стены — вот и вся новая

мебель. А кровать та же самая, железная, на тонких ножках, и в черных полосах матрац, выглядывающий из-под одеяла. И вышебленный оконный косяк, и крыши над окнами, загораживающие солнце. Все так же. Ничто не изменилось.

— Как вы меня нашли? — опять спросил хозяин мансарды, не скрывая своего недовольства.

«Что нужно этому буржуа?» — думал стекольщик Канель. Он взглянул на маленькую кроватку, где лежал в горячке крошечный Эжен. И загрустил.

— Я не искал вас, — успокоил его Бальзак. — Когда-то давно, много лет назад, я жил в этой мансарде, и мне захотелось, понимаете, посмотреть...

Хозяин кивнул головой.

— Ну что ж, это хорошо, когда человек хочет заглянуть в свое прошлое, давайте будем знакомиться. Моя фамилия Канель. Стекольщик Канель с улицы Ледигьер, может, слышали?

Бальзак протянул ему руку и назвал себя. Стекольщик Канель тоже сел.

— Вы одинокий?

— Да, — подтвердил Канель, — а откуда вы знаете, черт побери?

— Видно, что женщина здесь не живет. Пыли много, — объяснил Бальзак.

— О, вы наблюдательны, — заметил Канель, — а не в полиции ли вы, случайно, служите?

— Нет!

Канель недоверчиво покачал головой.

— А впрочем, мне безразлично, — признался он. — Меня все равно обманули. Я снова голоден и бос, и сынок умирает, не на что лечить. Мне, выходит, плохо и с королем, и без него.

Он говорил это словно не для Бальзака, а так, для себя, спокойно, но с большим напряжением.

— Я здесь когда-то жил, — продолжал Бальзак, удивляясь своему эгоизму и не понимая, почему он не откликается на горе стекольщика Канеля. — Отсюда, я думал, можно будет пойти в наступление на Париж и победить его.

«Что он плетет? — подумал Канель. — Не сошел ли он с ума».

— Что же, вы победили? — спросил Канель только для того, чтобы поддержать разговор.

— Нет!

Такое признание, короткое и искреннее, обескуражило Канеля.

— Послушайте, — спросил он сурово, — не врете ли вы? Скажите лучше, что вам надо?

— Я не вру, — скорбно и тихо сказал Бальзак, — чистую правду говорю я. Здесь я жил, тут создал мечту, и я ошибся, Канель. Я пишу книги. Я написал их много, моя фамилия Бальзак, — и он повторил, словно помогая Канелю узнать его, — Онорэ Бальзак, — он пропустил приставку «де», в первый и последний раз в жизни постыдился ее, — может, вы слышали о таком писателе, Канель, да? — спрашивал он с надеждой.

Канель отрицательно покачал головой.

— К сожалению, нет. — В эту минуту он жалел Бальзака. — Я едва умею читать, — пояснил стекольщик. — И вы не обижайтесь на меня, простите мне мое невежливое поведение.

Заросшее, усатое лицо стекольщика осветилось теплой улыбкой, он неловко потирал большие, огрубевшие руки.

И вот они сидят теперь вдвоем, старый и новый житель мансарды дома номер девять по улице Ледигьер. Сухой шелест листьев слышен за окном мансарды. Там вьется дым из трубы соседнего дома. Воркуют голуби где-то под окном, может, на крыше.

В кроватке, разметав ручонки, лежит больной ребенок. Как натянутая басовая струна — тишина мансарды. Вот кто-то нечаянно тронет ее, и она оборвется.

Страх, что Канель не читал его книг, охватил Бальзака.

На следующий день Франсуа приносит в мансарду дома номер 9 по улице Ледигьер пятьсот франков и четыре книжки. Он кладет их на стол перед Канелем и бесшумно исчезает, так же как и появился.

Канель зачарованно смотрит на деньги и непослушными пальцами раскидывает на столе книжки.

— «Кузен Понс», «Отец Горио», — читает он заголовки на обертках. — «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии». — Он, стекольщик Канель, смотрит в окно затуманенными глазами. Слезинки дрожат на его ресницах.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ВЕЧНЫЙ ЖИД

В местечках говорили, перешептывались в хатах, передавали из уст в уста: «Идет Вечный жид...»

...Из страны Мицраим, из древней земли Ханаанской вышел он, и вот уже тысячу лет странствует по свету, ища пристанища и судьбу свою, и не находит их.

Выли вьюги, гремели грозы, сушило землю солнце и дожди смачивали ее, а он все шел и шел, и не было числа его шагам, и не было меры его мукам, и не было предела его страданиям. Хотя никто его в глаза не видел и никто с ним слова не сказал, однако, образ его представляли: старый, седой, одетый в жалкие лохмотья, с проникновенным взором темных глаз, с осипшем от пыли, голода и жажды голосом.

В небытие уходили поколения, высыхали реки и озера, моря выходили из берегов и заливали широченные земли, землетрясения поглощали города, все изменялось и рождалось, и только он, Вечный жид, как бы неземной, все скитался по земле, как потерянная печальная звезда, светился легендами и грустными сказаниями в веках и не исчезал никогда.

Иногда он удалялся, и молва о нем на время замирала, но имя его не сходило с уст, волновало и смущало его единоверцев. И никто не знал, когда и откуда, кем призванный или по божьей воле, явился он. И все жили с неясным предчувствием его непременного и внезапного прихода.

Так и в этом году он явился неожиданно, на пыльной весенней дороге, — где-то между Бродами и Бердичевом; будто встретили его первые чумацкие обозы, идущие на Азов, и купцы видели, как он пил ключевую воду под тысячелетним дубом и молился, простирая руки к небу, всем телом оборотясь на восток.

Всполошился Бердичев, ожидая появления вестника ужасов и несчастий. Не скрывая тревоги, высматривали его на дороге, вьющейся из далекой степи. И все спрашивали друг друга: не видали ли случайно его, не слыхали ли о нем?

В тихой Белой Церкви мудрый и старый реб Мордохай, выслушав весть о появлении Вечного жида, наложил

пост на неделю, сам неделю сидел, скрестив ноги, в носках, как сидят по покойникам, и творил молитвы, перебирая похожими на кусочки пергамента губами.

Графиня Эвелина Ганская, как только высохли лужи на дорогах, велела закладывать карету. Она ответила на многочисленные послания Бальзака коротким, незначительным письмом, уверенная, что он напишет еще. Графиня искала успокоения. Она ехала в Вишневец к Мнишеку. Давно приглашали ее дочь и зять.

За Бердичевом ночевали в степи. Застряли в болоте. Напрасно кричал кучер, бешено хлестал лошадей, тщетно волновался Жегмонт, — ничего нельзя было сделать. Решили ждать до утра. Графиня закуталась в плед, подобрала на сиденье ноги и дремала. Внизу, свернувшись калачиком, Марина берегла покой графини.

Так промучились ночь, а когда выглянуло солнце, кучер и Жегмонт взялись за карету, перепрягли лошадей, расчистили грязь под колесами. Наконец покрытые паром лошади сдвинули карету с места. Она выехала на ровную, сухую дорогу.

Эвелина приказала остановиться. Освободилась из-под пледов и, придерживая рукой длинное платье, вышла из кареты. Она отошла немного в сторону и оглянулась вокруг.

Степь расстилалась, покрытая нежной, робкой зеленью. Грелись на деревьях воробьи. В глубокой синеве пламенело солнце. Вокруг словно гудел гигантский колокол, исполненный чудесной гармонией звуков, словно тысячи скрипачей творили молитвенные, чудодейственные мелодии; Эвелина расстегнула пальто и, вглядываясь в манящую даль, любуясь весенними цветами земли, думала о своем. В десяти шагах от нее сидела молчаливая, испуганная горничная Марина. Она едва сдерживалась, чтобы не закричать от боли. Из осторожности, чтобы не выдать своего позора, она перевязала свой живот полотенцами.

Зачатая в осеннюю воробьиную ночь, с ненавистных ласк управителя Кароля, новая жизнь билась у нее под сердцем. И еще не утихла боль последнего признания. Перед отъездом она сказала всю правду Василю. Не могла больше молчать. Казалось, скажет — будет легче, а оказалось, наоборот. Он только на мгновение прижал

ее к груди, заглянул в глаза и прошептал только одно слово:

— Убью!

И больше ничего не сказал. И так их разлучили. Кто знает, что ждет их в будущем? В отчаянии побежала Марина к бабке Мотовилихе, поверила ей свой стыд, умоляла.

Узловатыми пальцами мяла бабка выпуклый живот девушки.

— Поздно, девонька. Поздно! — На прощанье, для утешения или просто так, сказала:

— Не ты первая, не ты последняя. Молись! — Молилась Марина. Еще как молилась. По ночам била поклоны, ломала руки, ждала чуда.

...Эвелина думала о своем. Вот она благоденственная весна, вот она степь волшебная, ее горячее благоухание обновления и юности обвевает ее, она дышит, пьет трепещущими ноздрями воздух, как драгоценный элексир вечной юности. А молодость уходит. Исчезает за горизонтом, словно морской корабль, прячась за высокими гребнями беспокойных волн.

Раньше она думала, что Онорэ сбережет молодость, возвеличит и поднимет ее душу, увеличит богатство и подарит славою.

Она думает о нем в эти минуты в широкой, безмятежной степи и видит его приземистую, дородную фигуру, беспокойные руки, обвисшие усы над полными чуть открытыми губами, и между ними редкие почерневшие зубы...

...И даже в мечтах она не решается заглянуть ему в глаза...

...Так думала Эвелина, не зная, что будет дальше между ней и Бальзаком, будет ли венчание или нет. А впрочем, поздно теперь выбирать. На своем веку она достаточно познала жизнь во всем блеске, со всеми ее невзгодами, и время кораблю остановиться в тихой, спокойной гавани. Одно мгновение ей кажется, что дом на улице Фортюне в Париже, который расхваливал в письмах Онорэ, и есть эта тихая гавань, о которой она мечтает.

Но, подумав так, тотчас вспоминает неослабевающее стремление Бальзака к ней в Верховню, его горячие слова, в которых слишком уже ясно сквозила откровенная надежда, что она позовет его к себе. Пусть немного подождет. С собою в Вишневец Эвелина везет

интимные письма своего великого друга, она их прочтет не без гордости дочери и зятю.

Если они думают, что графиня отжила свое, то они ошибаются! Легкая тучка набегает на ее нежный, высокий лоб. Онорэ в письмах пишет о бурях, потрясающих Францию, он говорит о своем желании снова быть в Верховне, как о желании бежать; что же, эти слова утешительны. Они понравятся генерал-губернатору Бибикову и успокоят еще кое-кого.

Солнечный луч согревает Эвелину Ганскую. Она уже опьянела от сладких запахов степных трав, от бесконечных птичьих трелей, словно с небес опускаются они на землю, когда ее мечты нарушают голоса у кареты. Повернувшись, она увидела старика в лохмотьях с мешком через плечо. Человек опирался на высокую палицу и с любопытством заглядывал в открытые дверцы кареты.

Марина пошатнулась от этого проникновенного взгляда и забилась в угол.

«Нечистая сила!» мелькнуло в голове.

Эвелина, поддерживая рукою платье, подошла к карете, Жегмонт и Станислав оттолкнули неизвестного.

— Иди своей дорогой, — проговорил Жегмонт и собрался помочь пани сесть в карету.

Но Эвелина оттолкнула протянутую дворецким руку. Она уже хорошо разглядела запыленного старца, одетого в лохмотья, в серой шапке на седой голове. Борода спускалась до пояса. Руками он вцепился в высокий посох. Лицо его было ясное, озаренное какой-то особой, одному ему известной радостью. Он словно улыбался тихой, грустной улыбкой. Только в глазах, сидящих глубоко под густыми бровями, переливались тревога и страх. Казалось, глаза принадлежали кому-то другому, а не этому старому, убогому страннику.

Он даже не пошевелился, и хотя смотрел на графиню, но по всему было видно, что видит он только карету, а все окружающее не существует для него.

Кучер Станислав влез на козлы, Жегмонт ближе подошел к графине, Марина расстелила на сиденье плед. Человек у кареты словно чего-то испугался. Он проявлял какое-то беспокойство, сделал шаг вперед и одной рукой, не выпуская посоха из другой, стал расстегивать рубашку, широко раскрыл рот, словно что-то душило его, перехватывало дыхание.

— Что тебе надо? — злобно спросил Жегмонт. — Говорят, иди своей дорогой, так иди, пока не отстегали.

Словно подтверждая угрозу Жегмонта, кучер Станислав со свистом разрезал кнутом воздух, но человек не пошевелился. Расстегнув наконец грязную рубашку, он крикнул:

— Еще одна карета!

«Сумасшедший», — со страхом подумала Эвелина и ближе подошла к карете.

— Кто ты? — спросила графиня. Человек взглянул на нее с мольбою, протянул вперед длинную землистую руку и произнес настойчиво, глухо и скорбно:

— Отдай ее.

— Кого? — удивленно спросила Эвелина, чувствуя, что внезапный страх пропал и старик ничем не угрожает ей.

— Ее, — повторил человек и ступил еще шаг вперед.

— А ну, отойди, — оттолкнул его Жегмонт, — прочь! — Он с отвращением вытер о полу кафтана руку, которой коснулся старика.

— Подожди, — остановила дворецкого Эвелина, — кого тебе отдать? — опять спросила она старика.

— Отдай ее, отдай! — умолял он, падая на колени. Но вдруг поднялся и, вобрав голову в плечи, пятясь от кареты в степь, размахивал рукой, словно колдуя, что-то говорил и слезы бежали по его сморщенным щекам.

— Снова карета, — шептал он, — и снова ее нет. Где же она? — спрашивал он, словно тот, от кого он ждал ответа, стоял перед ним. Эвелина слушала этот разговор с самим собой и вновь проникалась неизбежным чувством страха.

— Где она? — спрашивал старик, остановившись у края дороги.

Он замолчал и стоял так, немой и таинственный, не глядя на людей у кареты, внимательно следящих за ним. Словно пробудившись от тяжелого сна, он бросил посох на дорогу и, подняв руки к небу, завопил:

— О, будьте прокляты все до седьмого колена, пусть на головы ваши придет мор, пусть сердца ваши источит червь и глаза покроет черная тьма!

— Он безумный, — крикнула Эвелина и, опираясь на руку Жегмонта, поспешила в карету. Дворецкий

влез на козлы, сел рядом с кучером. Тот ударил лошадей. Карета тронулась.

— Это он,—крикнул Жегмонт на ухо Станиславу,— Вечный жид, — и перекрестился, сплюнув на дорогу.

Кучер испуганно оглянулся, вставил кнут в кольцо и тоже перекрестился. Эвелина долго еще оглядывалась в заднее оконце кареты. И пока позади не поднялась пыль, она видела человека с простертыми к небу руками, посылающего проклятие.

Катилась по неровному шляху карета, сбоку плыли поля; тревожные мысли, навеянные неприятной встречей, обступили Эвелину.

И как назло вспоминались и растравлялись, горели наболевшие раны, старые, как будто давно забытые и ненужные.

...Под вечер за лесами, на возвышенности, показались белые хатки Вишневца. Минуя село боковой дорогой, карета прогрохотала через плотину и въехала в длинную каштановую аллею, ведущую к дворцу.

Вдруг карета остановилась. Впереди раздались голоса. Послышался крик Жегмонта. Дворецкий ругался.

— Пся крев, до дьябла! Разве не видите, чья карета? Ее сиятельство графиня Ганская едет во дворец, а вы, дьяволы, преграждаете дорогу. Холера вас забери!

Проклятия и ругательства водопадом срывались с губ Жегмонта. Возня не стихала. Чей-то деловитый голос прозвучал спокойно.

— Цобе, серые! Разве не видите, что карета их сиятельства едет?

Эвелина отбросила штору и спустила окно. Выглянула. Поперек дороги волы тянули низкий воз, а на нем что-то покрытое соломой. Крестьяне в свитках и шапках толпились вокруг. Эвелина пальцем подозвала одного. Он робко подошел к карете.

— Что это такое? — гневно спросила она. Крестьянин одним движением сорвал с головы шапку, низко поклонился, словно переломился в поясе, и, выпрямляясь, пояснил:

— Пана нашего, их сиятельства, полюбовница руки на себя наложила. В пруду утопилась, вот вытащили ее и везем хоронить...

Дальше Эвелина не слушала. Отшатнулась от окна и упала на подушки.

«Как это бедной Ане?» — подумала про себя. А через некоторое время, когда уже сидела во дворце между дочерью и зятем, и словом не обмолвилась о том, что видала на дороге. Только через несколько дней Ганна сама рассказала. Они сидели в закрытой беседке на краю парка. Нежные гортензии наполняли беседку терпким запахом. Эвелина сорвала цветок, любовалась красивыми лепестками и внимательно слушала дочь. В ее словах, в поведении она узнавала молодость свою. Рассудительность Ганны ее не поразила.

А когда выслушала всю нескладную историю покорения Юрия Мнишека красавицей-еврейкой и о грустном конце — самоубийстве Нехамы, когда увидала, что Ганна говорила спокойно, словно посторонняя, о любовных похождениях своего мужа, вслух похвалила дочку:

— Я очень рада за тебя и горжусь твоей выдержкой, Аннет! Ты вся в меня. За твоим покойным отцом, — печально прибавила Эвелина, — я знала не мало таких историй. Все это пройдет.

И Эвелина заговорила о себе, о сильных волнениях. Достав из шелковой, шитой жемчугом сумочки письма Бальзака, она читала их Ганне.

Ее припухшие губы спокойно произносили слова, в которых бились великие и неисполненные желания. За окном беседки чуть заметный ветерок играл молодой зеленью сиреневых кустов. А в беседке захватывал дыхание горьковатый, щекочущий запах гортензий. Ганна почему-то подумала: «От писем Бальзака веет тем же запахом». Ей стало жалко писателя, слова которого, повторяемые в эту минуту Эвелиной, напоминали жалобы капризного юноши.

Она почему-то подумала: «Может, мать не любит его», — но спросить об этом не решилась.

Далеко за дворцом графа Мнишека, вблизи тракта от Вишневца на Бердичев, в лесу, меж столетних дубов, вырос холмик земли, наскоро насыпанный и убранный зеленью. Ни крестом, ни камнем не отметили его, и так он высился под коренастыми дубами. Веселые пташки кружились над ними. Резвились и играли нежные ласточки. Словно издеваясь над короткой жизнью той, что спала вечным сном под холмиком жирного чернозема, куковала безостановочно кукушка. Прикрыла земля,

спрятала от глаза людского, от излишнего любопытства страшную судьбу Нехамы, красавицы-дочки корчмаря Лейбка.

Трактом весь день и всю ночь скрипели крестьянские возы, ржали кони, шли пешеходы и странники, и никто не знал, что недалеко от дороги одинокий горбик земли под дубами хранит тайну.

Только крепостные вишневецкого пана знали то место, только некоторые из них погоревали, но ничем нельзя было их удивить. А пастухи говорили, что видели они среди ночи, как из бугорка чернозема под дубами поднялась черноокая, стройная красавица в белом платье и плакала, прижавшись к дубу.

Упали первые теплые дожди на землю. Высушили их ветры Черноморья. Зазеленели дубы. Свели свои могучие ветвистые руки над могилкой. Словно берегли покой той, что спала под землей.

А он, Вечный жид, тоже прошел этим шляхом, стоял вблизи этого леса, где в земле спала вечным сном Нехама, задумчиво глядел в синюю даль; сорвал на обочине дороги цветок, растер между ладонями зелень, вдохнул его запах и пошел дальше, оставляя за собою молву.

Идет Вечный жид — вестник несчастья, горя и бедствий. Молитесь за грехи свои тяжкие, несите покаяния.

И та молва опережала его, ложилась на убогие жилища как печать беды.

По местечкам прошла болезнь, скосила взрослых и детей; скот падал среди пастбища и не поднимался вновь; еще и солнце не грело по-настоящему, а собаки бесились, и все говорили: это он, Вечный жид, всему виной, найти его, крестить, и он исчезнет, провалится сквозь землю. И еще говорили в селах, что в этом виноваты евреи, они его накликали, они пусть отвечают.

На ярмарке в Бердичеве нескольких евреев облили дегтем и вываляли в перьях. Их гнали через весь город, выгоняли духа нечистого. На гетманском шляху сожгли нескольких корчмарей живьем вместе с их харчевнями.

Банкир Исаак Гальперин нес убытки. Терпение его лопнуло. Он побежал к полицмейстеру. Он-то, наверное, знал, кто такой Вечный жид. Он ждал его появления. О, если бы он появился здесь, все было бы кончено. Но он миновал Бердичев.

Реб Мордохай из Белой Церкви, известный мудрец, наложил еще один пост, еще семь дней сидел в комнате, скрестивши ноги в носках, и творил молитвы.

Безмолвные служители в синагоге жгли свечи. К реб Мордохаю прибыл сам банкир Гальперин. Реб Мордохай сказал:

— Еще два дня продлится мой пост, пусть вельможный банкир подождет, тогда я буду говорить с ним.

Банкир Гальперин рассердился. Он выгнал служителя реб Мордохая и пошел к нему сам. Но на пороге остановился. Его встретил суровый взгляд мудреца. Банкир Гальперин понял: нужно покориться.

И он ждал еще два дня, а потом говорил с реб Мордохаем.

— Это не Вечный жид, — сказал Исаак Гальперин, — я знаю, кто это. — И он рассказал реб Мордохаю все, что знал о корчмаре Лейбке, конечно умолчав о себе.

Реб Мордохай перебирал пальцами белоснежную бороду. Он думал. Ему было сто десять лет, и это кое-что значило. Он думал медленно.

— Надо это прекратить, — нервничал Исаак Гальперин, — полиция его все равно задержит. Он просто сумасшедший.

— Суета, — проговорил, наконец, реб Мордохай, — одна суета. И никто не знает, где гнев божий, а где милость. Реки вливаются в моря. Кто измерит глубину моря? Кто скажет, где конец нашему горю?

Исаак Гальперин нетерпеливо остановил мудреца:

— Расскажите народу нашему, что он безумец, надо остановить это бедствие.

Реб Мордохай кивнул в знак согласия головой. Они еще долго беседовали мирно и любезно. И вечером банкир уехал успокоенный и удовлетворенный.

А Вечный жид тем временем кружил по дорогам, от села к селу, от местечка к местечку. Мало ли бродит нищих, разве узнаешь, кто из них Вечный жид? И это спасало его, так как в молве он был не обычным человеком, а чем-то фантастическим, бестелесным, завернутым в белый саван, с карающим посохом в руках. И в одном местечке от других нищих он узнал, что где-то ходит Вечный жид, и тоже поверил в это.

А позже, оставшись один на дороге, понял, что Вечный жид — это он сам. И это открытие поразило его.

Ступая в неизвестность, он протягивал вперед руки и молил:

— Отдайте мне Нехаму, отдайте!

Он звал дочь свою губами и сердцем и ждал какого-то чуда, и верил, что оно произойдет, и ему всегда мерещилась впереди черная карета, удаляющаяся от него, а в этой карете Нехама, его единственная отрада, его счастье, его цель.

В местечке Кибинцы его задержали жандармы.

— Кто ты? — спросили грозно его.

— Я Вечный жид, — ответил он смиренно, не ведая, что этими словами кладет конец своему горю.

Жандарм ударил его тяжелым кулаком между глаз, и кровь побежала из носа старика. Ему связали руки, посадили на возок и повезли в Бердичев.

Так окончил свое существование Вечный жид, чтобы со временем возникнуть снова, воплотившись в другую беду.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

КОНЕЦ НЕВОЛЕ

Злые ветры пропели над Верховней свою суровую, зимнюю песню. Отшумели вьюги и пропали, растаяли, точно и не было их тут; сугробы снега, скованные льдом озера и пруды, — сон, призрак, небытие. Еще холодно и ворчливо журчала в оврагах, по лесным чащам вода ручейков, еще птичий щебет был вял и робок, но уже на отвалах нор пригревались на солнце медвежата и по ночам с хрустом набухали на деревьях почки, весело и беспечно.

Такой пришла весна и в крепостную Верховню — заморской красавицей-царевной, исполненной таинственных чар и веселого перезвона.

На пасху перекликались колоколами церквей соседние села, рыжеватый и неказистый на вид корень калгана ярился в пузатых бутылках, наполненных терпким напитком. Он смягчал горечь и вызывал обманчивый туман, порождающий веселость и бездумье.

Звонили в колокола и святили пасхи, пели по вечерам песню-веснянку и пили калгановку, с тревогой и волную-

щим презрением поглядывая на панский дворец, молчаливо и сурово высившийся над селом.

Дед Мусий сказал:

— Горько мне и без горилки, не буду пить, — и пошел из шинка в свою хату. Молился в церкви, молился перед иконой, просил у неба скорой смерти и все ждал ее в ясные лунные ночи, лелея думу о лучшей жизни в кладбищенской земле, под лесом покосившихся крестов и убогих памятников.

Уже с давних времен поселились в дедовой хате мрак и темень, и даже к любимой скрипке дед не прикасался. Василь ходил сам не свой. Он не мог больше молчать и рассказал деду о своем и о марининой горе. А дед Мусий выслушал, выкурил две трубки, кашлял долго и молчал, думая свою тяжелую думу. И только когда влез и улегся под кожухом, свесил голову над Василем, который распростерся на лежанке, успокаивающе начал:

— Доля такая наша, Василь, разве Марина первая? — дед махнул рукой, хотел замолчать, да не сдержался.

— Сколько уже тот пан Кароль погубил, скольких свел в могилу, а кому жаловаться будешь? Графине? Она тоже глуха к нашему горю, ей мы что листья осенние, падшие, топчет нас и все.

Дед еще бы говорил, но, поглядев на закрытые глаза Василя, подумал, что тот спит, и замолк.

Он лежал навзничь, дед Мусий, смежив веки, сон не шел к нему.

Весенний ветер упругими крыльями бился за окнами. Деду мерещились непройденные дороги, ветер гнал по степи курай, и тот катился и сеял костлявый, мертвящий перестук. Бесконечной вереницей по утоптанной дороге раскинулись обозы. Круторогие волы перебирали ногами, и пыль вставала тучей, а цель была далекая и неведомая, и так плыли они по морю жизни, безмолвные свидетели страшного времени. Деду вспоминалось, как под чумацким возом, садясь посреди необозримой приазовской степи, он, кряхтя, жаловался:

— Тьфу ты, теснота, и повернуться негде...

— Так всегда бывает в жизни, — успокаивал себя дед Мусий, — человек никогда доволен не бывает. Грех тяжкий. Искупить надо.

Он перекрестился в темноте и повернулся на бок. Ему вдруг захотелось, чтобы запел сверчок. Верный

признак добра — эта нескладная песня. Но давно уже не пел сверчок в дедовой хате.

Не спит старый Мусий. Роятся в голове воспоминания. Пчелиным гудом тревожат и прогоняют сон.

«Конец праздника завтра, — думал Василь. — Снова на панщину. Снова погонят на господскую землю, как и прошлой весной, присматривать, чтобы плуги глубже врезались в жирный чернозем, бороновать, готовить клуни и молотилки, клепать косы и точить серпы.

Снова длинная, как день на панщине, печальная и горькая прозвучит над лесом песня о несправедливости тяжкой, нестерпимой. Вспоминается Василю минувшая весна. Собирались в дальнюю дорогу, ладили чумацкие возы. Провожать его пришла на черный двор Марина, доченька сиротская, горничная панская. Пустились в заманчивый путь. Среди степи остановились ночевать у корчмы. Черноокая с темными косами дивчина поднесла ему чарку. Дрогнули ресницы, пряча сказочный блеск глаз. Потом в дороге туда, к морю, и на обратном пути в воображении его боролись два образа, два взгляда девичьих, и не знал он, который из них милей.

И так легко и приятно было лелеять мечту о девичьем взоре, робком и проникновенном, и слушать дивные рассказы о прошлом этой степи, под звуки которых целыми днями двигались чумацкие обозы.

Теперь, разметавшись на лежанке, он начинает понимать, что все эти рассказы имеют одну цель — утешить. Утеха у него одна: вспомнишь былую волю — нынешнее горе на миг забудешь. И то хорошо. Василь крепко сжимает кулаки. Ногти глубоко вонзаются в огрубевшую кожу ладони. Без злобы, без зубовного скрежета не может подумать об омерзительной, чванной роже управителя Кароля.

Разве может забыть Василь его оплеухи, свист нагайки, суровые, злые окрики?

И тогда, в ту ночь, что-то подсказало ему суровое решение. Он не отваживался даже думать о нем. Но, уже впадая в тяжелый сон, поклялся, что скоро так и будет.

Воспользовавшись отсутствием графини, управитель Кароль приказал отремонтировать большой зал в первом этаже, убрать все как следует, кое-где обновить мебель, зеркала. Управитель, веселый, похаживал по комнатам. Насвистывал ему одному понятные мотивы. Те-

перь он почти не появлялся во флигеле. Он решил: Бальзаку больше не видеть Верховни. Напрасно пани Эвелина упрямилась. Ну, ничего, холопы говорят, придет коза к возу. Ой, придет!

— Одно стадо, — плевался управитель, вспоминая пребывание Бальзака в Верховне и приезд сюда Конецпольского.

Успокоение и утешение Кароль находил в уверенности, что теперь ничто не преграждает ему путь к богатству. Он был убежден: единственный, настоящий хозяин Верховни — это он, Кароль. Этот дворец, фермы, леса, холопы — это богатство его брата; графиня умрет. Ганна получила свое приданое, он всему владелец. Теперь он ни на секунду не сомневался, что Эвелина не выйдет замуж.

А если бы она, правда, повенчалась с Бальзаком, то по отъезде за границу большое имение, вся земля и лес становились собственностью государства. Что тогда оставалось делать управителю Каролю? Служить у чужих людей?

— Нет, пся крев. Не бывать этому! О, нет!

Управитель Кароль решил изменить тактику. Довольно ссориться. Он будет теперь вежливый и смирный. Вот из Вишневца приедет Эвелина, она увидит совсем другого пана Кароля.

Прохаживаясь по просторным комнатам, просиживая часами в большом кабинете графини за широким столом, заваленным французскими журналами, пан Кароль уже видел себя полным хозяином этого имения, гордо оттопыривал губы, удовлетворенно покручивал рыжеватые усы, и в испещренных красными прожилками глазах его мигали зловещие огоньки.

Сквозь большое окно открывался величественный пейзаж. На холмах за парком зеленела березовая роща. Внизу, на лугах, паслись кони. Он встал с кресла и подошел к окну. Опираясь руками на подоконник, вглядывался вдаль.

«Все это будет мое», — удовлетворенно думал пан Кароль. Его покой нарушил стук в дверь.

— Кто там? — недовольно отозвался он на осторожный стук.

— Это я, пане Ганский, — отозвался ксендз Янковский, переступая порог.

Кароль, скрывая досаду, пошел навстречу непрошеному гостю. Он смиренно приложился губами к протянутой руке и подставил ксендзу кресло. Эта комната хорошо была знакома Янковскому. Он знал, что графиня в отъезде, но заехал к управителю с другой целью. Долго вел красивый ксендз незначительный разговор, ни одним словом не обмолвившись о цели своего приезда. Наконец, понимая желание Кароля, сказал:

— Проезжал через Верховню, думаю, надо пана Кароля навестить.

— О, я очень рад, пан отче! Это вы чудесно сделали. Пообедаем, поговорим. А то я тут совсем одичал, графиня уехала в Вишневец и, может, надолго...

— За обед спасибо. Спешу очень. Весна в этом году благодатная. Только хлопы еще злее стали.

— О, это естественно. Пусть это, пан отче, вас не волнует. Надо хорошую плеть, хлоп будет, как ягненок, кроток. — Пан Кароль засмеялся, откинувшись на спинку кресла.

— Правда ваша, — согласился Янковский, — но осторожность не мешает. — Управитель взволнованно взглянул на Янковского, не понимая, куда тот клонит. А ксендз целился правильно. Он хорошо знал слабое место управляющего. Знал, как ненавидят его хлопцы за нагайку, побои, издевательства над девушками. «Вот сейчас собью ему спесь, — думал ксендз, — и заговорит он по-другому».

Пан Кароль, правда, проявлял волнение. Поднялся с кресла, начал ходить по комнате. Персидский ковер заглушал его тяжелые шаги.

— Вы о чем-то узнали? — спросил он с надеждой в голосе, останавливаясь против ксендза.

Янковский неуверенно развел руками:

— О, только слухи!..

Но Кароля не обманешь. Этот хитрый ксендз что-то прослышал. Как бы развязать ему язык?

— А когда пан Бальзак сюда приедет?

Этот неожиданный вопрос, этот интерес, спрятанный за притворно равнодушным голосом, не может обмануть настороженного внимания пана Кароля.

«Выходит, что у тебя этот французский литератор сидит в печенках, — думает пан Кароль. — Э, голубчик, теперь и я тебя поймал».

Ксендз перебирает круглые четки, смотрит куда-то в угол, словно и забыл, о чем спрашивал.

— Кто его знает, может, приедет, — говорит после долгой паузы пан Кароль, сам пугаясь своего ответа.

«А может, и вправду накличу его на свою голову?» — подумал и забыл о желании подразнить ксендза, поиздеваться над его ухаживаниями за свояченицей. Кароль спешит уверить его:

— Нет, не приедет. Куда ему теперь ехать! Погостил, пора и честь знать. У них теперь в прославленном Париже революция. Короля Луи-Филиппа выгнали, монарха своего, словно последнего нищего, — от гнева лицо Кароля налилось кровью, усы подпрыгивали, — понимаете, пан отче, что там творится? Да и к тому же этот Бальзак сам того... — Кароль покрутил в воздухе пальцем. Ксендз кивнул головой.

— Тяжелые времена, — пожаловался он.

— А почему тяжелые? — спросил Кароль. — Не знаете? Слушайте, пан отче, меня. Потому тяжелые, что ослабили узду. Черни дано много свободы. Европа! Хвастовство, кощунство, вздор. Вот пусть теперь и пожинают плоды.

— Слава небу, наш монарх не поддается этой европейской либеральной политике.

Кароль не мог успокоиться. Он метался в кресле, бил тяжелым кулаком по ручке.

— Слушайте меня, пан отче, побольше нагаек, шпицрутенов, виселиц, и будет тишина и спокойствие. Хлоп будет знать свое место.

Приподнявшись в кресле, теряя от злости голос, Кароль прохрипел:

— Вообще эти французы ненадежный народ. Я никому из них не верю. Где не ступит их нога, всюду сеют искушения, разрушают установленный веками порядок. Вы думаете, этот Бальзак тут не напакостил, холера его возьми?

Теперь ксендз и управитель уже забыли скрытую вражду, существовавшую между ними. Общий разговор был найден, и он угасил готовую было вспыхнуть ссору. Поговорив еще с часик, ксендз уехал. Кароль велел оседлать лошадь и поехал в поле, подгоняя буланого скакуна. На широких полях уже копошились люди. Издали заметили всадника и еще ниже склонились к зем-

ле. Пусть его бес пронесет! Чтобы еще, чего доброго, не привязался. Василь стоял у воза на краю поля, у самой опушки березовой рощи. Он снимал с воза плуги. Волы сгрудились вокруг. Крестьяне в сбитых набекрень шапках тянули трубки. Сероватые струйки дыма окружали их головы. К ним через поле гнал своего коня управитель Кароль. Он осадил буланого и соскочил с седла. Бросил повод подбежавшему мальчишке и пошел к толпе крестьян. Они в один голос прокричали:

— Добрый день, пане.

Кароль не ответил. Некоторое время они стояли так, низко склонив головы, а потом выпрямились, уклоняясь смотреть ему в глаза. Он крепко сжимал за спиной нагайку и почувствовал, как нестерпимая злоба, словно спираль, бешено разворачивалась в нем.

— Что стали, быдло?!

Кароль сделал шаг вперед и едва удержался, чтобы не огреть нагайкой первого крестьянина, стоявшего ближе всех к нему. Это был длинный, чахоточный Мавродий, сосед деда Мусия. Он, низко склонив голову, дрожащим голосом сказал:

— Мы не стоим, пане, готовимся к вспашке.

Кароль от злости кусал губы. Испуганные крестьяне молчали. Они хорошо знали свирепый нрав своего управителя. Боже сохрани проронить лишнее слово — в землю вгонит. Поэтому они тревожно ждали, пока утихнет панский гнев, и едва переводили дыхание.

Василь замер у воза, крепко вцепившись пальцами в вилы. Что-то мохнатое и пестрое прыгало у него перед глазами, во рту стало сухо, бешено колотилось сердце. Управитель глянул на него особенно зорко и злобно усмехнулся.

«Он так не уйдет отсюда», — понял Василь, поймав на себе страшный взгляд Кароля. Один миг Ганский размышлял: вскочить на коня и помчаться дальше! Черт их возьми, этих разбойников. Вечером прикажет выпороть их на конюшне. Но глаза парня показались ему чересчур дерзкими. Вспоминалось и другое: русая красавица Марина просила, умоляла не отдавать Василя в солдаты. Что же, пан Кароль сдержал слово. Хлоп остался в имении. Встала в памяти недавняя беседа с ксендзом. Многозначительные намеки на осторожность.

Что же это будет, матка боска, когда с хлопами придется вести себя, как с панами? Я им покажу.

Кароль Ганский, точно преодолев какое-то препятствие, приблизился к толпе вплотную.

— Плохое задумали, холера вас побери! — закричал он вне себя, словно кто-то возражал и не давал говорить спокойно. — Молчать, быдло! Не шевелиться!

Мавродий, стоявший близко к нему, затрясся.

Кароль видел, как мелко дрожали руки у хлопа. Он проглотил слюну и закричал:

— Я вам покажу, свиньи! А ты чего разбойником насупился?! — вдруг крикнул он Василю.

— Не кричите, — тихо проговорил Василь и почувствовал, как побледнел, как нежданно оцепенело все тело.

— Что ты сказал, хлоп? — взвизгнул управитель и протиснулся к нему.

Крестьяне окружили их. Мавродий растерянно посмотрел на крепостных, испуганно протянул руки к управляющему:

— Не обращайте внимания на него, пане добрый, молодой он еще, глупый...

— Молчи! — крикнул управитель на Мавродия. — Как ты, сволочь, осмелился заговорить? — грозно спросил он у Василя, крепче сжимая нагайку за спиной. — Молчишь! А, так...

И уже выхватив нагайку, Кароль мгновенно понял, что этого не надо было делать, но было уже поздно. Плеть со свистом разрезала воздух, и тяжелый оловянный конец ее упал Василю на щеку. Он пошатнулся от боли. Но не крикнул, не вытер кровь, побежавшую тоненькой струйкой. Василь широко раскрыл рот, словно набирал воздух, и, со всей силой замахнувшись вилами, вонзил их в грудь управляющему.

Дикий, страшный крик прозвучал в степи. Управитель растопыренными пальцами пытался схватиться за вилы, но упал навзничь и, пригвожденный вилами к земле, угасающими налитыми кровью глазами искал что-то в синем небе. Василь, бледный, простоволосый, склонился над ним. И те, кто близко от него стояли, слышали:

— Вот тебе за Марину, за все!

Мавродий подбежал к нему. Его трясло, как в лихорадке. Толкал в спину.

— Беги скорей, скорей, Василь!

Но Василь не спешил. Он смотрел вдаль задумчиво и сосредоточенно, точно вспоминая что-то, все еще держа в руках черенок от вил. Он не глядел на землю, где в агонии умирал ненавистный управитель, и он не слышал, что ему говорил Мавродий. Он никого не видел, и ничто не интересовало его в эту минуту.

Там, за далекой чертой заката, ему мерещилась стройная девушка с грустными глазами, и только она в этот миг звала и влекла его.

Словно просыпаясь от тяжелого сна, Василь вздрогнул всем телом, выпустил из рук черенок и оглянулся вокруг.

И только когда глаза его встретились с испуганными глазами крестьян, он понял все.

— Конец неволе моей! — тихо проговорил Василь и неизвестно зачем застегнул свитку.

Он грустным взглядом обвел знакомые лица и печально сказал:

— Деду Мусию... — и не кончил. Но все поняли его, а Мавродий скороговоркой прошептал:

— Все скажем. Все.

Что-то оборвалось в груди Василя. Он тронул рукой распоротую щеку, впервые по-настоящему ощущая боль.

— Марина... — обронили его губы, и Мавродий заверил:

— Скажем, Василь. Скажем. Живей беги!

— Прощайте! — тихо сказал Василь и пошел медленными шагами от толпы. Вскоре он скрылся в лесной чаще.





КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ИСКУПЛЕНИЕ

Он прошел уже немалый путь и немало бед познал на пути своем. Горе громоздилось над ним тучами. Тучи были тяжелые, свинцовые. Они заслоняли солнце.

Дни не существовали для него. Одни только ночи оживляли его. С трепетом в растревоженной душе ждал он сумерек, и когда ночь опускалась на землю, для него начиналась жизнь.

Алели калиновые кусты при дорогах. Густая серая пыль лежала на степной траве. Износились убогие лапти, и он давно уже шагал босиком, топтал расцарапанными ногами лесные тропки, обочины пыльных больших дорог.

И не знал Василь, сколько еще придется ему колесить по земле. Какая судьба притаилась за голубым горизонтом, подстерегая его?

То представлялась ему она, та доля, грустной матерью с васильковым венком на седой голове. Вот только дойти до этого горизонта, очутиться за этими дрожащими хребтами, — мать примет его, измученного и гонимого, в свои объятия, приголубит и утешит.

А иногда ему думалось, что там, за горизонтом, свирепая колдунья ждет его прихода. Она схватит его

цепкими пальцами, вцепится и не выпустит, пока не явятся жандармы.

Василь не считал, сколько дней прошло. Он жил без счета, осознавая только тяжесть своего беспокойного и непрочного бытия.

От села к селу, от хутора к хутору пробирался украдкой, днем прятался либо спал в чаще леса. Снились бредовые, страшные сны. Просыпался в холодном поту, вырываясь из рук жандармов, спасая свою жизнь.

Василь похудел, как-то весь вытянулся, точно вырос, лицо заострилось и загорело, и он испуганно озирался вокруг. Всюду мерещилась ему засада.

Ночью, заходя в село, лежащее на пути, долго не решался постучать в окно. Дрожал весь, во рту пересыхало, и сердце билось так, словно тесно было ему в груди. Но голод побеждал. Беглец стучал в стекло, просил хлеба, прятал в мешок сухие лепешки и быстро, не оглядываясь, убегал от хаты, унося на спине грустный взгляд и легкий крест.

Иногда случалось встретить кого-нибудь среди бела дня. Бежать было поздно. И он шагал навстречу людям, склонив голову, готовый в любую минуту принять бой, дать отпор. Но встречные сразу узнавали его. Они молча протягивали ему краюху хлеба или кусок сала с луковицей. Один пожилой в заплатанной рубахе крестьянин, подавая Василю полкаравая, сказал:

— От пана бежишь?

Василь пробовал возражать. Напрасно, мужик не хотел слушать его.

— Видно пана по холявам, — уверенно проговорил он, — беги, хлопчик, беги, только далеко не убежишь. — Он хлестнул коней кнутом. Воз затарахтел по дороге. Василь стоял, вдумываясь в последние слова старика.

Но чем дальше уходил он от Верховни, тем спокойнее становилось ему. Не знал он, — да и откуда было ему знать, — что разыскивают его по всем селам и местечкам, что Ганская, узнав об убийстве управителя Кароля, вернулась в Верховню. А из Киева приехал чиновник по особым поручениям Вифлейский. Из Сквиры прискакала сотня всадников под командой жандармского ротмистра Зыкова.

Верховненский дворец напоминал разворошенный муравейник.

Про убийство в Верховне узнал сам генерал-губернатор Бибиков. Он получил личное письмо от графини Эвелины и сбоку на полях написал:

«Вести следствие тщательно. Виновных и соучастников сурово покарать».

Подумав немного и убедившись, что этих слов недостаточно, чтобы как следует вытравить заразу крестьянских бунтов, добавил: «Покарать публично, чтобы вся округа знала». Графине Эвелине Бибиков написал:

«Высокочтимая госпожа! Выражаю Вам глубокое соболезнование и искренне сочувствую. Смею Вас уверить, что преступники понесут заслуженную кару».

Трое суток шло губернаторское письмо из Киева в Верховню. Эвелина взяла из рук фельдъегеря тяжелый пакет, покрытый сургучными печатями. Она вскрыла конверт и среди бумаг, прошитых нитками, нашла короткую записку Бибикова. Прочитала и бросила ее на трельяж. О каком соболезновании идет речь? Эвелина забыла, что Бибиков, конечно, не знает об ее истинном отношении к Каролю Ганскому. Впрочем, дело не в Кароле. То, что его не стало, мало трогает Эвелину. Она не жалеет его. Даже, наоборот, внезапная смерть Кароля избавляет ее от многих неприятностей. Это Эвелина хорошо понимает. Но это не смягчало вины злодеев. Еще в Вишневце, узнав об убийстве своего управителя и родственника, Эвелина сказала Мнишеку:

— Я позабочусь, чтобы эти мерзавцы получили по заслугам.

И она поторопилась в Верховню.

Там любезно, и в то же время сдержанно, она приняла ротмистра Зыкова и чиновника Вифлейского. Им отвели комнаты во флигеле, где жил управитель. Солдат разместили в людской и по амбарам. Эвелина никуда не выезжала. Сидела у себя в кабинете. Просматривала счета и конторские книги, потребовав все это из конторы. Перечитывала письма торговых фирм из Киева, Нижнего Новгорода, Бердичева. Иногда уходила в беседку. Там, опершись локтем на белый мраморный столик, задумчиво смотрела в прозрачную даль июньского дня. Раскидистые, одетые пышной зеленью деревья полукольцом окружали беседку. А прямо от беседки, через весь парк, до самых лугов, покрытых чудесными степными цветами, стелилась посыпанная

оранжевым песком, искрящимся на солнце, дорожка. По обеим сторонам ее, в две шеренги — стройные тополи. Над ними, надо всем парком — прозрачная глубина неба. Нежная лазурь. Манящая прелесть.

Далеко за лугами — недосягаемые глазу — работали девчата. Оттуда неслась, летела над парком, окуналась в островерхие тополя, песня. Эвелина вслушивалась в ее непонятную, тоскливую мелодию, и слова, звучавшие печалью, не волновали ее.

А песня дразнила и беспокоила. Графиня раскрыла томик Бальзака, положила перед собой на столе. Ветер шаловливо перевернул страницу. Эвелина равнодушно продолжала смотреть в книгу. Она не читала. Глаза бегали по строчкам, слова воспринимались как сочетания букв, смысл не доходил до сознания.

— Кузен Понс, кузен Понс, — произнесла Эвелина вслух и накрыла книгу рукой. В дорогих камнях перстней играло, дробилось на мириады искр солнце. Это забавляло и успокаивало.

Мысли мелькали.

Кароля, слава богу, нет. Никто не шпионит и не питает надежд на ее близкую смерть. Можно жить спокойно и тихо. Может быть, позвать Онорэ, написать ему, остаться здесь с ним навсегда? Зачем ей Франция, Париж, новые заботы и снова неведомое? Она смежила веки и так застыла, опершись полными плечами на мраморную спинку. Трепетали тонкие ноздри, чуть вздрагивали губы. Ветер играл локоном на виске. Думала: так будет лучше, память обновит былое, зажжет искры чувства, заставит сердце замереть. Сидела долго, не открывая глаз. Кто знает, сколько прождала. Тщетно.

Звякнули шпоры. Медленно подняла веки. Чиновник жандармерии Вифлейский стоял на пороге беседки, почтительно склонив голову.

— Простите, что вынужден обеспокоить вас, ваше сиятельство, но дела неотложны... — Он широко развел руками, подчеркивая этим движением всю тяжесть дел, и, как бы в подтверждение своих слов, снова звякнул шпорами.

Эвелина молча показала ему на мраморный стул напротив себя. Вифлейский, неизвестно для чего втянув голову в плечи, на цыпочках переступил порог беседки и, как мотылек, одним движением, сел. Узенькие закручен-

ные кверху усики придавали его лицу лихой вид, хотя на самом деле Вифлейский был вовсе не расположен к веселью. Чиновник не знал, как начать разговор. Впервые в жизни пришлось ему разговаривать с графиней наедине. Он крепко прижал руки к коленям и, покачивая головой, начал. Конечно, не следовало бы омрачать светлые мысли их сиятельства хлопскими делами. Да он никогда и не отважился бы на это, если бы холопы не представляли такой большой опасности. Пусть пани не удивляется. Холопы у нее и в самом деле очень плохи. Лентяи, плуты, бунтовщики. Они способны на все. Но теперь, после того как он, чиновник Вифлейский, провел следствие, о, теперь неприятностей никаких не будет! Возможно, пани придется лишиться десятка или полутора десятков душ, но это мелочь, если подумать, что в Верховне, наконец, воцарится покой.

Эвелина молча слушала торопливую речь жандармского чиновника. Она внимательно наблюдала за его лицом, за беспокойно мечущимися маленькими темными глазками, и редкие черные зубы под тонкими губами были ей противны. А чиновник так и сыпал круглые, небольшие слова, стелил их под ноги причудливым узором, и усики его подпрыгивали, суетились, точно существовали они сами по себе, отдельно от своего владельца.

Что же, она согласна. Графиня слегка махнула рукой, унизанной перстнями. Чиновник умолк. Если это в интересах охраны собственности, она согласна на крайние меры.

— Поступайте, как сочтете нужным, — говорит графиня, отворачивая голову в угол беседки, и Вифлейский понимает, что аудиенция окончена. Эвелина не поднимает глаз, пока мягкие, кошачьи шаги чиновника не стихают на песке аллеи.

Вновь она видит перед собой стройные шеренги тополей, маслянистую зелень щедрого лета, и, как прежде, где-то в степи плещется волною грусти тревожная песня, навевая неутешные, безжалостные мысли.

...И так проходят мучительные часы одиночества и воспоминаний, полные непреодолимой жажды ласк, тоски по ним. Эвелина бродит по широким аллеям старого парка, по извилистым дорожкам цветников; над клумбами кружат, исступленно мечутся шмели, пчелы и нежные оранжевые бабочки порхают меж ними. Она

долго ходит среди цветов, и никто из челяди не осмеливается доложить графине, что в гостиной ожидает ее ксендз Янковский, что фельдъегерь привез из Бердичева важный пакет и желает передать его только в руки ее сиятельства, что дед Мусий, избитый жандармами, лежит ничком на запыленной, утоптанной сапогами земле у крыльца людской и тоже мечтает о милости и доброте ее сиятельства.

Эвелина входит во дворец. Она ступает медленно, размеренной, легкой походкой, на бледном лице спокойствие и равнодушие. Скрипят старые ступени. Запах плесени доносится сверху. Но графиня не останавливается. Одним толчком ноги она отворяет дверь. Недовольно скрипя на ржавых петлях, створка отходит внутрь комнаты. И еще с порога Эвелина видит у стены знакомый глубокий альков, низенькие пуфики, подернутый серой дымкой пыли ковер, а на столе в красной высокой вазе увядшие прошлогодние цветы.

Эвелина затворяет за собой дверь. Потом садится на постель и гладит рукой парчевое жесткое покрывало. Прямо перед собой в окне она видит лебединые крылья облаков, дрожащих и призрачных.

В эти минуты она понимает: все то, что осталось за порогом, становится для нее далеким и ненужным. Жизнь здесь, в этих стенах, где живет еще дух прошлогодней осени, где плывет еще под потолком, над тяжелой карсельской лампой полынная горечь любовных ласк, где пожар чувств реет еще далеким и влекущим сном. Она опирается подбородком на руки и застывает так в немом ожидании.

...И день, до краев наполненный солнцем, ветрами и цветением земли, тревогами и любовью, проходит за стенами дворца, проходит бесшумно, не оставляя надежд.

Она сидит неподвижно, забыв обо всем, помня лишь одну всемогущую и непостижимую тревогу.

Сквозь эту тревогу слышатся ей тяжелые шаги Онорэ где-то там внизу на лестнице, прикосновение его рук, шепот его губ. Эта тревога зовется любовью. Пусть потом пустота, нестерпимая боль растравленного сердца, пропасть, из которой нет возврата. Все это потом. А пока есть еще выход, зовущий ее, и она будет хранить надежду, оживляемая желанием любви.

— Подожди, подожди! — шепчут губы Эвелины в

густеющие сумерки комнаты. — Подожди, искуситель! Ты не заставишь меня, нет!

Эвелина в исступлении, охваченная странным и безудержным порывом, сползает с постели, преклоняет колени и горячо крестится, подняв глаза к открытому окну, в котором синеет вечернее равнодушное небо.

А потом, когда охладевает пыл и тупая боль сковывает склоненные колени, она со стоном поднимается с пола и ложится в застланную парчевым покрывалом большую постель, которая не раз принимала ее в осенние ночи. Она лежит, разметав руки, тяжелые, будто чужие, уставясь широко раскрытыми глазами в пятнистый от лунного света потолок. Она желала бы уже ни о чем не думать, но мысли приходят непрошенно, и губы сами собой шепчут, зовут настойчиво и просительно:

— Онорэ, Онорэ!

Не дождавшись графини, удивленно пожимая плечами, уезжает ксендз Янковский; фельдъегерь из Бердичева дремлет на скамье в прихожей, кошачьими шажками блуждает по комнате дворецкий Жегмонт, Марина лежит на сундуке в узеньком душном коридоре и сквозь пелену слез видит грустное лицо Василя.

А дед Мусий, избитый жандармами, так и лежит ниц на земле у крыльца людской и дышит пылью, и слушает ночь, что ложится на землю тревожным шумом ветров и неизвестностью утра. Ему хочется отползти куда-то в кусты, в поле, в мертвую тишину вечности, но желание его тщетно и жажда неутолима, и он приемлет все это как горькое искупление за Василя. Во флигеле, в апартаментах покойного Кароля, спят ротмистр Зыков и чиновник Вифлейский. В открытый графин с недопитой водкой залетела муха и безнадежно кружится там, трепещет крылышками, жужжит. Длинная полоса лунного света рассекает комнату надвое.

Эвелина не в силах подняться с постели. Власть воспоминаний и желаний неуклонно влечет ее все вперед на цепи неизбежного. Ей трудно дышать, останавливается взволнованное сердце. Негнущимися, словно одеревенелыми пальцами она расстегивает платье, распускает шнурки высокого корсета и, широко раскрыв рот, ловит, пьет большими глотками воздух. И начинает понимать: душа ее, быть может, в последний или предпоследний раз стремится к Онорэ. И то, что желание

это похоже на бред, пробуждает в ней большое сомнение. Каким-то подсознательным глубоким чутьем знает она, что он непременно вернется, что не надо звать его; и это же чутье подсказывало ей, что она будет связана с ним теперь навеки перед богом и людьми.

Так в эту ночь решилось то, что долгое время взвешивалось на весах осторожности и предубеждения. Уже на рассвете она нашла в себе силы сбросить оковы небытия и, шатаясь, как лунатик, сошла вниз. Она прошла в свои покои, сбросила с себя одежду, заперлась в ванной и долго стояла перед зеркалом голая. Ни один мускул не шевельнулся на окаменелом лице, только глаза покрылись предательской влагой, они ведь были безжалостными судьями и от них нельзя было скрыть изменническую суровую перезрелость, склонявшую долу буйные плодоносные деревья, тучные нивы и человеческую плоть. Струями хлестала вода по плечам, недавно еще упругие груди лежали увядшими плодами, и все тело, освобожденное от корсета, выглядело бесформенным, тяжелым и никчемным.

...А несколько часов спустя Эвелина сидела в кабинете, в высоком кожаном кресле. Цветное платье легко облегало ее тело. Сухие глаза жестко поблескивали. Тонкой выхоленной рукой она обмахивалась японским веером.

Граф Мнишек, приехавший утром, сидел на диване. Пятнистый дородный доберман-пинчер лежал у его ног и сонно поводил головой. На стекле книжных шкафов играли солнечные блики. Перед графиней в низеньких креслах замерли Зыков и Вифлейский. На столе лежал раскрытый пакет, еще накануне привезенный фельдъегерем из Бердичева. Все сказано, все понятно. Минута молчания — только дань важности принятого решения. Через полчаса на площадь перед церковью выведут двадцать крепостных и среди них деда Мусия, с худых тел сбросят мужицкие лохмотья, изодранные нуждою, и каждому, как записано в приговоре, дадут по пятьдесят розог, предварительно обмакнув их в соленую воду, чтобы долго помнило мужицкое тело горькую панскую ласку. А потом раскаленным железом выжгут на щеке, на лбу и на другой щеке три буквы, слагающиеся в одно позорное слово «вор», и будет то слово всю жизнь, до гробовой доски, гореть на лицах. После экзекуции их, избитых и обес-

чещенных, заставят подняться и исполнят то, что записано в протоколе старательной рукой чиновника особых поручений Вифлейского: «Сослать в Тобольск на каторжные работы вечно».

Над Верховней еще тишина солнечного утра, еще покой перед грозой, но гроза уже зреет в сердцах людей и встает перед хмурыми мужицкими глазами. Эвелина выслушала приговор. Вот он лежит перед нею на столе. За убийство управителя Кароля крепостные заплатят дорогой ценой. Может, он, отвратительный Кароль, и не стоит такой платы. Но это во имя порядка. Порядок и закон — это нерушимые догмы. Кто осмелился их нарушить? Кто? Какой наглый раб! Да и тот уже пойман. В письме из Бердичева жандармы сообщают ей: «Крепостной Вашего сиятельства Василь Манжура, учинивший злодейское убийство графа Кароля Ганского, пойман и предан суду, о чем и уведомляем Ваше сиятельство».

Эвелина вторично перечитывает содержимое пакета. Она думает: «Если существует загробная жизнь, пан Кароль может убедиться в моем великодушии».

Разговор окончен. Трудные дни следствия также. Ротмистр и чиновник поднимаются. Они по очереди целуют милостиво протянутую руку графини, склоняют головы перед Мнишеком, грустящим на диване, и скрываются за тяжелой дубовой дверью. Дворецкий Жегмонт затворяет за ними дверь и провожает их до террасы. Сонливый доберман-пинчер дремлет в ногах Мнишека, и пенистая слюна ниточкой стекает у него изо рта на ковер.

— Может, и мы пойдем посмотрим? — предлагает Мнишек.

— Что ты? — Эвелина отмахивается. — Противно.

— Не знаю, что тут противного. Не знаю.

Мнишек толкает ногой собаку. Та лежит неподвижно. В открытые окна кабинета доносится далекий звон, боязливый и глухой. Точно бьют в набат. Тревога черной тучей заволокла село. На крыльцо управы, против церкви, поднимаются ротмистр Зыков и чиновник Вифлейский.

А немного времени спустя на деревянные козлы кладут одного за другим обнаженных крестьян, и жандармы, чередуясь, полосуют синие тела розгами. Бьют в набат церковные колокола, шлют в степную даль свою неизреченную, тревожную жалобу, плача, как по

умершему, жмутся друг к другу мальчишки-пастухи в степи. Над широкой площадью стоят безутешные рыдания, вырываясь из глубины сердец. В открытые окна кабинета графини Ганской врывается колокольный звон. Один за другим звуки его тонут в коврах и мягкой мебели. Дремлет на ковре пес. Огромный глобус стоит на столе. Суетливый ручной попугай выпорхнул из клетки и, усевшись на глобус, хрипло картавит:

— Ваше сиятельство, ах, ваше сиятельство!

Эвелина и Мнишек сидят в столовой. Лакеи за их спинами стоят неподвижно, как каменные. Окна столовой выходят в парк. Сквозь чащу деревьев набат звучит глухо и гармонично. Граф Мнишек улыбается в салфетку и расхваливает свою псарню.

Ночью над Верховней промчалась гроза. Эвелина спала крепко. Окунулась в забытье и только сквозь сон вздрагивала от оглушительных ударов грома. А село не спало. Каждая хата жила еще прошедшим днем. И в каждой хате страшную игру молний воспринимали как небесное знамение, как гнев божий, и вставали среди ночи, преклоняли колени, крестились, а на подоконники ставили кварты, наполненные до краев водой, чтобы пронесло мимо хаты гром и молнию.

Размытым шляхом, под дождем, шли выпоротые розгами каторжники из Верховни. Молнии освещали им путь. Жандармы ехали верхами; они свирепо кричали на мужиков, подгоняли нагайками, наезжали лошадьми. Дед Мусий упадет, поднимется и снова ковыляет. Вот он опять упал: почувствовал, как что-то оторвалось в груди, точно ножом отсекли; в последний раз блеснуло в глазах небо, тяжелые завесы туч, и он окаменел пригвожденный к земле навеки.

И когда взошло солнце, а от грозы только и осталось, что полегшие хлеба и травы да говорливая вода в канавках, дед Мусий все еще лежал посреди степи, под охраной хмурого жандарма, оставленного здесь неведомо зачем, точно мертвый старик и теперь еще мог убежать от кары.

Солнце, большое и веселое, щедро посылало на обмытую дождем землю теплые лучи, и они играли беззаботно на почернелом лице деда, освещая на щеке, на лбу и на другой щеке три выжженные каленым железом буквы, из которых слагалось позорное слово «вор».

...И так лежал он, дед Мусий, в степи при дороге, равнодушный и к солнцу и к щебету воробьев, порхавших над ним, и уже мертвый, все еще неся на себе тяжесть искупления, неведомо за что и во имя чего.

Жандарм, сидевший в стороне, задремал.

Вода ворковала в ручейках. Под благодатными солнечными лучами вставали прибитые дождем колосья хлеба. Могучая сила поднимала их и возвращала к жизни. Только дед Мусий лежал неподвижно навзничь, и его раскрытые глаза не видели уже больше голубого неба, легкокрылых облаков, ясного солнца. Дед Мусий нес свое искупление в вечность.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ПИСЬМА И КУРЬЕРЫ

Бальзак лежал на диване молчаливый, равнодушный, бездеятельный. Опершись на локоть, прислушивался, как вертел за окном шарманку какой-то бродяга.

Франсуа ходил по комнатам задумчивый. Он думал: заболел мсье какой-то тяжелой неизвестной болезнью. На его глазах происходили невероятные перемены. Бальзак не пил кофе, не сидел по ночам за письменным столом, мсье как будто перестал выдумывать на бумаге людей и города. «Плохие приметы»,—подумал Франсуа.

Давно осыпался каштановый цвет на парижских бульварах. Прилежные дворники сгребли его в мягкие, невысокие кучи и, побросав в низенькие тачки, вывозили за город. Это уже шло жаркое лето, которого Бальзак не любил, потому что зной плохо влиял на его сердце. Он тяжело дышал по ночам, ему не хватало воздуха, хотя в окна лились волны ночной прохлады. Среди ночи просыпался, пил теплую, невкусную воду, отдающую речной гнилью. Проснувшись, не спал уже до утра. Бессонница мучила его. Застигнутый ею, он метался на постели и встречал утро ослабевший, опустошенный. Что он мог делать?

Казалось иногда, что весь мир забыл об его существовании. Даже кредиторы забыли. В белом кашемировом халате, подпоясавшись золотой цепочкой, часами ходил Бальзак по картинной галерее, останавливался

перед Парвусом и Гольбейном, долго разглядывал свой мраморный бюст, кусал усы и думал. Думал обо всем, близком и далеком, неосуществленном и давно пережитом. Это был какой-то вихрь мыслей. Нашествие, поток. Он не оборонялся.

В Париже давно уже все успокоилось. Жизнь входила в свои рамки. В Булонском лесу сновали роскошные экипажи, и, как несколько месяцев назад, поблескивали на солнце высокие цилиндры статных кучеров в шитых золотом ливреях.

У него на глазах свершалось пророчество графини Висконти.

«Значит, ошибка», — горько жаловался Бальзак самому себе и снова ходил из комнаты в комнату, с каждым днем все острее ощущая, что его дом на улице Фортюне стал для него тесен. И наконец, когда возникло и не исчезало это страшное чувство, он понял: надо бежать из Парижа. Куда? Странное дело. Какой может быть вопрос? Куда? Куда? Он бегом бросился в кабинет, упал в кресло у письменного стола. Верный оруженосец Франсуа сохранял в порядке его оружие. Бальзак улыбнулся. Связка гусиных перьев, новых и чистеньких, радовала взор. Он достал одно из серебряного стакана, привычным движением прикусил кончик пера и обмакнул в чернильницу. Она была полна до краев. Чернила запахли знакомо, немножко горьковато и маняще. Трепет прошел по его телу. Это было давно забытое радостное волнение. Но он вспомнил, зачем взял перо, и минутная тревога прошла. Мгновение он думал, кому же написать? Потом решил: всем троим.

В тот же день написал письма: министру просвещения графу Уварову, шефу жандармов графу Орлову и своей «звезде Севера». Такого с ним еще не бывало. Фразы ложились на бумагу длинные, и мысли были неубедительные.

Он разорвал написанное и собрался писать вновь, а обрадованный Франсуа зажег свечи и нагрел кофе. На цыпочках вышел он на кухню и, прижав палец к губам, таинственно прошептал кухарке:

— Роза, тише. Мэтр работает.

Далеко за́ полночь Бальзак закончил письма. Они лежали перед ним в белых широких конвертах, и он тешился результатами своей работы.

На следующий день он собственноручно отнес их на почтамт. Как провинциал, допытывался в окошечке почтового чиновника, сколько дней пройдут письма, и через какие города идет почта, и дойдет ли, наконец, до адресатов.

На улице облегченно вздохнул. Выпрямился, словно сбросил тяжесть с плеч, и, постукивая палкой, пошел без всякой цели бродить по Парижу. Он обходил редакции и антикварные лавки и не замечал знакомых. Его просто интересовал Париж, наполненный беспорядочным стуком экипажей, цокотом конских подков и людским говором. Его узнавали. Без стеснения заглядывали в лицо. Догоняли, забегали на полшага вперед и заглядывали в глаза. Впереди него, за ним и по бокам, приятно щекоча слух, звучало:

— Смотрите, Бальзак!

— Что вы?

— В самом деле, он.

А Бальзак шел своей дорогой, внешне равнодушный к любопытству прохожих, но в глубине сердца радуясь. Ему подумалось: не мешало бы идти рядом с ним Эвелине. День был пасмурный, но теплый. В воздухе пахло дождем. Улица Кассани встретила Бальзака приятной тишиной. Здесь было меньше экипажей и пешеходов. Прошел мимо дома, где когда-то жил. Не остановился даже. Кто теперь там, за голубыми шторами? С этим домом было связано сказочное время в его жизни. Тогда он утверждал себя в Париже не одними книгами. Слава таланта должна была поддерживаться кухаркою, двумя лакеями, — как их звали, неужели забыл? Бальзак даже замедлил шаги, — как их звали? Пошел быстрее, вспомнив, что первый, сухощавый и болтливый, звался Паради, а второй — Леклерк. У него было два выезда, кабриолет и тильбюри, пара лошадей, которых знали в Булонском лесу, — Смоглер и Бретон. Он любил свой лакированный кабриолет, горделиво-спокойную поступь коней, шорох песка под колесами. Приятно было иногда порисоваться перед парижской знатью достатком и светскостью. Такова-то улица Кассани. Он остановился, выбирая дальнейший маршрут. Прямо перед ним была площадь, налево переулок. Бальзак свернул в него. Второй дом на правой стороне привлек его внимание. Знакомая черная вывес-

ка над дверью бросилась в глаза. Не колеблясь, дернул дверь. На пороге столкнулся со старым приятелем. Владелец типографии Жюль Батайль удивленно застыл на месте.

— Каким ветром, из каких краев? — спрашивал он немного погодя, когда они уселись вдвоем в низенькой конторе.

За тонкой деревянной перегородкой шумели печатные машины, шуршали шрифтом в кассах наборщики. Бальзак с интересом рассматривал постаревшее грустное лицо Батайля.

Все в этой комнате, как и ее хозяин, было хорошо знакомо, запечатлелось в памяти навеки. Казалось, только вчера он вышел из этой ободранной, грязной, низенькой двери. На заржавленном согнутом гвозде, вбитом в противоположную стену, висели длинные листы корректуры.

Жюль Батайль набил трубку, высек огонь и большим желтым пальцем прижал шнур к табаку, посасывая трубку. Горьковатый знакомый запах защекотал ноздри Бальзака.

— Издалека, Жюль, — сказал он, с удовольствием вдыхая синеватый крепкий дымок трубки, — пришел к вам за добрым словом, за вашей лаской, которая так часто утешала меня в былые дни, господин Жюль!

Старый Батайль растерянно кивнул головой.

— Хорошо говорите, мсье, но меня это не касается. Ваши издатели не интересуются моей типографией. Что им Батайль! Для них нужны фабрики книг, а я теперь, мсье, антикварный уникум. — Он склонился над столом, и кровь густыми пятнами прилила ему ко лбу. Вытащил из ящиков стопы бумаги и разбросал на столе перед Бальзаком.

— Смотрите, мсье! Чековые книжки, почтовые квитанции, театральные билеты, визитные карточки и другой хлам — вот что печатает теперь Жюль Батайль.

Одним движением руки старик смахнул все со стола на пол и глубже затянулся табаком, искоса поглядывая на Бальзака, — давненько не видел он писателя, но, однако, ревниво следил за его книгами. «Что же, видно, и его дела не так уж блестящи», — подумал Батайль, усмотрев седину в поредевшей шевелюре Бальзака. В памяти всплыл день, когда гибкий, подвижной

юноша, с горящими глазами, положил перед ним на этот же стол сверток исписанной бумаги и умолял напечатать, рисуя богатство и роскошь, которые ожидают владельца типографии, если он согласится на его предложение.

— И постарели мы с вами, Батайль!

— Годы!..

— Ах, если бы сдержать их бег!

— Зачем?

— Зачем? — повторил Бальзак, но торопливо, как бы убедившись, добавил: — И правда, зачем?

— Я теперь, как Цезарь Биротто, — улыбнулся Батайль, — вознесся и познал падение. Но мне уже недолго стонать на этой земле.

Седые мохнатые брови сошлись над длинным горбатым носом. Старик напоминал усталую хищную птицу.

— Вы видели когда-нибудь орла? — поинтересовался Бальзак.

— Никогда. Э, что ж я такой невежливый, — засуетился Батайль, — гость у меня такой, а я такую грустную исповедь тяну. Очень прошу вас ко мне, не откажите. Очень прошу.

Он настойчиво уговаривал Бальзака, словно тот сопротивлялся и не принимал приглашения. Придерживая гостя за локоть, Батайль проводил его через узкий коридорчик в большую, тихую комнату. Два окна уходили в сад. На подоконнике цвела герань. Между окон, в зеленой клетке, била крылышками канарейка.

— Прошу, прошу, — он усадил гостя в глубокое кресло, а сам бросился к большому черному шкафу, долго шарил там, что-то бубнил себе под нос, давая возможность гостю тем временем рассмотреть комнату. Бальзак не помнил, бывал ли он здесь раньше. Кажется, нет. Старенькие олеографии на мифологические темы на стенах, швейцарские часы в темном углу, на полках за стеклом ровные ряды книг. От всего этого веяло покоем и порядком. Батайль поставил на стол бутылку вина, две рюмки и на тарелке сыр и хлеб.

— Такой гость, и вот... — извинялся старик, — простите уж...

— Пустяки, что вы! — Бальзак взял бутылку, вынул пробку и налил красное вино в рюмки. Это понра-

вилось старому Батайлю. Значит, писатель не загордился, а он же великий писатель. Они выпили по рюмке, а потом и по другой, и когда Батайль наливал третью, Бальзак вспомнил:

— А помните, друг мой, как вы колебались: печатать или не печатать мои рукописи?..

— Еще бы! Без издателя, без всякой гарантии, на свой собственный риск. Вы тогда, мсье, брали на себя слишком много, вы были автором и желали стать еще и издателем.

Старый Батайль с укором посмотрел на Бальзака:

— Чересчур много вы брали на себя.

Бальзак рассмеялся.

— Чудак вы, Батайль. Что же я мог сделать, если издатели, надменные, гордые издатели из кварталов Сен-Жермен и Сен-Дени, не хотели со мной говорить. Я вынужден был искать выход, я играл с судьбой, господин Батайль...

Они выпили по третьей рюмке. Крепкое вино ударяло в голову и сжимало ее упругими обручами; они расширялись под черепной коробкой, и по ним совершали свой бесконечный круговорот мысли. Они троились, эти мысли: одни об Эвелине, другие о письмах в Петербург, третьи о Батайле.

— Ах, Батайль, если бы вы знали, Батайль!..

Владелец типографии сидел, потупясь, в кресле, отягощенный своими заботами. Через мгновение он отозвался:

— Что именно, мсье?

А Бальзак уже забыл, что он хотел рассказать старому типографу.

— Мне приятно у вас, — признался он, — так бы отгородить себя от Парижа, от всего мира, читать... А может быть, и не читать, только думать и слушать канарейку, и смотреть в сад, нести в себе свое одиночество, как драгоценную ношу. Я завидую вам, Батайль.

Горькая усмешка искривила губы Батайля.

— Не завидуйте, мсье. Эта тишина — только видимость. Я не имею покоя. Сколько мрачных мыслей преследует меня, а сколько забот. Долги, кредиторы, свет со своими нелепыми законами, со своими прихотями и соблазнами ежечасно посещают этот уголок, и одиночество — это только воображение, призрак, а в действи-

тельности я раб. Кто-то тянет меня на цепи вперед, точно быка на убой, я упираюсь всем существом, но иду, — ибо тот, кто тянет, сильнее. Я не хочу идти! — выкрикнул Батайль.

Бальзак впервые видел старого типографа возбужденным и разгневанным; его глаза из-под косматых бровей светились лихорадочными огоньками, он размахивал жилистыми руками, точно боролся с кем-то, между тем все глубже оседая в кресле, точно уступая более сильному противнику. После долгой паузы, нарушаемой только шаловливой канарейкой, Батайль тихо сказал:

— Мир стал слишком сложен, мсье, и давно уже не разберешь, где начало и где конец. Вам оно виднее. Вы великий человек и хорошо распознаете дурное и хорошее в обществе.

Низко склонив на грудь голову, слушал Бальзак тихие слова старика. «Чудак, он и правда считает меня пророком. Надо ли рассеивать его иллюзию? Какая злая ирония судьбы! Я завидую старому типографу, он завидует мне».

Что-то толкало Бальзака на откровенность, и он уже собирался начать исповедь, полную горьких признаний, но жило в нем и другое чувство, оно пересилило, и, покоряясь ему, он разлил остаток вина в рюмки, поднял свою — тяжелую, неуклюжую, старинного стекла, с суровым рисунком рыцарского боя у стен стрельчатого замка, и мечтательно провозгласил:

— Я пью за вас, друг Батайль, за ваше чуткое сердце, которое в былые времена тепло приняло мои порывы. Как видите, свет не без добрых людей, но их становится все меньше, — тихо заметил Бальзак самому себе и одним движением выпил вино.

Он поднялся. Ноги не вполне подчинялись ему. Он понял: последний бокал был лишним. Прошел к книжным полкам. Сразу же на средней узнал толстые тома своих произведений. Батайль следил за ним. Бальзак открыл дверцу и стал рассматривать свои книги. Он брал их в руки по одной, неторопливо, точно впервые знакомился с ними, как прилежный, внимательный читатель, и один миг, странный и неповторимый (так хотелось ему), он чувствовал, что между ним и его книгами — стена, неперейденная граница, что он канет в не-

бытие, сойдет туда же Батайль, а книги в серых обложках будут стоять на полках, и другие руки будут их трогать, и другие люди будут искать в них утешение. Он перелистывал знакомые страницы, и запах типографской краски захватывал дыхание. Перед глазами прыгали имена, фамилии, он шептал их про себя, точно сзывая на большой совет, а за его спиной застыл в торжественном молчании старый Батайль, благоговейным взглядом ловя каждое движение Бальзака, сложив на груди тяжелые, натруженные руки...

Однажды проснулся ночью. Сон, махнув крыльями, исчез за окном, а память восстанавливала его, высекала искры, из них разгорелся костер, и это было наслаждение, игра мечты. За окном еще густели сумерки ночи. И это было хорошо. Никто не мешал мечтать. И он отгадывал сон с такой последовательностью, точно желал повторить его.

...Ему снилось: просторная широкая степь, а над нею голубое прозрачное небо, и на травах, высоких и сочных, в рост человека, жемчужная утренняя роса. Он шел по мягкой, утоптанной тропке меж травами. Был он молод и статен, чья-то незримая рука то и дело подносила к глазам его зеркало, чтобы убеждался он в своей красоте и силе. И он смеялся во весь голос весело и торжествующе, как когда-то в мансарде на улице Ледигьер, и смех звучал в степном просторе. Тропка привела его к источнику. Вода струей, острой, как лезвие меча, била из-под высокого нежного дерева, а через мгновенье он увидел склонившихся к ручью стекольщика Канеля, Батайля и слепого старца в убогой свитке с торбою. На руке деда он заметил свой перстень и обрадовался. Он хотел сказать что-то деду, но тот поспешно снял перстень и вложил его в руку Бальзака. И тут он пробудился.

Теперь, разгадывая странный сон, он не мог избавиться от неприятного чувства. Что это могло значить? Он был склонен, как всегда, толковать сон как примету. Волновало: как же считать — добрый или злой? Впрочем, через полчаса он забыл про сон. День длился бесконечно долго, как и многие дни потом, был полон раздумий, блужданий по городу, сидения в кресле за письменным столом и... письмами.

Письма он писал ежедневно. Писал сестре Лауре,

Эвелине, таможенному чиновнику в Радзивиллове, барону Гаккелю, издателю Суверену, написал два письма Виктору Гюго, но, впрочем, не отослал. Теперь письма относил на почтамт Франсуа. И всякий раз Бальзак расспрашивал, как и при каких обстоятельствах они были сданы чиновнику.

Однажды он взялся за архивы. С чердака принесли две гигантских размеров корзины, и он до поздней ночи рылся в них, вытаскивая на свет божий перевязанные бечевкой большие стопы исписанной бумаги. Слегка волнуясь, перелистывал пожелтелые страницы рукописей. Они обновляли в памяти забытые ночи страданий и радостей. Вот «Отец Горио», вот «Цезарь Биротто», а вот «Темное дело».

— Боже мой, «Темное дело»! — не удержался от громкого восклицания. Положил на стол маленькую, перевязанную голубой тоненькой ленточкой стопку бумаги. Осторожно, непослушными пальцами, развязал тугой узелок и открыл запыленные, выцветшие страницы... Так вспомнился день 15 декабря 1840 года. На Елисейских полях собралась стотысячная толпа. Она сопровождала гроб с телом Наполеона Бонапарта. Прах императора несли в собор Инвалидов, и в тот момент, когда процессия вошла в собор, над ним появилась радуга. Люди увидели ее, нежную, дрожащую, она стояла в лазури величественно, соединяя неведомые таинственные берега. И его лично, как и тысячи других (а может быть, только его), поразила одна деталь — рука императора. Казалось, она делает какой-то знак, эта белая спокойная рука...

И много позднее эта минута вошла в память навязчивыми образами и породила повесть «Темное дело».

Вздохнув, Бальзак сложил рукопись. Аккуратно перевязал той же ленточкой и бросил в корзину. Он еще долго перебирал свертки и стопы бумаг, громко перечитывая написанные вверху либо посередине страницы названия: «Эжени Гранде», «Шагреневая кожа», «Утраченные иллюзии», «Кузина Бетта», «Тридцатилетняя женщина», «Шуаны», «Поиски абсолюта»...

Он устал и вышел из кабинета. Сидел в картинной галерее, погруженный в думы.

Над Парижем пламенело палящее солнце. Сонно и равнодушно стучал в окно ветер.

Ему казалось: по рукописям можно было восстановить в памяти жизнь. Величественную и неповторимую, страшную и кощунственную, отмеченную восхождением на вершины и падением с них...

Так началась усталость, всепоглощающая и неминуемая. Не было от нее лекарств, не было знахаря, чтобы сказать волшебное, таинственное слово и победить эту злодейку усталость. Корзины с рукописями остались в кабинете. Он запретил Франсуа трогать их. Часами вел с ними Бальзак немые разговоры. Выходил на поединок и неизменно оставался побежденным. Сидя над корзинами, рассматривая рукописи на дне, он видел себя над пропастью, представлявшейся ему жизнью, и он бросал в эту пропасть, ненасытную и неблагодарную, лоскут своей души, кромсал для нее сердце, набивал ее лучшими творениями своего мозга, и все-таки не проложил моста через нее.

Проходили жаркие дни, и росла усталость. Она стояла за его спиной, когда он садился за письменный стол. Это она, невидимая и неуловимая колдунья, наливала оловом руки, нависала над постелью и наполняла сон нестерпимыми кошмарами. Бальзак брался за десятки дел в эти дни и не доводил ни одного до конца.

Клуб Национального братства выдвинул его кандидатом в Национальное собрание. Это сразу принесло радость. Он поспешил написать статью, в которой изложил свое политическое кредо. Его предложения не имели успеха. Он не услышал ни одного отклика. Кресло депутата в Национальном собрании осталось за темной и неприглядной завесой.

Он попробовал откликнуться на призыв министра Ледрю-Роллена и появился на собрании литераторов Парижа. Из сотни людей он знал здесь только двоих — Шанфлери и Ланделя, автора приключенческих романов. Здесь было достаточно шума и слишком мало продуманных слов. Представитель министра внутренних дел Ледрю-Роллен заявил литераторам, что министра интересуют их пожелания в области художественных изданий.

Коллеги ждали выступления Бальзака. Он сидел посреди зала в сафьяновом кресле и улыбался. Что же, если это надо, он выскажет свои соображения. Бальзак поднялся на трибуну, и движение в зале улеглось. От-

кидывая волосы резким движением головы, Бальзак сказал:

— Не говорите вовсе, либо говорите о художественных изданиях. А вы тут открыли парламент: обо всем понемногу. Министр не спрашивает вас — нужны ли, по-вашему, художественные издания, его интересуют ваши соображения о них, и ничто не может заставить вас обойти этот вопрос... — Он выдержал минутную паузу, которая показалась ему необходимой, и закончил: — Очень благодарю вас, коллеги, за приглашение. Мне пора идти. Желаю вам успеха. — Спокойно сошел с трибуны и оставил зал.

...И вот теперь он сидит в своей картинной галерее, объятый ужасной усталостью, и ему уже ничего не жаль. Он думает об отдыхе, как о тихой гавани, куда, изувеченные штормами, заходят корабли. Неуклюжий, распухший, больной и равнодушный, он напоминает самому себе расшатанный морскими волнами корабль с изодранными парусами и поломанным рулем. Стонет под Бальзаком земля и отзывается короткими, как выстрелы, звуками в висках. Черный кофе перестал быть элексиром жизни.

Так Бальзак ждет ответа на письмо.

А тем временем письма совершали свой путь каждое отдельно, как это и предназначено каждому его собственной судьбой.

Два были получены в Петербурге, третье в Верховне. С третьего чиновник жандармерии Киселев в бердичевском почтамте снял копию и отослал ее в Киев в собственные руки Бибикову.

В Европе было пасмурно. Непогода громоздила тяжелые тучи над королевскими дворами. Все, что прибывало из Европы, проверяли. Ткани тщательно ощупывали, растягивали и скручивали — не выскользнет ли какая-либо крамола; книжки прочитывали, сдирали обложки; с писем снимали копии; путешественников вовсе не пропускали через границу. Император Николай I отдал приказ приостановить выдачу заграничных паспортов. В посольствах ревностные исполнители монаршей воли с вежливой улыбкой отказывали титулованным особам.

...И вот прибыли письма. Одно министру просвещения Уварову, другое графу Орлову. Из архивов извлекли знакомое дело в зеленой обложке. Чиновники старательно списывали копии с копий. Полетели в фельдъегерских возках запросы в Киев, в канцелярию генерал-губернатора Бибикова. Засуетился в Бердичеве чиновник Киселев.

А письма, обычные, благонадежные, написанные изысканным стилем, хорошим языком, прошли свой путь неторопливо и спокойно из Парижа по железной дороге в Краков, а оттуда почтовой оказией через Радзивиллов, Броды, Бердичев, Житомир, Киев — в Петербург. И к белым конвертам прикасались десятки рук, их подбрасывали на ладонях, опускали в мешки, держали на полках, а Бальзак в Париже на улице Фортюне ждал ответа.

Письма в Петербурге как бы положили на весы. Пока весы еще ничего не показывали. Министр Уваров внимательно изучал дело «французского литератора Гонория де Бальзака».

Министр Орлов также изучал. Не торопилась с ответом Эвелина. Время точно остановилось. Все было в тайном заговоре. На улице Фортюне в Париже метался в железном кольце усталости и страданий Бальзак.

День был солнечный. Небо чистое, августовское, когда в воздухе сурового Петербурга уже улавливалось дыхание осени. В Царском Селе били фонтаны. Нимфы на аллеях едва заметно, таинственно улыбались. Ровно подстриженные кусты привлекли взоры царя своей стройностью. Он сел на мраморную скамью, задумчиво глядя перед собой. Граф Орлов стоял в трех шагах позади. Император отер вспотевший затылок и долго вертел в руках платок. Фонтаны пронизывали воздух искристыми струями.

Император молчал. Ему не хотелось говорить. Он был утомлен жарой, делами и утренней ссорой с женой. Его раздражало все. В эту минуту он жалел, что и в Царском Селе приказал докладывать о делах.

Опять этот француз! Хорошо, он еще подумает, он еще подумает. Император через плечо бросает слова графу Орлову. Орлов, низко склонив голову, отступает, пятясь, в глубь парка. Император сидит на мраморной

скамье, окруженный нимфами. Они высечены из белого нежного мрамора. Это мертвый, холодный камень. Августовское солнце неспособно согреть его. В сердце царя не проникает солнце. Николай I сидит на мраморной скамье неподвижно, точно ее естественное продолжение.

Через несколько дней император Николай читает сжатые строки донесения шефа жандармов графа Орлова:

«Писатель Онорэ Бальзак в прошедшем году приезжал в Россию. Генерал Бибиков остался доволен его поведением и очень приязненно относится к нему, считая, что идеи де Бальзака имеют скорее литературное, чем политическое направление. Де Бальзак никогда не вмешивался в политику».

Орлов, с своей стороны, должен был отметить, что в самом деле «Бальзак вел себя благопристойно и проявил себя человеком благонадежным». Царь отодвинул всеподданнейшее донесение о французском литераторе и задумался.

Опыт с Кюстином не выходил у него из головы. А фельетон Бальзака? Это тоже не забывалось. Да и что тянет этого иностранца в Россию? Любовь? Царь не был склонен придавать человеческим чувствам столь магическое значение. Тень неудовольствия легла на его лицо.

Граф Орлов от себя присовокупил: «Принимая во внимание безупречное поведение Бальзака во время его пребывания в России, а также хлопоты о нем министра просвещения графа Уварова (Николай саркастически улыбнулся. «Хитрая лиса, — проговорил он громко, — обеспечивает себе путь к отступлению на всякий случай»), я считал бы, с своей стороны, возможным удовлетворить просьбу де Бальзака о разрешении ему прибыть в Россию».

Некоторое время царь колебался.

Шел август. В воздухе чувствовалось дыхание осени. Ветер катил по дорогам первые желтые листья. Эвелина читала «Айвенго» Вальтера Скотта. В доме на улице Фортюне ворожил над раскрытыми корзинами, полными старых рукописей, Бальзак.

Царь колебался. Пример Кюстина не мог исчезнуть из памяти. Жандарм Европы! Что ж, Бурбоны были мягче, а какие плоды пожинают они теперь? Впрочем,

не плохо бы приручить другого француза. Кажется, с ним договориться легче. Надо будет сказать Орлову. Царь берет карандаш и медленно сбоку пишет: «Да, но со строгим надзором».

...Идет август. Дрожит прозрачная даль. Над дорогами Российской империи клубится пыль. Полосатые шлагбаумы перерезают людные тракты. Мчатся без устали фельдъегери. Молчаливые курьеры собственной его императорского величества канцелярии везут в кожаных сумках тайные предписания. Проплывут леса, города, села, пшеничные нивы, и повсюду на них тысячи, десятки тысяч душ.

Стоит августовская жара. В канцелярии шефа жандармов тоже не прохладно. Угодливый писарь в чине жандрамского офицера под фразой, написанной царем, старательно добавляет: «Собственной его императорского величества рукой начертано: «Да, но со строгим надзором». Писарь подает всеподданнейший доклад высшему начальству, оно долго, благоговейным взглядом, рассматривает монарший росчерк и, торжественно вытянувшись в кресле, как надлежит в такую минуту, взволнованно подписывает под словами писаря: «генерал-лейтенант Дубельт».

А писарь, писавший слова, подтверждающие императорскую волю, так и останется инкогнито. Всеподданнейший доклад прячут в зеленую мягкую папку, на папке напечатано: «Собственной его императорского величества канцелярии Отделение Третье, Экспедиция — 3, № 443». Ниже номера чиновник-инкогнито выводит слово за словом, косыми буквами:

«Дело по ходатайству французского литератора де Бальзака о дозволении ему вернуться из Парижа в Киев, о дозволении помещице Киевской губернии Ганской вступить с ним в брак».

В жизни он усвоил одну аксиому. На смену страданиям должна прийти радость. Надолго ли? Теперь это его не занимает.

Радость пришла однажды утром в виде письма от шефа жандармов Российской империи графа Орлова. Буквы прыгали перед глазами Бальзака. Он ничего не видел. Одно слово заслонило для него весь мир.

— Дозволяется! Боже мой, дозволяется! — Он забыл усталость и отчаяние. Сжал в объятиях Франсуа, опрокинул чернила, разбил старинную фарфоровую вазу. И все из-за этого слова: «дозволяется». Это слово даже уменьшило для него тревогу, порожденную молчанием Эвелины. Подсознательное чутье подсказывало: теперь и от нее будет письмо.

Так и случилось. Пришло письмо. От него веяло душевностью, но и рассудительности в нем было не мало. Бальзак велел Франсуа отнести на чердак корзины с рукописями. Вспомнил об акциях (своих и Эвелины) и бросился на биржу. Он написал письма: Эвелине, графу Орлову, начальнику радзивилловской таможни Гакелю. Бальзак готовился в путь.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ДОРОГА

Снова на пути его лежал Бердичев. Мрачные таинственные стены монастыря кармелитов. Кривые улицы с низенькими покосившимися домиками. Большие площади, заполненные разным людом, шумные и неспокойные. Тянулась дорога.

А впрочем, чем дальше отъезжал Бальзак от Парижа, с тем большей жалостью вспоминал он этот город. Как и в былые дни, Париж представляется ему диким, нелепым, единством движения машин и мыслей, местом ста тысяч романов. Париж — это было существо капризное и прихотливое, и каждый человек, каждый дом становились частью плоти этой великой куртизанки.

Но — тянулась дорога. И Париж оставался за тридевять земель. И так бывало с ним всегда: дорога рождала грустные мысли. На почтовых станциях меняли лошадей. Он даже не успевал запомнить выражения лиц почтовых чиновников. Снова перед глазами расстилалась степь, в стороны отползали села, белели на высоких плато, в окружении лесов, дворянские поместья. Под колесами шуршал пылью старинный гетманский шлях. И могучие старые липы устилали его золотом листопада, они кряхтели густыми ветвями, жалуясь кому-то в степи. Солнце было осеннее. Медноликое. Равнодуш-

ное. На скошенном поле в бурьянах шалил ветер. Бальзак сидел в карете, молчаливый, сосредоточенный. Ему захотелось возобновить в памяти прошлогодний приезд. Но не удавалось. Другие мысли занимали его. И вот возник в степи Бердичев, шумный, беспечный городок, и снова был почтовый двор, вежливые чиновники, а на площади море евреев в черных долгополых сюртуках и ермолках. Бальзак стоял на крыльце, любуясь незнакомыми картинами иной жизни, а тем временем на конюшне запрягали свежих лошадей в старенькую, невзрачную карету.

Банкир Исаак Гальперин вырос перед глазами Бальзака, как привидение. Склонив голову, стоял на две ступеньки ниже. Бальзак протянул ему руку. Исаак Гальперин поднялся выше. Он, как приличествует радушному хозяину, церемонно приветствовал гостя. Он напомнил прошлую осень и встречу в корчме. Правда, теперь такая встреча была бы излишней, ведь пан Бальзак почти уже русский, он хорошо знает Украину и не нуждается в переводчиках. И все же Исаак Гальперин отваживается напомнить пану о своей незначительной особе. Он всегда готов служить пану.

Бальзак еще не знает, как оценить встречу с банкиром. Хорошо это или плохо. В каждой встрече он ищет каких-то примет. Но слова банкира и его появление заставили вспомнить забытую корчму, ночь, чернокосую красавицу молодую корчмарку, чудака корчмаря. Где они теперь? Где? Но может ли знать банкир Гальперин, куда подевался бедняга корчмарь и его красивая дочка? Право, он желал бы услужить пану Бальзаку, если это так интересует его. Но мало ли корчмарей на гетманском шляху, не уследишь за ними, и судьбы у них различны, прихотливы. Да и разве разгадаешь человеческую судьбу? В хитрых, изрезанных красными прожилками, глазах банкира Бальзак читает наглую ложь. Потом в пути, покачиваясь на мягких подушках кареты, он еще раз вспоминает Гальперина и корчму, и воспоминание ложится неясной грустью на его растревоженное сердце.

Дорога поднимается вверх. Глухая дорога на Верховню. Он просит кучера остановить лошадей и выходит из кареты. Низенький, полный, закутанный в длинный зеленый плащ грубого сукна, в круглой бархатной

шляпе, с палкой в руке, он выглядел чуть комично среди необозримого степного простора. Эта минутная остановка ему совершенно необходима. Может быть, еще раз, едва ли не в последний, надо собрать все сомнения, как зерна, бросить в этот плодоносный чернозем, чтобы в свое время взошли они горьким урожаем для кого-то другого. Ужели он один осужден всю жизнь питаться горечью человеческого существования.

Короткими шагами отходит Бальзак от экипажа. Он задерживается на краю небольшого оврага. Узенькая стежка меж увядших бурьянов тянется к кринице.

Подле криницы — рассохшийся длинный желоб для водопоя. Доски поросли нежным шелковым мохом. А над криницей взвился в синеву длинный журавель, поднимая вверх деревянное ведро без дна. Бальзак прошел к кринице. Заглянул вниз. Через минуту, привыкнув к темноте, глаза его разглядели глубокую пустую яму, поросшую бурьяном. Там, на большом остром камне, сидела жаба и смотрела на него равнодушным взором. Бальзак поднял голову. Ветер покачивал порожнее, без дна, ведро. Ему показалось — журавель, старый и рассохшийся, который когда-то был стволом чудесного дерева, томимый адской жаждой, просит у неба воды, потому что криница высохла, и деревянный сруб сгнил, и все вокруг заросло чертополохом. Журавель умоляюще смотрел в небо, просил и ждал, а небо было прозрачно и снисходительно к его настойчивым мольбам. Но если бы оно и смилостивилось, все равно не утолить было ему жажду журавля. Ветер раскачивал бездонное ведро. Оно жалобно поскрипывало вверху, над головой Бальзака. Безутешные мысли роились в этой голове. Он присел на столбик возле журавля и задумался. Он отождествлял себя с журавлем. Разве не так же просил он у судьбы счастья, как журавель у неба воды? Ведро бездонно, никакие водопады не утолят адской жажды журавля. Вода падет сквозь ведро на землю, в плодоносную и жирную землю, чтобы росли и наливались соком деревья и травы. А его жаждущую душу ничем не утолит судьба. Где-то в вихре дней душа его потеряла дно. Счастье проходит сквозь нее, чтобы обласкать других. Ведь это для других метался он за письменным столом и, как плодородная земля, рождая города и людей, восхвалял честность и клеймил лицемерие.

И все-таки журавель в степи, забытая криница принесли радость. Он сел в карету обновленный, утешенный и сомкнул веки, как только тронулись лошади.

Бальзак не спал. С закрытыми глазами легче было думать.

Позади кареты, на деревянных рессорах, подпрыгивали баулы, наполненные книгами, бумагами, одеждой. В одном из баулов, в черном футляре, лежала маленькая нежная скрипка. Цель путешествия была уже совсем близка. Оставались часы. Скоро и Верховня. И все же он торопился. Боялся опоздать. И сам хорошо не знал, к чему такая поспешность. Он проехал большую часть пути ничего не замечая. Это второе его путешествие в Верховню кое-чем отличалось от первого. Это он хорошо понимал.

Экипаж трясся по разъезженной дороге, тарахтели колеса. Кучер дремал на козлах.

Из Петербурга в Киев штаб-офицеру корпуса жандармов Киевской губернии Белоусову прибыл пакет от шефа жандармов графа Орлова.

«Государь император, по всеподданнейшему моему докладу и просьбе известного французского литератора де Бальзака, милостиво дозволил ему приезд в Россию, но со строгим за ним надзором. Помянутый Бальзак уже прибыл в наши земли, чтобы проехать в Волынскую губернию на жительство. Предлагаю Вашему Высокоблагородию во исполнение монаршей воли учинить строгий тайный надзор за этим иностранцем, его жизнью, занятиями и связями в обществе. О результатах жду Вашего извещения».

Штаб-офицер Белоусов принял соответствующие меры. Оживился в Бердичеве чиновник по особым поручениям Киселев.

Тем временем карета покачивалась по дороге. Бальзак сидел, сомкнув веки, и думал. Им еще владела усталость, и он не знал, какие лекарства способны уничтожить ее обманчивую власть. Он в эту минуту, как и во все дни затем, был далек от человеческих забот, его не интересовали ни цари, ни министры, ни парламенты, ни посольские грамоты; а за глухими стенами жандармских канцелярий писались запросы и доклады, и в них

его особа занимала достаточно значительное место. Так сама жизнь творила человеческую комедию, обращая Бальзака в персонаж этого странного лицедейства истории.

Встреча, на которую возлагались большие надежды, оказалась обычной. Он долго целовал руки Эвелины и заглядывал ей в глаза. Они сидели в будуаре на низенькой кушетке. Вечернее солнце догорало в окнах. Бальзак любовался Эвелиной, покоем, тишиной. Он ощущал какой-то холодок. Это было неприятно, но не поражало. Где-то в глубине души он уже был подготовлен к этому. Изменив своей честности, обратился к словам, которых ни за что не сказал бы год назад:

— Если бы вы знали, Эва, что было в Париже! Чернь совсем обезумела. Они сожгли трон короля, они, как шайка разбойников, ворвались в королевский дворец и грязными сапогами изуродовали чудесный паркет маршальского зала.

На миг Бальзак умолк, переведя дыхание. Ему стало душно. Резким движением он дернул жабо, и оно расстегнулось, упав ему на колени. Он не поднял его. Так и остался с открытой шеей. Багряные блики солнца играли на золотых пуговицах его сюртука. Эвелина сидела рядом молча. Черное платье с буфами и длинные, искрящиеся бриллиантами шпильки в волосах делали ее торжественно-величественной. На пухлых губах, едва открытых, блуждала прозрачная улыбка. Бальзак понял ее. Не дожидаясь едких слов, торопясь, успокоил:

— Я тоже был в маршальском зале. Я вошел туда с чернью.

Он не мог усидеть. Это было уже слишком. Кто, наконец, кто заставил его лгать? Он прервал рассказ, разгневанный. Всей душой, всем существом своим он кричал, добивался: кто?

Руки его сжались в кулаки. Сердце бешено билось в груди. Сердце выстукивало о ребра: кто-кто-кто-кто? Его глаза встретились с глубокими холодными глазами Эвелины. Теперь он знал — кто. Это она. Да, она. Ради нее он тогда солгал актеру Монрозу, ради нее он лжет здесь. Злоба кипела в нем. Она подступала к горлу, и он готов был вопить, кричать всему человечеству о своем позоре, но вместо этого он тихо, с печалью, которая граничила с ненавистью, вымолвил:

— Эва! О, Эва!

Эвелина сидела на диване неподвижная, величественная. Он сел рядом, обессиленный и окончательно побежденный. Что же ему оставалось? И, словно втыкая в сердце шпильки, он продолжал:

— Я пришел туда, Эва, чтобы взять себе, как талисман, кусок бархата с трона, но не успел, чернь топорами изрубила трон, напялив на штыки голубой балдахин. О, это был праздник трудовых людей!

Он забыл об осторожности. В голосе, которым была произнесена последняя фраза, звучали одобрение и радость.

— Это радует вас? — улыбаясь заметила Эвелина.

— Радует? О, господи, вы считаете меня сумасшедшим, Эва? Я заболел от страха за свою жизнь, я всякий день ждал ареста, но, конечно, — у него не хватало сил сдержаться, — конечно, Эва, меры Кавеньяка не радовали меня.

— Онорэ, Онорэ! — Эвелина снисходительно погрозила ему пальцем. Он схватил ее руку и покрыл долгими поцелуями. Губы его были сухи, жестковаты. Эвелина медленно отняла руку.

— Нет, Онорэ, вы все так же невозможны. Вы осуждаете Кавеньяка. Напрасно. Как иначе можно бороться с бунтовщиками? Только казни, эшафоты, розги, тюрьма, каторга. Чернь должна знать свое место, господин писатель. Это вам не игрушка на письменном столе — это жизнь.

Эвелина говорила тихо, но с внутренним порывом, и глаза ее горели неприятно. Она то и дело прикусывала верхнюю губу, и лицо ее становилось от этого холодным, жестоким. Бальзак сидел, склонив голову, опустив руки меж колен. Он не мешал ей. Он терпеливо принимал каждую фразу.

— Друг мой, да знаете ли вы, что такое порядок? В вашей Франции, Онорэ, много болтовни о свободе и порядке, вы имели случай убедиться, к чему это привело. Больше того, Онорэ, эта болезнь черни, как мор, докатилась и до нас, даже здесь, в моей спокойной Верховне, крепостной убил пана Кароля.

Эвелина умолкла на мгновение, выжидая реакции Бальзака. Он только выпрямился и скрестил руки на груди. Неслышными шагами вошел лакей Леон. Принес

канделябры с зажженными свечами и поставил их на камин.

— Отвори окно, — приказала Эвелина. Леон на цыпочках выполнил приказание и бесшумно исчез за дверями. Эвелина посмотрела ему вслед и, щуря глаза от света, продолжала:

— Вас гневит Кавеньяк, а как же иначе держать в повиновении это быдло? Я не верю в их честность, Онорэ, не верю в порядочность. Я не верю своему лакею. Я чувствую его ненависть. И на ночь я запираю двери спальни, а с собой ношу — видите, что? — Эвелина вытащила из-за спины большой черный ридикюль, раскрыла его и поднесла к глазам Бальзака.

— Видите?

В ридикюле лежал пистолет. Двумя пальцами Эвелина заперла ридикюль и отбросила его.

— А вы осуждаете Кавеньяка. Мы в России увлечены его законностью, Онорэ. Мы благодарим бога за такого монарха, как царь Николай. Каждое утро я молюсь за его здоровье, Онорэ. Он для нас, дворян, истинный отец и благодетель.

Эвелина благоговейно возвела глаза к потолку, точно в самом деле готова была сотворить молитву. А он все сносил. Его пугало равнодушие, сомкнувшее его уста. Впрочем, скоро он догадался. Это было не равнодушие, а усталость, страшная, нечеловеческая усталость. Неожиданно он увидел в простенке между окнами свой портрет. Остроязыкие огоньки свечей освещали лицо. Он видел себя в зеркале напротив и сравнивал свое изображение с портретом.

«Боже мой, что со мной стало!» — подумал он с глухой скорбью. Что он мог сделать? В простенке, окаймленный золотом рамы, улыбался представительный мужчина, исполненный силы и уверенности в себе. Движением головы он точно отбрасывал какие-то невидимые преграды и утверждал свою волю, свою неоспоримую победу над миром.

А в зеркале отражался сидящий на диване усталый человек, с припухшим лицом, спутанными волосами на голове, и слушал Эвелину Ганскую. А Эвелина? Ее он тоже видел в зеркале. Она тоже кое в чем изменилась. Разве это та Эва, с которой он встретился в Невшателе?

— Постарели мы с вами, Эва, — сказал он просто, — года идут, Эва!

Она замолчала обиженная и удивленная. Она не могла понять его замечания. Что это — чудачество или, быть может, издевка? Впрочем, для нее это все равно. Она решила не обращать внимания. Сделав вид, что не слышала оскорбления, она продолжала:

— Может быть, Онорэ, вы и обо мне будете дурно думать? Ведь я согласилась, чтобы за убийство Кароля двадцать мужиков приговорили к пожизненной каторге, а убийца, — кстати, вы, вероятно, помните его, мы встретили его в степи в прошлом году, молодой, кудрявый, — он, должно быть, уже казнен. Так вы и обо мне дурно думаете, Онорэ?

Эвелина ждала ответа. Он вспоминал. Точно, вспоминал. Статный русый юноша стоял у воза. Неужели он казнен? Неужели? За что? А, за убийство. Эва же рассказала. Юноша убил управителя. Бальзак вспомнил и управителя. Противный и безобразный пройдоха. И вот юноши нет. Он никогда его не увидит. Бальзак вспомнил и невесту юноши — горничную. Он хотел спросить Эву и о ней, но своевременно удержался. Вспомнилась ссора в Киеве.

Эвелина по-своему растолковала раздумье своего друга. Может быть, не стоило рассказывать ему об этом. Он в самом деле осудит ее. Такая мысль родила гнев. Хорошо. Если так, она еще больнее досадит прекраснодушному Бальзаку. Она не покажет, что разгадала причину его молчания.

— Онорэ, вы не можете вспомнить этого юношу? Я помогу вам, — это внук старика, крепостного, растрогавшего вас своей игрой на скрипке. Кстати, он также был осужден, но бедняга не выдержал розог и умер в пути. Мужики притащили его в село. На кладбище было запрещено хоронить, его закопали за околицей.

Бальзак впивается глазами в Эвелину. В глазах его зловещие огоньки.

— Что с вами, Онорэ? Что случилось?

Он прижимает ладони к сердцу и опускает веки. Одним движением губ, без голоса, он отвечает:

— Ничего, ничего. — А сердце разрывает нестерпимое отчаяние.

Как может Эва, его «Северная звезда», как может

она так спокойно говорить о человеческом страдании! Многих усилий стоит ему сдержать себя. Он покоряет разуму свои взволнованные чувства и, не отнимая ладоней от лица, молчит. Так ему легче. Молчание успокаивает боль и лечит раны.

Эвелина вздыхает. Трогает рукой кружевную шаль. В словах ее Бальзак улавливает искренность.

— Какая страшная и печальная встреча у нас, Онорэ. А ведь мы собираемся пожениться.

Он еще не может толком сообразить, что хочет сказать этим Эвелина. Но разве не хватит с него, что она произнесла слово «пожениться». Как облачко, прогнанное ветром, исчезло отчаяние. Стихла боль в сердце. Он протягивает руки к Эвелине, сползает с дивана и становится на колени. Он обнимает ее ноги и прижимается к ним щекой.

— Эва, — шепчет он, — душою и сердцем все дни и ночи мечтал я о тебе. Я летел к тебе мыслью и чувством. Ты мой маяк, Эва, и, как корабль среди бурного моря, искал я тебя, непогода изорвала мне паруса, меня захлестывал девятый вал, но ты светила мне в ночной мгле, и я приплыл к тебе, мой маяк, моя нежная звезда.

Она склонилась над ним и тонкой рукой гладила по голове. Слушала его взволнованно, и когда он умолк, поцеловала высокий, изрытый морщинами лоб.

Болезненное воображение подсказывает Бальзаку, что это счастье, но душа ощущает адскую пустоту. Когда он горячими губами припадает к губам Эвелины, это чувство не покидает его.

Пред рассветом он просыпается в своей комнате. Все здесь, как год назад. Он останавливается у окна и долго стоит, опершись локтем на холодный мраморный подоконник. Задумавшись, он встречает рассвет. Ласковое солнце входит в большую комнату неслышно и нежно. Оно сглаживает отчаяние и высекает в сердце искру надежды. Бальзак отступает от окна и склоняется над чемоданом. Из глубины его он достает черный футляр. Кладет на стол и раскрывает. На голубом бархате лежит хрупкая маленькая скрипка. Долго стоит Бальзак над нею. Беспокойные мысли омрачают высокий лоб. В открытое окно влетела ласточка. Она подпрыгивает на подоконнике и весело щебечет.

...Началась новая жизнь. Во всяком случае так он хотел думать. Самые мысли эти утешали его. Разложил на столе рукописи, набил ящики чистой бумагой, одел кашемировый халат, подпоясался золотой цепочкой; ему принесли кофе, попробовал — такое же, как в Париже. Положил перед собой томик Расина. С утра решил читать, потом писать, обедать с Эвелиной, после обеда вместе гулять! Вечером снова за работу. Безделию конец. Дело женитьбы — решено. Поэтому — за работу: деньги сами с неба не упадут. Эвелина решила. Имение она передаст Ане, если в конце концов не разрешат пользоваться доходами с него за границей, и выедет в Париж. Пусть только поутихнет там революционная буря. Онорэ понимал: Эвелине надо обеспечить существование прочное и богатое. Что могут принести деньги? Он перелистывал страницы красноречивого Расина и думал об источниках богатства. Театр! Только театр. Кашемировый халат приятно студил тело. Золотая цепочка плотно подпоясывала. Бумага была первосортной. Перья — парижские, чернила также. Кофе стояло тут же. Все было как следует. Однако не все. Он кусал перо, читал Расина, немного поскучал над Бомарше, перелистал несколько страниц Вальтера Скотта, подходил к окну два раза. Следил за облачком. Очарованно всматривался в далекую степь. Поистине это была прерия. Лучшей не мог бы выдумать и Фенимор Купер. Снова садился за стол. Напрасно. Выпил кофе и еще раз взялся за Расина. Воробьи играли под окном. Ах, надоедливые шалуны!

В простенке в будуаре Эвелины через несколько дней он уже не видел своего портрета. Он понял — Эвелина не хотела наглядных сравнений. Оригинал был здесь. К чему же портрет? Художник Луи Буланже, автор портрета, не мог обидеться, что его произведение перенесли в библиотеку.

Бальзак читал. Пока не работается. Пусть так. Он решил читать. Только читать. Это, правда, пока. Среди книг наткнулся на Шекспира. Этот автор никогда особенно не увлекал его. Бальзака раздражала лишняя риторика, и он терпеть не мог ограниченной добродетели Джульетты и непрактичности пылкого Ромео. На этот раз выбор его остановился на «Кориолане». Каждую страницу он читал дважды. Французский перевод был далеко не безупре-

чен, и это слегка раздражало. Он прочел «Кориолана». Когда закрыл книгу, была ночь. Слышно было, как в листве деревьев, в траве вяло шелестит нескончаемый дождь. Бальзаку показалось, что он достиг источника человеческих тревог. Шекспир приобрел в его глазах значительность. Бальзак полусидел в постели, обложившись подушками. На одеяле перед ним лежал томик Шекспира.

«Человеческая комедия» в этот миг пополнялась новыми темами. Случайно взор его остановился на столе, где лежала в открытом футляре скрипка, и сердце тревожнее забилось в груди. Эту ночь он спал спокойно. Ветер погасил свечи. Дождь перестал. Утром снова было солнце. Первый луч его проник в комнату и задрожал на томике Шекспира, лежавшем на его груди. Бальзак дышал ровно, спокойно. Теплая улыбка раскрыла полные красные губы.

Для Эвелины настали иные дни. Ей нравились деловые хлопоты. То, что раньше входило в обязанности Кароля, она охотно взяла на себя. Нового управителя брать не хотела. Ревниво следила за Бальзаком. Изучала каждый шаг, взвешивала каждое слово. Все сомнения были отброшены. Речь шла о браке. Она написала письмо Бибикову, прося его поддержки перед императором. Можно же, наконец, пойти на какие-нибудь уступки. Хотя она и выходит замуж за иностранца, но за некоторые услуги, оказанные ее родней монархии, можно не лишать ее права на владение поместьем. В глубине души Эвелина надеялась на положительный ответ. Осенью она собралась в Киев. Решила взять с собой Бальзака. Они вместе нанесут визит Бибикову. Эвелина прикидывала. Пусть, например, ответ будет отрицательный. Что же, так и будет. Она все равно не отменит своего решения. Там, в Париже, на улице Фортюне, в доме Бальзака будут каждую неделю собираться лучшие люди Парижа. Она будет блистать в этом обществе. Года делают свое дело, и время в самом деле подумать о покое.

Эвелина была в хлопотах, думала о Париже, следила за будущим мужем, и так шли дни, похожие один на другой, как близнецы. Начинался октябрь.

Однажды вечером сидели вдвоем на террасе. Эвелина закутала ноги в плед. Из темного парка веяло хо-

лодом осени. Печально шумели деревья. Бальзак говорил тихо, чуть мечтательно. Эвелина смотрела в темную глубину парка. Казалось, не слушала. Иногда, взглянув на нее, Бальзак повышал голос. Хотелось, чтобы Эвелина подумала над его словами. Он не мог оставаться равнодушным к тому, что Эвелина так скверно думает о людях. Необходимо было доказать ей справедливость своих взглядов. Надо же ей научиться различать добро и зло. Собственно, он понимал, что продолжает разговор, возникший в день приезда.

— Когда-то давно, Эва, я жил на маленькой улице, которой вы, конечно, не знаете, на улице Ледигьер, она идет от улицы Сен-Антуан, напротив фонтана, что на площади Бастилии, до улицы Серизе. Любовь и наука бросили меня в мансарду, где я работал ночью, просиживая день в библиотеке. Кроме моих научных занятий, меня обуревала жажда наблюдений. Я наблюдал обычаи предместья, его обитателей, их характеры.

Эвелина пожала плечами, точно желая этим жестом подчеркнуть свое удивление. Он уловил это движение и горячо возразил:

— О, вы ошибаетесь, Эва! Это были замечательные дни. Своей одеждой я не отличался от рабочих, они не обращали на меня внимания, и я мог свободно слушать их разговоры, жалобы, ссоры. Уже тогда я научился, наблюдая какое-нибудь лицо, проникать в душу, не пренебрегая, конечно, и телом, то есть охватывая внешние детали. Бывало, вечером, между одиннадцатью и двенадцатью, я встречал рабочего с женой, возвращавшихся из театра Абигю-Комик. Сначала они говорили о пьесе, а потом постепенно переходили к своим делам. Они считали деньги и обдумывали расходы. Тут же начинались жалобы на дороговизну картофеля, на долгую зиму, на недостачу одежды. Наконец разгоралась ссора, в которой каждый проявлял свой характер образными словами и выражениями. Я слушал жизнь, я входил в жизнь людей, я даже ощущал на своем теле прикосновение их лохмотьев, которые по чьей-то прихоти звались одеждой; стремления и горе этих людей наполняли мою душу. Это ужасно, Эвелина. Даже вспоминать тяжело. Вместе с этими людьми я негодовал на хозяев мастерских, на проклятых заказчиков, которые не платят денег. Да, Эва! Все мои старания были направлены к то-

му, чтобы забыть свои привычки, стать совсем другим человеком.

Бальзак сам увлекся своими воспоминаниями. В эту минуту его уже не интересовало, слушает ли Эвелина.

— Скажу только, что с той поры я стал понимать народ. Вы представить себе не можете, сколько драм, историй, сколько странных вещей увидал я в этом краю скорби!

Бальзак умолк. Ждал, чтобы Эвелина молвила хоть слово. Тогда можно будет говорить откровеннее. Он заглянул ей прямо в глаза, как бы спрашивая. Понял, что горячие слова, которыми он разбередил свое сердце, не трогают ее. Эвелина никогда не изменит установленным взглядам и обычаям.

Сидели молча, задумавшись каждый о своем. В тот вечер он больше не возвращался к прерванному разговору. Только много позднее, за обедом, Эвелина спросила:

— И после этого вы полюбили людей, Онорэ, вас привлекли грязь и безобразие предместий?

Бальзак сразу понял, чего касается вопрос. Он пытливо заглянул ей в глаза и тихо сказал:

— Я изучал жизнь, Эва. Я старался писать по-новому, и я понял, что все написанное до меня поможет мне познать прошлое, но современность я должен изучать сам и сделать свои выводы.

— Я понимаю, вы великий труженик, — ответила Эвелина, — не знаю, кто еще из художников работает так много, но, любимый мой, надо знать, что в этом людском стаде, которое вы зовете величественным словом народ, в душе очень мало тонкого и нежного.

Бальзак, щурясь, улыбнулся.

— Не улыбайтесь, Онорэ. Мои слова справедливы. Я думаю, мои крепостные мало чем отличаются от ваших знакомых с улицы Ледигьер. Я тоже много и долго наблюдала их. Что же я заметила? Лицемерие, хитрость, желание обмануть своего пана, лень; наконец они ненавидят нас, которые держат их на своей земле, кормят и одевают. О какой добродетели можно здесь говорить, Онорэ?

Бальзак сидел угнетенный словами Эвелины. Боже мой, какие ужасные убеждения у нее. Ему захотелось встать и выбежать из этой комнаты, туда, в степь, под дождь, в пустоту, чтобы только забыть холодные, без-

жалостные слова Эвы. Но он понял, что не поднимется и не возразит ей ни одним словом. Сидел раздвоенный, обессиленный горьким равнодушием и усталостью.

— Вы продолжаете работу над «Крестьянами», Онорэ, вам следует подумать над моими словами, следует заметить их себе.

— Хорошо, Эва, я подумаю.

Это было сказано тихо и печально, но покорно. Он понял, отступления нет.

На следующий день погода была хорошая, только неистовствовал октябрьский ветер. Гнул к земле стройные березы, устилая аллеи и дорожки парка опавшей листвой. Бальзак надел широкое теплое пальто и вышел в парк. Он долго блуждал по аллеям, поглядывая то на дворец, белевший меж деревьями, то в степь, которая начиналась за парком. Под пальто, прижимая локтем к телу, держал он скрипку. Смычок и футляр спрятал в чемодан, а скрипку взял с собою. Он уже хорошо знал, куда пойдет скоро. Еще несколько дней назад дворецкий Жегмонт ломаным французским языком рассказал ему о судьбе старого крепостного скрипача и сказал даже, где его похоронили.

— За нашим парком, мсье, у шляха, что идет на Бердичев.

Бальзак еще раз глянул на дворец. Потом, уже не озираясь, пошел по узенькой тропинке, что вела в степь. Он шагал все быстрее, будто какая-то мысль непрестанно подгоняла его. Ветер был попутный. Ветер, нежно подталкивая, поднимал полы пальто. Вот и степь. На миг Бальзак остановился. Ветер гнал в небе стада туч и тени невиданными силуэтами колыхались на скошенных полях. Он постоял немного на краю графского парка, откуда начиналась степь, и тут, на этой меже, волнение его достигло особенной силы.

Перерезая поле, бежала дорога. Он шагнул на нее смело, с невыразимой радостью, и когда уже шел по ней, то думалось, что оставляет Верховню навсегда, навеки, и он не удивился, что эта мысль принесла радостное чувство. Он распахнул пальто и вынул правой рукой скрипку. Держал ее нежно, осторожно. Ему показалось, что от сильного ветра дрожат струны. Не убавляя шага, оглянулся через плечо, метнул взгляд на темную громаду парка и обрадовался, что дворец и парк

остались далеко. Глаза его стали искать на дороге признаки могилы. Справа он разглядел одинокую липу и под ней маленький холмик, обозначенный крестом. Замедлив шаги, он приближался к могиле. Да, это она. Не могло быть никаких сомнений. Он остановился подле могилы и снял шляпу. Волосами его завладел ветер, и большая прядь забилась надо лбом, как крыло птицы. В одной руке держа скрипку, в другой шляпу, он застыл в немом ожидании над убогим холмиком, покрытым увядшей травой. Раскидистая липа шумела, усыпая могилу листвой, грачи, сея картавый кладбищенский переклик, пролетали низко над головой. А он стоял недвижно, храня тишину в своем сердце, видел перед собой низенького деда со скрипкой в руках, слушал творимую им дивную мелодию. Бальзаку показалось, что ветер затих, пал ниц и тоже слушает сказочные, чарующие звуки. А они шли из-под земли, мужественные, и пленяли своей чарующей силой безграничную, великую степь. Так длилось торжественное и неповторимое. Оно исчезло в тот миг, когда губы ощутили соленую горечь слез. И тут проснулся ветер, ударил в лицо, застонал скорбно. Частые слезы побежали по щекам писателя, теряясь в усах. Осенний ветер осушал слезы.

Влажными глазами смотрел Бальзак на дорогу, убегавшую вдаль, к синему горизонту. Ему она представлялась дорогой в вечность. Старый крепостной скрипач открыл ему путь в иной мир. Он преклонил колени и положил на могилу у креста скрипку, пальцами разгреб мягкую землю и покрыл ею инструмент. Этого показалось мало, и он засыпал ее совсем. Поднялся и пошел прочь, низко склонив голову, все еще держа в руке шляпу.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

НАКАНУНЕ

Доктор Кноте проснулся среди ночи от неистового стука в дверь.

«Кого же это принесло в такой поздний час?» — недовольно думал доктор и никак не мог решиться вылезть

из-под теплого одеяла. Однако встать все-таки пришлось. Горничная либо спала как убитая, либо просто не хотела вставать, притворяясь спящей. На ощупь, не зажигая лампы, Кноте пробрался на кухню, толчком в бок разбудил горничную и закричал:

— Живее двигайся, не слышишь, как гремят? Отопри.

Пока горничная отодвигала крепкие засовы, доктор натянул на себя халат, засветил лампу и на пороге спальни ждал появления непрошенного гостя. Тот недолго заставил себя ждать. Обивая с ног снег на кухне, он ругал горничную:

— Что же, ты издеваться вздумала надо мной? Полчаса стучу. — Голос был хорошо знаком, и Кноте одним движением сбросил халат на пол и стал поспешно одеваться. Дворецкий Жегмонт в широком тулупе, держа в руках заснеженную шапку, вырос в дверях.

— Пане доктор, скорее во дворец, пани велела разбудить и звать немедля...

— Я тотчас, Жегмонт, тотчас. А что случилось? Опять француз?

— Опять, пане Кноте. Похоже, кончается, матка боска!

— Еще не скоро, Жегмонт, — утешил дворецкого Кноте, надевая сюртук.

Через несколько минут он сидел в санях, рядом с Жегмонтом, закутавшись в шубу, низко надвинув на лоб шапку. Не впервые за эту зиму приходилось Кноте ехать во дворец Ганской. Немало больных видел он на своем веку, он не мог считать себя безупречным врачом, но практика и время научили его во многих случаях безошибочно ставить диагноз. Методы его лечения были несложны. Он считал, что пиявка значительно эффективнее любой микстуры. Еще признавал Кноте горчичники, а изредка и паровую ванну. Чтобы больной стал послушным и убедился, что непременно выздоровеет, Кноте ласково и долго беседовал с ним, пересыпая речь латинскими фразами. Конечно, такая любезность вознаграждалась двойным гонораром. К Бальзаку его впервые пригласили осенью 1848 года. Он внимательно выслушал больного, удивляясь про себя протяжному свисту в груди Бальзака, старательно ощупывал припухшие ноги с вздувшимися венами, выстукивал деревян-

ным молоточком спину и, подумав несколько минут, прописал пиявки — пять на затылок, пять на живот.

— Простуда, — сказал убежденно Бальзаку, решив про себя: водянка.

Однако состояние больного его беспокоило. Он знал, что вскоре Бальзак станет мужем пани Ганской и поэтому не мог разрешить себе смотреть на его заболевание сквозь пальцы. Дома Кноте читал всю ночь запыленные, старые медицинские справочники.

Больной быстро поправлялся. Кноте уже видел себя победителем. Но вот зима принесла новые невзгоды. Кноте почувствовал себя бессильным бороться с неведомой болезнью, но отказаться он не мог. Держа на коленях чемоданчик с медикаментами, Кноте сидит в санях слегка озабоченный. Лучше бы уехал отсюда этот Бальзак. Пусть уж долечивают его парижские знаменитые врачи.

Врача встречает сама графиня.

— Скорее, скорее, господин Кноте, — она торопит его, и он сбрасывает шубу прямо на пол, хватает чемоданчик и бегом догоняет Эвелину, которая уже поднимается по лестнице в комнаты Бальзака. Маленьким гребешком, на ходу, Кноте приводит в порядок остренькую бородку, разглаживает пальцами усы и тихо, насколько позволяет приличие, откашливается. Он подходит к больному на цыпочках, вытянув вперед руки.

Бальзак лежит навзничь в постели. Свечи в канделябре освещают одутловатое лицо. Он видит, как склоняет голову в поклоне врач Кноте, но ему больно даже шевельнуть губами. Руки Кноте снова ощупывают его больное тело, снова врач припадает ухом к груди и слушает сердце. Дикий кашель вырывается из груди Бальзака. В уголках губ появляется кровь. Эвелина выходит из комнаты, она не может вынести этих приступов ужасного кашля.

— Боже мой, что будет! О, Езус, Мария, помогите!

Эвелина стоит в темном коридоре, прислонившись плечом к холодной стене, и быстрым движением руки крестится. Она не решается переступить порог комнаты, где мучится Бальзак. Тысячи сомнений волнуют Эвелину, страх подкашивает ноги, затмевает взор. Доктор Кноте садится на стул в ногах больного. Врач утомлен и обессилен, но ласково улыбается и своим ровным,

убедительным тоном, расчесывая гребешком бородку, говорит, заверяет:

— Боль скоро пройдет, мсье. Вам непременно станет легче, сейчас я дам вам снотворного, вы непременно уснете. Кроме того, поставим вам горчичники, пане, вот здесь, — врач показывает пальцами, где именно, но Бальзак лежит неподвижно, не слыша его голоса, погруженный в тяжкое забытье. Кноте замечает это и приписывает все влиянию своего чудодейственного голоса. Это придает ему бодрости. Он продолжает:

— Потом еще, мсье, поставим горчичник на ноги, на спину и вам станет совсем хорошо.

Бальзак открывает глаза и удивленно смотрит на врача, точно впервые видит его. Лоб освещается спокойной мыслью. Кноте любезно и радостно улыбается ему, вскакивает и раскрывает чемоданчик.

— Теперь будет все хорошо, все хорошо, — приговаривает он, доставая из чемодана горчичники, баночку с пиявками и пакетики порошков. Он раскрывает один пакетик и подает Бальзаку. Придерживая больного за голову, помогает высыпать порошок в рот, быстрым, привычным движением подает воду, чтобы запить, потом ставит на затылок пиявки.

Нежным взором следит Кноте за черными противными существами, впивающимися в горячую кожу. Через некоторое время быстрым движением он отрывает их и осторожно опускает в баночку. Очередь за горчичниками. Справившись с ними, он накрывает больного одеялом, собирает все свои вещи в чемоданчик и выходит из комнаты.

— Пани, — обращается он удивленно к Эвелине, — вы здесь, пани, как можно, вы же простудитесь. Не волнуйтесь, пани. Все идет к лучшему, больной выздоравливает, я принял меры. Можете быть спокойны.

Кноте низко кланяется и идет дальше. С лестницы доносятся его ровные, спокойные шаги.

Кого благодарить, Бальзак не знал. Врача Кноте или собственное сердце? Так лучше уже поблагодарить Кноте, это же его профессия — вылечивать больных, его хлеб, и он поблагодарил врача добрым словом и приличным гонораром. Как бы там ни было — он выздоровел.

Зима свирепствовала. Она сковала в своих тисках

землю. Непроглядные метели кружили в степи. Он сидел у камина, пряча ноги в пушистый плед, и следил за полыхающим пламенем. Болезнь как будто миновала, он был убежден, что она теперь уже долго не будет его беспокоить; но то, что она не прошла навсегда, так же было ему известно. Где-то в глубине сознания была еще уверенность: скоро возьмется за работу. Эскиз пьесы «Король нищих» лежал на столе. Это могла быть значительная вещь. Конечно, не шедевр. Но кто же пишет шедевры, когда нужны деньги?

Давно когда-то, правда, он твердил, что питаться, как великий человек, — значит умирать с голоду, но он желает жить в достатке, конечно, когда заработает это своими книгами.

Как волшебник, сидел он у камина в фланелевом теплом халате, следил за фантастической игрой огненных языков и отгадывал по ним свое будущее. Сколько надежд возлагал он на Верховню! Какие это были радужные предчувствия. Они, к сожалению, пока не осуществились. Снова была лихорадка с письмами в Петербург, в Киев — Бибикову. Он помогал Эвелине выискивать убедительные, проникновенные фразы, которыми можно было бы убедить сановников, что брак ее с иностранцем и выезд за границу не может быть препятствием к владению имуществом. Давно уже не читал даже книг и давно не получал писем. Казалось, его парижские друзья забыли о нем. Поэтому письмо от Шанфлери принесло несказанную радость, которая долго не забывалась. Он поторопился ответить молодому коллеге, но ответ получился печальный.

«Вы вступаете в жизнь, а мы уходим из нее. Вы молоды, а мы стары», — жаловался Бальзак.

Позднее, когда письмо было уже далеко от Верховни, он пожалел.

Сколько ни заставлял себя сесть за работу, ничего не выходило. Даже Эвелине он не мог доверить своего творческого бессилия. Огонь резвился в камине. Бальзак колдовал над ним и ждал необыкновенного чуда, но хорошо понимал, что дело не в чуде, и становилось страшно и холодно на душе. Он знал, что нет великих талантов без великой силы воли, и только эти две силы в единении способны возвести величественное здание человеческой славы. Но только избранные люди поддержи-

вают свой мозг в условиях разумного производства и, как рыцари, всегда держат свое оружие в боевой готовности. Это было для него аксиомой. Оружие лежало наготове. Чего же не хватало? Замыслов? Нет. Их без числа, их так много, что во всем Париже, быть может, не хватит бумаги для их осуществления. Как слепой, нащупывал он невидимую причину своей бездеятельности и радовался тому, что ни Эвелина, ни кто другой не мешает ему. В эту лютую зиму одиночество было его лучшей подругой. Он не насиловал себя. Разве заставишь мозг работать, если он забастовал? Еще придет время. Так успокаивал он себя и постепенно стал верить, что скоро возьмется за работу. Однажды, читая журнал, он удивился: строчки неожиданно покрыла серая пленка. Протер глаза, но пленка не исчезала. Перепуганный, закрыв глаза, он просидел за столом несколько часов. Он боялся открыть их, и сердце его замерло в груди. Решившись, наконец, он приподнял веки и, увидев зимний дневной свет, заплакал от радости. С этого дня он ревниво следил за своими глазами.

Судьба не баловала его. Помимо письма от Шанфлери, прибыло еще одно письмо из Парижа, не принесшее с собой ничего, кроме боли. Бальзака официально уведомляли, что при голосовании его кандидатуры во французскую академию за него подано только два голоса. Это было похоже на издевательство. Вместо него избрали малоизвестного и незначительного литератора Ноайля.

Прочитав письмо, он долго бегал по комнате из угла в угол, как запертый в клетку лев, не находя покоя. Горькая обида вошла в его душу, отравила мозг.

«Неужели я ничего не сделал для Франции?» — думал Бальзак, охваченный тревогой. Он жаловался Эвелине на тяжелую несправедливость, но она отнеслась к происшедшему очень спокойно.

— А чего другого ждали вы от них, Онорэ? — спросила и сразу перевела разговор на другое. Но он не мог так легко забыть этого позора. Лоран-Жану он написал в Париж:

«Академия отдала предпочтение г-ну Ноайлю. Он, может быть, лучший писатель, чем я, но я лучший джентльмен, чем он, потому что в свое время я отказал-

ся от баллотировки, узнав о кандидатуре Виктора Гюго».

Бальзак надеялся, что эти слова не останутся тайной для Парижа. Его надежды исполнились.

С тех пор он стал внимательно изучать зловещие прихоти своей судьбы. Он стал тратить время на подсчет несчастий в своей жизни. Он насчитал их столько, что это окончательно сбило его с толку. Где же, наконец, были счастливые дни? И все же он доискался этих дней в своей памяти. Они и в самом деле были — в тихой, забытой улице Ледигьер.

Лежали набросанные наскоро эскизы хорошо продуманной пьесы, но по-настоящему работа не была начата. Кто-то властно и безжалостно разрушал его добрые намерения, и то, что этот «кто-то» притаился в нем самом, делало Бальзака бессильным и покорным. На что теперь надеяться? Может быть, посчастливится начать новое издание «Человеческой комедии»? Это принесло бы прочное богатство и покой. Но где найти издателя?

Бежали зимние дни. Бальзак думал: то вьюга катит их в далекий пустынный край. Он не выходил из комнаты. Нередко его навещал Кноте и развлекал своей болтовней. Бальзака удивляла ограниченность врача, но одновременно увлекала таинственная сила самоуверенности, которой обладал Кноте.

Врач уходил от него, оставляя в комнате острый запах лекарств, и Бальзак долго еще думал о нем.

Сам не желая того, он полюбил одиночество. Что это за примета? Сколько ни думал — определить не мог. В этот вечер, как и во все предыдущие, перед тем как уснуть, он попробовал читать. Долго рылся на столе, и захотелось взяться за свою книжку. Держал перед собой на постели «Кузена Понса» и, забывшись, с наслаждением читал страницу за страницей. Право, ему нравился этот смиренный, чудаковатый Понс. Где еще в свете можно было найти человека, который бы, как Понс, любил старину, понимал в ней, отдавая ей свою душу. Бальзак с любовью перелистывал страницы и видел перед собой кузена Понса, а когда глаза утомились, смежил веки, положил книгу на стол, но все продолжал читать ее мысленно. Его даже не удивляло

то, что память с непостижимой последовательностью восстанавливала фразу за фразой.

И когда это оборвалось и он раскрыл глаза, то от удивления едва не вскрикнул. Собственно, хорошо, что он не кричал. Вот уже было бы ни к чему. Еще напугал бы тихого кузена. А тот спокойно улыбнулся, сидя в ногах Бальзака, и взгляд его был спокоен, тепел. Он даже не поздоровался. Только улыбнулся и все. Бальзак чуть не погрозил ему пальцем, но своевременно удержался. Такая неосторожность могла неблагоприятно повлиять на Понса. То, что он не поздоровался, можно в конце концов извинить. Все антиквары — чудаки, но в душе они джентльмены. Этого сознания совершенно достаточно, чтобы не обижаться на них.

Бальзак все-таки решил — это видение. Отвернул голову в сторону, и то, что он увидел, заставило на миг забыть о Понсе. Точно на великий совет сошлись его приятели и друзья. В кожаном кресле за столом сидел писатель де Артез в суровом черном сюртуке, прислонясь спиною к стене, стоял философ Луи Ламбер, Каналис сидел на низеньком пуфе, сложив на коленях руки, химик Балтазар Клес стоял справа от Каналиса. В углу виднелась сгорбленная фигура задумчивого изобретателя Сешара.

— Добрый вечер, друзья мои,— приветствовал их радостно Бальзак, и то, что никто из них не ответил, не удивило его. Он хотел встать с постели и попросить несколько бутылок вувре, этого вкусного чудесного вина, надеясь, что оно развяжет языки его гостям. Посмотрим, что делает кузен Понс. Смирение Понса вселило в сердце Бальзака добродетельные намерения. Он понял — вувре было излишним. Понс, точно одобряя его решение, едва заметно кивнул головой. Это растрогало Бальзака. Сколько лет прошло, а Понс не изменил своей добродетели.

— Ну вот, друзья, я рад, что вы заглянули. Я счастлив, друзья. Теперь у меня, наконец, есть кому пожаловаться. Посмотрите, дорогой Артез, какой я лентяй, откройте ящики и убедитесь, что привезенная из Парижа бумага лежит нетронутая.

Бальзак подождал, пока Артез открыл ящики, и удостоверился в справедливости его слов. Он перехва-

тил взгляд, брошенный Артезом на его белый фланелевый халат, и горько заметил:

— О, мой друг, не ищите на рукавах этого халата чернильных пятен. Нет, не потому, — поспешно добавил Бальзак, — что я всю жизнь твердил, что истинный литератор должен работать аккуратно. Поверьте, не потому. Я лодырь, понимаете, лодырь.

— Вы, Балтазар Клес, и вы, Сешар, — перед вами великое будущее, химия и изобретательство, грядущее столетие готовит счастливую почву для вашей деятельности. Когда-нибудь вы отблагодарите меня за то, что я вызвал вас к жизни. Химия и изобретательство.

Бальзак мечтательно произнес эти слова и весело рассмеялся.

— Не сердитесь! Мне хорошо с вами, вот я и разрешил себе такую вольность.

— А что вы скажете, Каналис? Собственно, вам-то нечего говорить. Лучше я вам кое-что расскажу. Вам необходимо знать это, хотя это и печальные вещи. Музыканта-скрипача бьют нагайками, топчут сапогами, потом закапывают, истерзанного, как собаку, в степи и вбивают в головах деревянный крест. Но мелодия, созданная им, остается. Она живет. Вы понимаете меня, Каналис? Это ужасная история. Я долго думал над нею. Она заставила меня помыслить и о моей судьбе. Но это лучше обдумать Луи Ламберу, он философ. Однако, друзья, что же вы молчите? А, я знаю, — догадался Бальзак, — мы с вами давно не встречались, и вы ждете моего рассказа. Что же я вам скажу? Вы знаете, самому неприятно, что мне не о чем рассказывать. Жаль, не пришел с вами Рафаэль — бойкий юноша, он бы нас развеселил! Молчите? Что ж, молчите. Я не насилую вас. Хоть я должен заметить, что это не совсем вежливо с вашей стороны. Тем более, друзья, что я нездоров. Сердце, друзья, бастует. Это все накануне конца, друзья! Вы понимаете меня?

Он замолк, внимательно наблюдая лица своих нежданных гостей. Он увидел, как все они после его слов озабоченно переглянулись и грустно опустили головы.

— Не грустите, — успокоил он их, — я думаю, что еще успею кое-что сделать до конца. Намерения у меня есть, а когда есть намерения... Мсье Артез, что вы делаете? Что вы делаете, мсье Артез?

Бальзак выкрикнул это единым духом, приподнялся на локтях и наполненными ужасом глазами следил за жестами Артеза.

Писатель Артез взял из серебряного стакана связку гусиных перьев и стал ломать их одно за другим, бросая себе под ноги. Бальзак ждал, что кто-нибудь из гостей остановит безумца.

— Остановите его, Понс! — обратился он к кузену, чувствуя, что не может встать. Но кузен Понс даже не шевельнулся.

— А вы, Ламбер, что вы стоите, как камень, не давайте этому дикарю ломать мое оружие! Остановите его! Слышите? Как вы смеете молчать? Вы не мои... мои... — Ему не хватало воздуха, он упал на подушки и, уже теряя сознание, сквозь глухой кашель выкрикивал:

— Мои герои, мои герои!..

А когда он очнулся, над ним склонилась Эвелина, с ужасом повторяя:

— Вы так кричали, Онорэ, вы так кричали. Что с вами?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ТАК ЗАМЫКАЛСЯ КРУГ

Круг сужался. Пути людские оказались коротки. Кобзарь Северин Бида с течением времени почувствовал это.

Была весна 1850 года. Месяц март запел в степях свою песню.

Повсюду веяло обновлением. Вскрывались реки. Таял снег. Ветер стал мягок и тревожен. Все время играл на одной басовой струне. На разъезженных трактах застревали почтовые лошади, ломались колеса рыдванов и карет, и только круторогие волы, равнодушные к мартовской слякоти, месили грязь, покорно несли на сильных шеях ярма и тянули что было силы возы, нагруженные то ли добром, то ли всякой всячиной. Им, круторогим, в конечном счете было все равно, какой груз на возы навален.

Тосковали липы по бокам гетманского шляха. Безлистые, мокрые, широко разметав костлявые ветви, они в утренней мартовской мгле напоминали стадо диковинных существ, затерянных в бескрайной степи. Стлался в безвесть гетманский шлях. По степи катились мохнатые клубы тумана. Земля жадно впитывала снег и стыдливо лежала обнаженная в ожидании настоящего тепла.

...И в эту весну, в эти мартовские дни, дед Северин Бида продолжал свои странствия, и был он все такой же мудрый, спокойный, отзывчивый к страданиям людским, безжалостный к панской спеси. Лета не старили его. Старыми ногами топтал он украинские пути-дороги, сеял, как зерна, слова своих и чужих песен, в голове его давно перемешалось свое и чужое. Но это мало трогало кобзаря.

И, как прежде, был деду поводырем Миколка. Он вырос, возмужал, просил деда:

— Осядем уже на земле, будет бродить-то.

Миколке опротивели странствия, они наполняли сердце тоской. Юноше хотелось прилепиться куда-нибудь на этой бесконечной земле и зажить, наконец, своей жизнью.

— Повремени, сынок, — отвечал дед, — поводи еще меня по свету. Вот преставлюсь я, тогда и оседай, где душа захочет. Ты, Миколка, не гневайся на деда, — ласково уговаривал старик, — такая уж моя доля. Я сею, Миколка, сею. Может, и не ты урожай соберешь. Так пусть соберут хоть другие.

И, сказав те слова, шагал дед дальше, отягощенный своей нечеловеческой скорбью, и на многолюдных ярмарках поверял народу свои тайные жаркие думы.

...И за эти годы странствий и разочарований дед ни на миг не забывал истинного кобзаря, Шевченка Тараса. Та дивная встреча под Яготином вошла в его душу, как дар неба, и он свято берег ее всем своим существом и сеял по свету слова Тараса, вкладывая в это всю силу свою, все сердце свое.

А Миколка всегда был подле него, рядом либо впереди, и дед тихо молвил:

— Миколка, очи ты мои, взор мой!

— Ваш, а то чей же, — недовольно откликался Миколка. Едкий ветер выжимал из глаз слезы. Дорога впереди лежала привычная, весенняя.

— Тяжко мне, дед, — жаловался Миколка, — ой, как тяжко.

— Долю жалобами не умолишь, — заметил дед, — отдохнем, внучек.

Дед и внук сели на обочину под липой. Привычным движением старик ощупал землю вокруг.

— Могила, что ли, Миколка?

— Точно, вон и крест в головах!

— Опочил некто, — хмуро покачал головой кобзарь.

...Северин Бида беспокойными руками шарит вокруг. Им овладевают неутешные думы. Пальцы его находят под крестом полусгнившую скрипку.

— Что это, Миколка? — спрашивает дед встревоженно, держа в руке пучок струн.

— Скрипка, дед.

Ветер шевелит струны в руке старика. Гнилое дерево скрипки рассыпается трухой. Она тает на ветру и пропадает в земле, жирной и жадной.

Дед засовывает в торбу струны. На что они ему, он сам не знает. Пусть. Сплетает липкие от мокрой земли пальцы. Кладет себе на колени руки и так сидит, взволнованный, суровый.

Миколка искоса поглядывает на деда. Невольно взор его задерживается на золотом перстне с большим дорогим камнем в оправе. Продал бы дед перстень, деньги были бы, может, хоть малость пожили бы по-людски. Миколка в сотый раз высказывает свое желание, но дед упрям. Что вбил себе в голову, — топором не вытешешь.

— Не могу я, Миколка, не могу. Помру, тогда делай с ним, что хочешь. А теперь я не могу...

— Да и в самом деле, — рассуждает дед, — как продать. Такой перстень не мог плохой человек подарить. Доброе сердце у того человека и добрые мысли, Миколка.

А тем временем мимо могилы, на которой отдыхают Северин и мальчик, норовистые кони проносят две кареты. В первой сидят Бальзак и Ганская. Путь их лежит на Бердичев. Этот путь приведет их в варваринский костел. Бальзак, закутанный в меха, с трудом переводит дыхание. Ему кажется, что хрипы больных бронхов наполняют всю карету. Эвелина сидит неподвижно.

Она думает. Мысли ее горьки, безутешны. Беспощадны. Так сужается круг.

В ту весну и Марина слушала тоску мартовских ветров. Песня их ранила сердце неугасимой болью далеких воспоминаний. Очень уж походили ветры марта на осенние ветры, под оглушающий неумолкающий шум которых управитель Кароль погубил молодость Марины.

Где-то на заброшенном кладбище потерялась маленькая могилка. Лес покосившихся крестов поднимается над волнистыми бугорками земли. Там, под этими крестами, похоронен стыд и позор Марины.

А весна весною. Шумна, неугомонна. Ночью слышно, как весело журчит в ручьях вода.

Марина не спит по ночам. За тонкой перегородкой слышно, как возятся коровы. Укрывшись старенькой свиткой, лежит Марина на соломе. Она перебирает в памяти все, что может принести минутную утеху. Давно уж разучилась Марина плакать. Точно высохли слезы в ее душе. Только глаза горят, веки горят, все тело сжигает ненасытный, страшный огонь.

Подле Марины, тяжело вздыхая во сне, спят ее утомленные работой подруги. Марина среди них появилась недавно. Когда родила, пани приказала:

— Из комнат вон, выпороть на конюшне и в хлев. Чтобы на глаза не попадалась, блудница.

Так за чужой грех несла Марина кару. Словно кто-то к ее девятнадцати годам еще двадцать прибавил.

Стучит март в ворота коровника. Зовет Марину:

— Встань! Выйди, девушка, мне навстречу.

Тает снег и шумит в ручьях талой водой неумолчно, игриво. Марина хочет плакать и не может.

...И в ту весну входит в высокие двери костела в Бердичеве Онорэ де Бальзак. Его поддерживает под локоть Юрий Мнишек. Густав Олиза ведет Ганскую. Лица у всех замкнутые, таинственные.

Так сбывается невшательская мечта.

В спину дует ветер. Служка закрывает двери. Высоко на стенах мерцают огоньки. Мрачные тени колышутся на потолке. Прямо перед глазами Бальзака в алтаре образ святой Варвары. Святая Варвара неприлично об-

нажила шею, и улыбка у нее неприятная. Кашель душит Бальзака. Грудь как будто набрякла. Хищное отвратительное существо скребется у него в груди. Мнишек отпускает его руку, и он оказывается рядом с Эвелиной. На две ступени выше перед ним стоит прелат Виктор-Эммануил Ошаровский. Он смотрит в потолок, скользя холодным взглядом по лицам новобрачных.

Совсем некстати Бальзаку вспоминаются его же слова из книги «Физиология брака».

«Брак — это смертельный поединок, вступая в который супруги просят у неба благословения», — он гонит от себя эти оскорбительные слова. Он не желает думать о них. Но они настойчиво обступают его. Лезут в сердце.

Прелат опускает веки. Сквозь узенькие щелки он видит двойной подбородок Ганской, черный пушок на верхней губе, видит раскрытые уста Бальзака, обвисшие, словно мокрые, усы. Прелат поднимает веки и смотрит в глаза новобрачным. Брошенным наискось взглядом Бальзак ловит на стене огромную зловещую тень прелата.

...И когда над костелом св. Варвары в Бердичеве рассвет надувает свой парус, направляя корабль дня в новый путь, Онорэ Бальзак, законный сын Бернара-Франсуа и Анны-Шарлотты-Лауры Саламбье, и Эвелина-Констанция, законная дочь графа Ржевусского и Юстины Рдултовской, отныне супруги перед богом, законом и людьми.

В карете, коснувшись пальцем холодной руки Эвелины, Онорэ с искусственной торжественностью произнес:

— Теперь мы начнем новую жизнь, Эва!

Эвелина не отвечает. Откинувшись на подушки, она смежает веки и думает о своем. И в этот миг Бальзак, откинув шторку, блуждая взволнованным взором по бескрайной степи, проплывающей за окном, начинает понимать жгучее, властное содержание слова «ошибка».

Они сидят в карете рядом, плечом к плечу. Они молчат. Стена равнодушия вырастает меж ними.

Восходит день над трактом. Колышутся дали. Что ждет их впереди? Бальзак не знает. Он сжимает зубы, сдерживая кашель, закрывает глаза.

Так возвращается усталость, страшная и ненавистная.

Так замыкается круг.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

РАЗВЕ ВЫ НЕ ЗАВИДУЕТЕ ЕМУ?

Вечером семнадцатого августа 1850 года человек в темном плаще, с букетом цветов, остановился у резной дубовой двери дома № 14 по улице Фортюне.

Серебристый месяц взошел на облачном небе и залил холодным сиянием весь квартал Божон. Человек отер вспотевший лоб и посмотрел вверх. Лунный свет упал на его лицо. Оно было матовое, замкнутое, торжественно-взволнованное. Склонясь к цветам, человек вдохнул пьянящий, одурманивающий запах чудесных левкоев.

Потом он позвонил. Ждал, прислушиваясь, к суете за дверью. Однако на звонок никто не вышел. Тогда он дернул шнур вторично. Чья-то рука откинула задвижку, дверь открылась, служанка со свечой встретила позднего гостя.

— Что вам угодно, сударь, — спросила она охрипшим голосом, глотая слезы. Они набегали на щеки струйками, и рот женщины болезненно кривился.

— Я — Виктор Гюго, — вежливо произнес посетитель, все еще не переступая порога. — Будьте добры, проводите меня к мсье.

— Прошу, прошу вас, — заторопилась служанка, поднимая свечу высоко над головой и показывая дорогу гостю.

Он перешагнул порог. Служанка провела Гюго в хорошо знакомый ему зал на первом этаже. Она притворила за ним двери, и он остался в одиночестве. Взгляд его приковал огромный мраморный бюст хозяина дома работы Давида Анжерского. Мраморная громада поблескивала на консолях против изящного камина.

Сколько раз ни рассматривал Гюго этот бюст, всегда он находил в нем что-то новое. Мысль его прервала горничная, появившаяся на пороге. Вся в белом, она бы казалась привидением, если бы не заговорила.

— Мсье хочет видеть больного? Мне сказала служанка.

Гюго поклонился и тихо ответил:

— Да.

— Хорошо. Через несколько минут можно будет пройти к нему.

Горничная расплакалась. Он стоял с левкоями в руках, растерянный, не зная, как успокоить эту женщину.

— Он умирает. Мадам ушла к себе. Врачи еще вчера потеряли всякую надежду. У него рана на левой ноге. Антонов огонь.

Горничная говорила это тихо, словно шептала слова молитвы, сквозь речь прорывались рыдания.

— Врачи, мсье, не знают, что делать. Они говорят, что у него какая-то жировая водянка, кожа и мышцы настолько пропитались жиром, что не поддаются проколу. А началось все это с пустяка. Месяц назад, ложась спать, мсье зацепился за ножку кресла. Кожа прорвалась, и вода вытекла. Врачи говорили: «Удивительно!» Это их поразило. С тех пор они стали делать ему проколы. На ноге образовалась язва. Доктор Ру оперировал мсье. Вчера сняли повязку. Рана, вместо того, чтобы зажить, стала красной, сухой и воспаленной. Тогда врачи сказали: «Он погиб» и больше не приходили. Мы вызывали еще четырех, все они ответили, что помочь ничем нельзя. Прошлая ночь была очень плоха. С девяти утра мсье ничего не говорит. Мадам вызвала кюре. Он причастил мсье. С одиннадцати часов он только хрипит. Он не переживет этой ночи. Если хотите, я позову мсье Сюрвиля, он еще не ложился спать.

Женщина вышла. Она исчезла за порогом, как призрак. И если бы не появление господина Сюрвиля, Гюго поверил бы, что это дурной сон. Но Сюрвиль, муж сестры Бальзака, подтвердил слова горничной.

Гюго на цыпочках двинулся за ним. Они поднялись по ступенькам на второй этаж. Сверху доносился тяжелый больничный запах. Сжав зубы, неуверенно, как будто ступая по шатким ступеням, Гюго вслед за Сюрвилем, представительным, на редкость равнодушным господином, вошел в темный маленький коридор. Спутник нащупал дверь и открыл ее. Еще с порога Гюго увидал Бальзака и понял, что возврата не будет.

Больной лежал навзничь в кровати красного дерева, посреди комнаты. Голова его тонула в подушках, наваленных грудой. Лицо было синее, почти черное, давно не бритое. Седые волосы спадали на лоб. Широко раскрытые глаза были недвижны. В ногах стояла сестра Бальзака Лаура, зажав губами длинную кружев-

ную шаль. Глазами, полными безмолвного ужаса, она смотрела на брата. Гюго подошел к постели.

Свеча, горевшая у изголовья Бальзака, освещала выражение бескрайней муки, застывшей на его лице, искривившей полные пересохшие губы, перерезавшей морщинами лоб.

Бальзак хрипел и задыхался, и в неподвижных глазах его Гюго прочел адские страдания. Он не в силах был наблюдать эту агонию и перевел взор на стену.

Взгляд его невольно скользнул по озаренным свечой портретам молодого Бальзака, задорно улыбающегося, щурящего проницательные глаза.

Гюго опустил веки и снова встретил вопросительный взгляд Бальзака. Он хотел что-то произнести, но губы предательски задрожали, к горлу подкатились рыдания.

Гюго подошел еще ближе к постели, бережно откинул одеяло и пожал широкую руку Бальзака. Потом опустил потную руку и снова накрыл ее одеялом. Положив на столик левкои, Гюго вышел из комнаты. Горничная проводила его до дверей. Проходя через зал, он задержался перед мраморным бюстом, и на ресницах его задрожали слезинки. Горничная печально сказала:

— Мсье не доживет до утра.

Уже на пороге Гюго вспомнил, что не видел супруги Бальзака. Как ни трудно, но надо сказать ей несколько слов утешения, предложить свои услуги.

— Мадам у себя? — осведомился он у горничной. — Можно пройти к ней?

Горничная заглянула куда-то в темный угол коридора.

— У мадам гости, мсье Жигу; я доложу мадам.

— Не надо.

Гюго надел шляпу и тяжело вздохнул.

— Не надо беспокоить мадам, — горько произнес он, — доброй ночи!

— Спокойной ночи, мсье.

Он стоял за дверью и смотрел на небо, залитое лунным сиянием. За его спиной громыхнул засов, отзвучали шаги горничной. Там, наверху, умирал Бальзак, отдавая природе свое последнее тепло, а здесь господствовала сила, творящая жизнь, и в этом он увидел великую трагедию человеческого бытия.

На углу Гюго сел в экипаж. Дома его ждали друзья. Было воскресенье, и приятели сидели в большой столо-

вой за широким столом. Вино, подобное крови, алело в высоких бокалах. Гюго остановился на пороге. Он уронил на пол шляпу и тихо произнес куда-то в пространство, точно в комнате никого не было:

— Господа, в эти минуты Европа теряет великого человека.

Бальзак хрипел и задыхался. Он хотел пошевельнуть рукой, поманить к себе Лауру, ибо говорить уже не мог. У него отнялась речь, точно кто-то отнял язык.

В первую минуту это ощущение ошеломило его. Он подумал, что это конец. Но оказалось — еще не все. Сознание еще сопротивлялось.

Мозг и сердце пошли в контрнаступление. Он видел вверху, на потолке над собой, широкое поле боя. Ломались хрупкие штыки, рвались снаряды, смерть косила тысячи людей. И все же сердце и мозг устремились в контратаку. Надежда теплилась, как потухающий уголек. Он еще ждал спасения. Неужели врачи бессильны? Что же это за наука, медицина? И что это за хирург Ру? О, если бы позвать Бьеншона. Бьеншон — истинный врач, чудотворец.

Бальзак в эту минуту забыл, что Бьеншон никогда и не существовал в периоде, что это лишь плод его собственной фантазии, всего лишь персонаж из «Человеческой комедии». Ему до боли, до отчаяния хочется кричать.

— Позовите же Бьеншона! Лаура, сестричка моя, позови его, прошу тебя.

Он плачет, но глаза его сухи и неподвижны. Адская мука кривит рот. На высоком лбу обильно выступает пот. Седые волосы прядями прилипают к багровой, воспаленной коже.

«Неужели это конец? — думает он. — Неужели это все, а потом ничего, пустота?..»

Как что-то далекое вспоминается Эвелина, и ее отсутствие не удивляет. Ему даже легче, что ее нет здесь. Теперь он может это признать. Он заявил бы это даже вслух, если бы мог.

А Гюго здесь был. Был. Был. Это не галлюцинация. Не видение. Он пожал ему руку. Только ощутил ли Гюго ответное пожатие? Может быть, и нет. Ведь силы совсем оставили его. Когда это было? Давно, должно быть. Он немного обидел Гюго, упрекая, что тот так ве-

село и беззаботно отказался от звания пэра Франции, самого прекрасного звания, после звания короля... Не надо было тогда этого говорить. Не надо.

«Что не надо? Умирать, умирать не надо», — глухо и настойчиво твердит мозг, он еще раз бросается в бой, но сердце уже не поддерживает его.

Сердцу нанесено столько ран, что оно лишь трепещет, жалкое, окровавленное, честное сердце. Оно сделало все, что могло, его сердце, и он может вполне быть доволен им.

Лаура опускается на колени. Ужас подкосил ее. Служанка испуганно стучится в дверь к госпоже. Она зовет на помощь и растерянно, сквозь слезы, повторяет:

— О, мадам! Скорее, мадам! Мсье кончается.

Эвелина отводит настойчивые руки Жана Жигу. Она прижимает унизанный перстнями палец к губам и плотнее закутывается в пеньюар. Она указывает художнику на кресло и выходит из комнаты. Но когда Эвелина склоняется над постелью, закрывая нос надушенным платком, Бальзака уже нет.

В постели лежит непомерно большое, распухшее от болезни тело, почерневшее, словно обожженное диким, ненасытным огнем.

Эвелина крестится, пятясь к двери. Лаура лежит без сознания в соседней комнате. Господин Сюрвиль суетится над нею.

На подушках светлеет высокий лоб Бальзака. Рассвет кладет на него первый луч солнца.

Рождается новый день, но Бальзак уже равнодушен к нему, его скрещенные на груди руки, мужественные руки труженика, уже никогда больше не прикоснутся ни к бумаге, ни к книгам, ни к перу.

Так, в августовскую ночь Бальзак обретает покой, и его навсегда покидает усталость.

Открытый мудрый лоб мыслителя светлеет на подушках.

...Итак, настало то, о чем он больше всего боялся думать при жизни.

Белоснежные плюмажи колыхались над головами коней, торжественно двигался роскошный катафалк.

Августовское солнце выглядывало из-за туч, и ветер шалил в колесах. Эвелина-Констанция Ганская-Бальзак шла за гробом бледная, в черном одеянии.

Лаура и Сюрвиль шагали рядом, держась за катафалк. А за ними плыла тысячная толпа, люди сходили с тротуаров и присоединялись к процессии.

Юркие газетчики, пользуясь случаем, сновали в толпе, распродавая газеты. На этот раз они не осмеливались рекламировать свой товар полным голосом. Они поступали иначе. Сложив вчетверо лист, придерживая пальцами строки в черной рамке, они подносили газету к самым глазам прохожего, и торговля шла бойко.

Люди покупали газеты, и народ читал: «Умер г-н Бальзак, один из плодовитейших и известнейших наших писателей. Панихида состоится в среду 21 августа в 11 часов утра в церкви св. Филиппа Рульского. Вынос из часовни квартала Бонсон, улица Сент-Онорэ, 193».

Бальзак?!

Многие впервые слышали эту фамилию. Они свертывали в трубку газету и, размахивая ею либо швырнув ее под ноги, шли дальше, отягощенные своими заботами, наполненные своими радостями и печалями.

А многие из тех, кто знал умершего, шагали за катафалком на кладбище Пер-Ляшез, склонив головы, неся в сердцах последнюю почесть. Там, на кладбище, людей было море.

Люди заполнили все проходы между могилами, дети взобрались на памятники, подле свежевырытой могилы собрались близкие и друзья.

Гроб опустили, и чьи-то руки тотчас же покрыли его цветами.

Виктор Гюго вышел из толпы и остановился у гроба. Неторопливо поворачивая голову, всматривался он в людей, как будто ища в замершем море человеческом знакомое лицо. Он сразу узнавал и отличал любопытство от скорби, и то, что последней было больше, взволновало его. Он смочил запекшиеся губы и поднял руку, как бы призывая к порядку. Впрочем, это было излишне.

Немая тишина царила на кладбище.

— Господа! — заговорил Гюго, всматриваясь в сотни открытых глаз. — Человека, который сходит в эту могилу, провожает общественная скорбь. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взгляды обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит, и когда один из них уходит, скорбит вся страна. Отныне смерть талантливо-

го человека — общественный траур. Смерть человека гениального — траур всенародный.

Гюго перевел дыхание и, опустив глаза на гроб, подчеркивая каждое слово, проговорил:

— Имя Бальзака вольется в блестящий след, который оставит наша эпоха в веках. Господин Бальзак принадлежал к тому могучему поколению писателей девятнадцатого века, которое пришло после Наполеона, так же как славная плеяда семнадцатого столетия пришла после Ришелье. В развитии цивилизации существует закон, по которому вслед за победителями меча приходят победители разума. Господин Бальзак был одним из первых среди великих. Все его книги рождают одну книгу, книгу живую, блестящую, глубокую, где живет и движется наша ужасающая современность: это чудесная книга, которую поэт назвал комедией, и которая могла бы называться историей, которая охватывает все формы, все стили, опережая Тацита, достигая Светония, касается Бомарше, доходит до Рабле, которая щедро одаривает настоящее человеческое, земное и которая временами, через завесу всего существа, разорванную резким и широким взмахом, показывает вдруг самый суровый, самый трагический идеал.

Гюго останавливается, словно собирая мысли. В раскрытые ворота кладбища вливаются все новые и новые толпы людей. Солнце играет лучами на мраморных крестах.

Теплый ветер шелестит в кустах роз. В небе проплывают сизые тучи.

Орел неведомо откуда возникает в синеве и низко кружит над кладбищем. Гюго замечает могучую птицу, он поднимает голову и с минуту следит за спокойным и размеренным движением ее крыл. Он хочет сказать присутствующим о вещем знамении, которое посылает природа. Но Гюго видит, что сотни взглядов уже следят, подобно ему, за полетом орла.

Люди сами поняли смысл этого явления.

Глаза писателя встречаются с сухими, холодными глазами Ганской. Она стоит, опершись на руку статного красавца Жигу, закрыв рот платком.

Чуть в стороне, набожно подняв руки к небу, всей душой призывая чудо, замерла, обливаясь горючими слезами, мать Бальзака Анна-Шарлотта Бальзак. Мать

не в состоянии поверить, что распухший почерневший труп, лежащий в тесном гробу, — ее сын.

Ее память на всю жизнь запечатлела другого — краснощекого, бодрого, молодого. Дрожащими губами она глотает слезы. Рыдания сотрясают ее небольшую сухощавую фигурку. Из-под черного капора, небрежно завязанного на подбородке лентой, выбились седые волосы, и ветер играет ими.

Ветер шепчет под самым ухом, точно колдует.

А над головами людей, над кладбищем, достигая вершин каштанов, словно порываясь в прозрачную высь, чтоб сравняться с орлиным полетом, звучат горячие слова Гюго:

— Сам того не ведая, хотел он этого или нет, согласился бы он с этим или нет, — творец великой «Человеческой комедии» был из могучей породы революционных писателей.

Гюго ловит растерянные мысли, возникающие в передних рядах слушателей.

Он замечает протестующий жест Ганской, и поэтому, с еще большей силой, точно скатывая на головы этих изысканно одетых парижан тысячепудовые камни, продолжает. Он видит, как, прислонясь к каштану, отирая кулаком слезы, стоит человек в синем комбинезоне. Этот зачарованно ловит каждое слово оратора, каждое его движение.

Стекольщик Канель потом, уже вечером, посадит перед собой в мансарде на улице Ледигьер, номер 9, своего сына Эжена и будет снова и снова рассказывать ему о великом человеке по имени Бальзак, который начал свой путь в этой мансарде и прославился на весь мир.

Гюго легче говорить, когда его взгляд скрещивается с взглядом человека под каштаном. Точно коснувшись источника, его сердце исполняется новой силой.

— Бальзак идет прямо к цели, — говорит Гюго, быстрым движением расстегивает воротник сорочки и, разрывая петли жилета, открывает грудь навстречу ласковому ветру.

— Он берет современное общество мертвой хваткой. У каждого он что-нибудь отнимает: у одного иллюзию, у других — надежду, у одних исторгает крик души, с других срывает маски. Его скальпель вонзается в мозг человека, в сердце, в душу. Вот что он делал среди

нас. Вот творение, которое он нам оставил, творение высокое и мощное, непоколебимая глыба гранита, монумент, с которого отныне засияет его слава. Великие люди сами создают себе пьедестал, о статуе позаботится будущее. Жизнь его была коротка, но полна. Больше наполнена трудом, чем днями. Этот могучий и неутомимый труженик, этот философ, этот гений прожил среди нас жизнь, полную гроз, борьбы, боев, прожил жизнь, как и надлежит всем великим людям, во все времена. И вот он обрел покой.

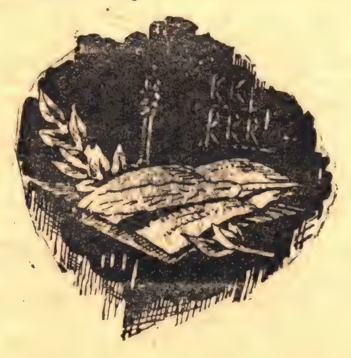
Гюго низко склонил голову. Люди вздрагивали от рыданий. Сам не замечая того, Гюго заплакал. Но и сквозь слезы он продолжал говорить. Орел медленно кружил в небе, точно прислушиваясь к его словам. Бальзак лежал в гробу укрощенный, огромный, сжав пухлые губы.

— Он был выше соперничества и вражды. Отныне он выше туч, свисающих над нашими головами.

Гюго перевел дыхание. Ему не хватало воздуха. Люди в черных фраках, стоявшие у гроба, раздражали его. Где-то он уже видел эти надменные лица, равнодушные, холодные глаза. Они стояли, не скрывая снисходительной, точно все понимающей усмешки, подчеркивая этим, что своим присутствием здесь оказывают большую честь покойному.

Шагнув вперед, так, что ноги коснулись стенок гроба, Гюго заглянул людям прямо в глаза и, простирая вперед руку, бросил в лицо слова сурового приговора:

— Вы, что стоите тут и дышите этим прекрасным воздухом, видите это ясное солнце и голубое небо, вы, имеющие ренту и способные еще любить, — разве вы, живые, не завидуете ему?



ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

КНИГА ВТОРАЯ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Печатается с издания Гослитиздата, Москва, 1946

Рыбак Натан Самойлович —
ОШИБКА ОНОРЭ де БАЛЬЗАКА

Редактор М. Е. Приваленко.
Художник Л. Н. Сотников.
Художественный редактор А. С. Кузнецов.
Технический редактор П. А. Севрюков.
Корректор З. Ф. Шиле.

* * *

Сдано в набор 26 III—1959 г. Подп. к печати 30-V—1959 г.
Бум. 84х108/32. 3,75 б. л. 7,5 п. л. 12,3 п. л. (усл.)
12,46 уч.-авт. л. 12,73 уч.-изд. л.
Курское книжное издательство.
ИЕ 03144. Тираж 25000. Заказ 1974. Цена 3 р. 85 к.
Переплет 1 р. 50 к.

* * *

Типография газеты «Курская правда» —
г. Курск, ул. Ленина, 77.

Цена 5 р. 35 к.

НАТАН РЫБАК ОШИБКА ОНОРЭ ДЕ БАЛЬЗАКА